



ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 2015

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

У ВОЙНЫ
НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

Лауреат Нобелевской премии 2015



за многоголосное творчество –
памятник страданию и мужеству
в наше время



СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

**У ВОЙНЫ
НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО**



МОСКВА 2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6-46
А48



Оформление — Валерий Калныньш

Алексиевич, С. А.

А48 У войны не женское лицо. — М. : Время, 2017. — 352 с. —
5-е изд., стереотип. — (Собрание произведений)
ISBN 978-5-9691-1648-1

Одна из самых известных в мире книг о войне, положившая начало знаменитому художественно-документальному циклу «Голоса Утопии». «За многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время» Светлана Алексиевич получила в 2015 году Нобелевскую премию по литературе.

Перед вами последняя авторская редакция: писательница, в соответствии со своим творческим методом, доработала книгу, убрав цензурную правку, вставив новые эпизоды, дополнив записанные женские исповеди страницами собственного дневника, который она вела в течение семи лет работы над книгой. «У войны не женское лицо» — опыт уникального проникновения в духовный мир женщины, выживающей в нечеловеческих условиях войны.

Книга переведена более чем на двадцать языков, включена в школьные и вузовские программы во многих странах, получила несколько престижных премий: премия Рышарда Капуцинского (2011) за лучшее произведение в жанре репортажа, премия Angelus (2010) и другие.

ББК 84(2=411.2)6-46

ISBN 978-5-9691-1648-1



© Светлана Алексиевич, 2017

© «Время», 2017

— Когда впервые в истории женщины появились в армии?

— Уже в IV веке до нашей эры в Афинах и Спарте в греческих войсках воевали женщины. Позже они участвовали в походах Александра Македонского.

Русский историк Николай Карамзин писал о наших предках: «Славянки ходили иногда на войну с отцами и супругами, не боясь смерти: так при осаде Константинополя в 626 году греки нашли между убитыми славянами многие женские трупы. Мать, воспитывая детей, готовила их быть воинами».

— А в новое время?

— Впервые — в Англии в 1560—1650 годы стали формировать госпитали, в которых служили женщины-солдаты.

— Что произошло в XX веке?

— Начало века... В Первую мировую войну в Англии женщин уже брали в Королевские военно-воздушные силы, был сформирован Королевский вспомогательный корпус и женский легион автотранспорта — в количестве 100 тысяч человек.

В России, Германии, Франции многие женщины тоже стали служить в военных госпиталях и санитарных поездах.

А во время Второй мировой войны мир стал свидетелем женского феномена. Женщины служили во всех

родах войск уже во многих странах мира: в английской армии — 225 тысяч, в американской — 450—500 тысяч, в германской — 500 тысяч...

В Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели всеми военными специальностями, в том числе и самыми «мужскими». Даже возникла языковая проблема: у слов «танкист», «пехотинец», «автоматчик» до того времени не существовало женского рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина. Женские слова родились там, на войне...

Из разговора с историком

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ ВОЙНЫ



(ИЗ ДНЕВНИКА КНИГИ)



Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в темноте...

Осип Мандельштам

1978—1985 гг.

Пишу книгу о войне...

Я, которая не любила читать военные книги, хотя в моем детстве и юности у всех это было любимое чтение. У всех моих сверстников. И это неудивительно — мы были дети Победы. Дети победителей. Первое, что я помню о войне? Свою детскую тоску среди непонятных и пугающих слов. О войне вспоминали всегда: в школе и дома, на свадьбах и крестинах, в праздники и на поминках. Даже в детских разговорах. Соседский мальчик однажды спросил меня: «А что люди делают под землей? Как они там живут?». Нам тоже хотелось разгадать тайну войны.

Тогда и задумалась о смерти... И уже никогда не переставала о ней думать, для меня она стала главной тайной жизни.

Все для нас вело начало из того страшного и таинственного мира. В нашей семье украинский дедушка, мамин отец, погиб на фронте, похоронен где-то в вен-

герской земле, а белорусская бабушка, папина мама, умерла от тифа в партизанах, двое ее сыновей служили в армии и пропали без вести в первые месяцы войны, из троих вернулся один. Мой отец. Одиннадцать дальних родственников вместе с детьми немцы сожгли заживо — кого в своей хате, кого в деревенской церкви. Так было в каждой семье. У всех.

Деревенские мальчишки долго еще играли в «немцев» и «русских». Кричали немецкие слова: «Хенде хох!», «Цурюк», «Гитлер капут!».

Мы не знали мира без войны, мир войны был единственно знакомым нам миром, а люди войны — единственно знакомыми нам людьми. Я и сейчас не знаю другого мира и других людей. А были ли они когда-нибудь?

* * *

Деревня моего детства после войны была женская. Бабы. Мужских голосов не помню. Так у меня это и осталось: о войне рассказывают бабы. Плачут. Поют, как плачут.

В школьной библиотеке — половина книг о войне. И в сельской, и в райцентре, куда отец часто ездил за книгами. Теперь у меня есть ответ — почему. Разве случайно? Мы все время воевали или готовились к войне. Вспоминали о том, как воевали. Никогда не жили иначе, наверное, и не умеем. Не представляем, как жить по-другому, этому нам надо будет когда-нибудь долго учиться.

В школе нас учили любить смерть. Мы писали сочинения о том, как хотели бы умереть во имя... Мечтали...

А голоса на улице кричали о другом, манили больше.

Я долго была книжным человеком, которого реальность пугала и притягивала. От незнания жизни появи-

лось бесстрашие. Теперь думаю: будь я более реальным человеком, могла ли бы кинуться в такую бездну? От чего все это было — от незнания? Или от чувства пути? Ведь чувство пути есть...

Долго искала... Какими словами можно передать то, что я слышу? Искала жанр, который бы отвечал тому, как вижу мир, как устроен мой глаз, мое ухо.

Однажды попала в руки книга «Я — из огненной деревни» А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника. Такое потрясение испытала лишь однажды, читая Достоевского. А тут — необычная форма: роман собран из голосов самой жизни. из того, что я слышала в детстве, из того, что сейчас звучит на улице, дома, в кафе, в троллейбусе. Так! Круг замкнулся. Я нашла то, что искала. Предчувствовала.

Алесь Адамович стал моим учителем...

* * *

Два года не столько встречалась и записывала, сколько думала. Читала. О чем будет моя книга? Ну, еще одна книга о войне... Зачем? Уже были тысячи войн — маленькие и большие, известные и неизвестные. А написано о них еще больше. Но... Писали мужчины и о мужчинах — это стало понятно сразу. Все, что нам известно о войне, мы знаем с «мужского голоса». Мы все в плену «мужских» представлений и «мужских» ощущений войны. «Мужских» слов. А женщины молчат. Никто же, кроме меня, не спрашивал мою бабушку. Мою маму. Молчат даже те, кто был на фронте. Если вдруг начинают вспоминать, то рассказывают не «женскую» войну, а «мужскую». Подстраиваются под канон. И только дома или, всплакнув в кругу фронтовых подруг, они начинают говорить о своей войне, мне незнакомой. Не только мне, всем нам. В своих журналистских поездках не раз была свидетельницей, един-

ственной слушательницей совершенно новых текстов. И испытывала потрясение, как в детстве. В этих рассказах проглядывал чудовищный оскал таинственного... Когда женщины говорят, у них нет или почти нет того, о чем мы привыкли читать и слышать: как одни люди героически убивали других и победили. Или проиграли. Какая была техника и какие генералы. Женские рассказы другие и о другом. У «женской» войны свои краски, свои запахи, свое освещение и свое пространство чувств. Свои слова. Там нет героев и невероятных подвигов, там есть просто люди, которые заняты нечеловеческим человеческим делом. И страдают там не только они (люди!), но и земля, и птицы, и деревья. Все, кто живут вместе с нами на земле. Страдают они без слов, что еще страшнее.

Но почему? — не раз спрашивала я у себя. — Почему, отстояв и заняв свое место в когда-то абсолютно мужском мире, женщины не отстояли свою историю? Свои слова и свои чувства? Не поверили сами себе. От нас скрыт целый мир. Их война осталась неизвестной...

Хочу написать историю этой войны. Женскую историю.

* * *

После первых встреч...

Удивление: военные профессии у этих женщин — санинструктор, снайпер, пулеметчица, командир зенитного орудия, сапер, а сейчас они — бухгалтеры, лаборантки, экскурсоводы, учительницы... Несовпадение ролей — там и здесь. Вспоминают как будто не о себе, а о каких-то других девчонках. Сегодня сами себе удивляются. И на моих глазах «очеловечивается» история, становится похожей на обычную жизнь. Появляется другое освещение.

Встречаются потрясающие рассказчицы, у них в жизни есть страницы, которые могут соперничать с лучшими страницами классики. Человек так ясно видит себя сверху — с неба, и снизу — с земли. Перед ним весь путь вверх и путь вниз — от ангела к зверю. Воспоминания — это не страстный или бесстрастный пересказ исчезнувшей реальности, а новое рождение прошлого, когда время поворачивает вспять. Прежде всего это — творчество. Рассказывая, люди творят, «пишут» свою жизнь. Бывает, что и «дописывают» и «переписывают». Тут надо быть начеку. На страже. В то же время боль расплавляет, уничтожает любую фальшь. Слишком высокая температура! Искреннее, убедилась я, ведут себя простые люди — медсестры, повара, прачки... Они, как бы это точнее определить, из себя достают слова, а не из газет и прочитанных книг — не из чужого. А только из своих собственных страданий и переживаний. Чувства и язык образованных людей, как это ни странно, часто больше подвержены обработке временем. Его общей шифровке. Заражены вторичным знанием. Мифами. Часто приходится долго идти, разными кругами, чтобы услышать рассказ о «женской» войне, а не о «мужской»: как отступали, наступали, на каком участке фронта... Требуется не одна встреча, а много сеансов. Как настойчивому портретисту.

Долго сижу в незнакомом доме или квартире, иногда целый день. Пьем чай, примеряем недавно купленные кофточки, обсуждаем прически и кулинарные рецепты. Рассматриваем вместе фотографии внуков. И вот тогда... Через какое-то время, никогда не узнаешь, через какое и почему, вдруг наступает тот долгожданный момент, когда человек отходит от канонов — гипсового и железобетонного, как наши памятники — и идет к себе. В себя. Начинает вспоминать не войну, а свою молодость. Кусок своей жизни... Надо поймать этот момент. Не пропустить! Но часто после длинного дня, заполненного словами, фактами,

слезами, остается в памяти только одна фраза (но какая!): «Я такая маленькая пошла на фронт, что за войну даже подросла». Ее и оставляю в записной книжке, хотя на магнитофоне накручены десятки метров. Четыре-пять кассет...

Что мне помогает? Помогает то, что мы привыкли жить вместе. Сообща. Сборные люди. Все у нас на миру — и счастье, и слезы. Умеем страдать и рассказывать о страдании. Страдание оправдывает нашу тяжелую и нескладную жизнь. Для нас боль — это искусство. Должна признать, женщины смело отправляются в этот путь...

* * *

Как они встречают меня?

Зовут: «девочка», «доченька», «деточка», наверное, будь я из их поколения, они держались бы со мной иначе. Спокойно и равноправно. Без радости и изумления, которые дарит встреча молодости и старости. Это очень важный момент, что тогда они были молодые, а сейчас вспоминают старые. Через жизнь вспоминают — через сорок лет. Осторожно открывают мне свой мир, щадят: «Сразу после войны вышла замуж. Спряталась за мужа. За быт, за детские пеленки. Охотно спряталась. И мама просила: “Молчи! Молчи! Не признавайся”. Я выполнила свой долг перед Родиной, но мне печально, что я там была. Что я это знаю... А ты — совсем девочка. Тебя мне жалко...». Часто вижу, как они сидят и прислушиваются к себе. К звуку своей души. Сверяют его со словами. С долгими годами человек понимает, что вот была жизнь, а теперь надо смириться и приготовиться к уходу. Не хочется и обидно исчезнуть просто так. Небрежно. На ходу. И когда он оглядывается назад, в нем присутствует желание не только рассказать о своем, но и дойти до тайны жизни. Самому себе от-

ветить на вопрос: зачем это с ним было? Он смотрит на все немного прощальным и печальным взглядом... Почти оттуда... Незачем уже обманывать и обманываться. Ему уже понятно, что без мысли о смерти в человеке ничего нельзя разглядеть. Тайна ее существует поверх всего.

Война слишком интимное переживание. И такое же бесконечное, как и человеческая жизнь...

Один раз женщина (летчица) отказалась со мной встретиться. Объяснила по телефону: «Не могу... Не хочу вспоминать. Я была три года на войне... И три года я не чувствовала себя женщиной. Мой организм омертвел. Менструации не было, почти никаких женских желаний. А я была красивая... Когда мой будущий муж сделал мне предложение... Это уже в Берлине, у рейхстага... Он сказал: “Война кончилась. Мы остались живы. Нам повезло. Выходи за меня замуж”. Я хотела заплакать. Закричать. Ударить его! Как это замуж? Сейчас? Среди всего этого — замуж? Среди черной сажи и черных кирпичей... Ты посмотри на меня... Посмотри — какая я! Ты сначала сделай из меня женщину: дари цветы, ухаживай, говори красивые слова. Я так этого хочу! Так жду! Я чуть его не ударила... Хотела ударить... А у него была обожженная, багровая одна щека, и я вижу: он все понял, у него текут слезы по этой щеке. По еще свежим рубцам... И сама не верю тому, что говорю: “Да, я выйду за тебя замуж”.

Простите меня... Не могу...».

Я ее поняла. Но это тоже страничка или полстранички будущей книги.

Тексты, тексты. Повсюду — тексты. В городских квартирах и деревенских хатах, на улице и в поезде... Я слушаю... Все больше превращаюсь в одно большое ухо, все время повернутое к другому человеку. «Читаю» голос.

Человек больше войны...

Запоминается именно то, где он больше. Им руководит там что-то такое, что сильнее истории. Мне надо брать шире — писать правду о жизни и смерти вообще, а не только правду о войне. Задать вопрос Достоевского: сколько человека в человеке, и как этого человека в себе защитить? Несомненно, что зло соблазнительно. Оно искуснее добра. Притягательнее. Все глубже погружаюсь в бесконечный мир войны, все остальное слегка потускнело, стало обычнее, чем обычно. Грандиозный и хищный мир. Понимаю теперь одиночество человека, вернувшегося оттуда. Как с другой планеты или с того света. У него есть знание, которого у других нет, и добыть его можно только там, вблизи смерти. Когда он пробует что-то передать словами, у него ощущение катастрофы. Человек немеет. Он хочет рассказать, остальные хотели бы понять, но все бессильны.

Они всегда в ином пространстве, чем слушатель. Их окружает невидимый мир. По меньшей мере три человека участвуют в разговоре: тот, кто рассказывает сейчас, этот же человек, каким он был тогда, в момент события, — и я. Моя цель — прежде всего добыть правду тех лет. Тех дней. Без подлога чувств. Сразу после войны человек рассказал бы одну войну, через десятки лет, конечно, у него что-то меняется, потому что он складывает в воспоминания уже всю свою жизнь. Всего себя. То, как он жил эти годы, что читал, видел, кого встретил. Наконец, счастлив он или несчастлив. Разговариваем с ним наедине, или рядом еще кто-то есть. Семья? Друзья — какие? Фронтовые друзья — это одно, все остальные — другое. Документы — живые существа, они меняются и колеблются вместе с нами, из них без конца можно что-то доставать. Что-то новое и необходимое нам именно сейчас. В эту минуту. Что

мы ищем? Чаще всего не подвиги и геройство, а маленькое и человеческое, нам самое интересное и близкое. Ну, что больше всего хотелось бы мне узнать, например, из жизни Древней Греции... Истории Спарты... Я хотела бы прочитать, как и о чем тогда люди разговаривали дома. Как уходили на войну. Какие слова говорили в последний день и в последнюю ночь перед расставанием своим любимым. Как провожали воинов. Как ждали их с войны... Не героев и полководцев, а обычных юношей...

История — через рассказ ее никем не замеченного свидетеля и участника. Да, меня это интересует, это я хотела бы сделать литературой. Но рассказчики — не только свидетели, меньше всего свидетели, а актеры и творцы. Невозможно приблизиться к реальности вплотную, лоб в лоб. Между реальностью и нами — наши чувства. Понимаю, что имею дело с версиями, у каждого своя версия, а уже из них, из их количества и пересечений, рождается образ времени и людей, живущих в нем. Но я бы не хотела, чтобы о моей книге сказали: ее герои реальны, и не более того. Это, мол, история. Всего лишь история.

Пишу не о войне, а о человеке на войне. Пишу не историю войны, а историю чувств. Я — историк души. С одной стороны, исследую конкретного человека, живущего в конкретное время и участвовавшего в конкретных событиях, а с другой стороны, мне надо разглядеть в нем вечного человека. Дрожание вечности. То, что есть в человеке всегда.

Мне говорят: ну, воспоминания — это и не история, и не литература. Это просто жизнь, замусоренная и не очищенная рукой художника. Сырой материал говорения, в каждом дне его полно. Всюду валяются эти кирпичи. Но кирпичи еще не храм! Но для меня все иначе... Именно там, в теплом человеческом голосе, в живом отражении прошлого скрыта первозданная радость и обнажен неустранимый трагизм жизни. Ее

хаос и страсть. Единственность и непостижимость. Там они еще не подвергнуты никакой обработке. Подлинники.

Я строю храмы из наших чувств... Из наших желаний, разочарований. Мечтаний. Из того, что было, но может ускользнуть.

* * *

Еще раз о том же... Меня интересует не только та реальность, которая нас окружает, но и та, что внутри нас. Мне интересно не само событие, а событие чувств. Скажем так — душа события. Для меня чувства — реальность.

А история? Она — на улице. В толпе. Я верю, что в каждом из нас — кусочек истории. У одного — полстраннички, у другого — две-три. Мы вместе пишем книгу времени. Каждый кричит свою правду. Кошмар оттенков. И надо все это слышать, и раствориться во всем этом, и стать этим всем. И в то же время не потерять себя. Соединить речь улицы и литературы. Сложность ещё в том, что о прошлом мы говорим сегодняшним языком. Как передать им чувства тех дней?

* * *

С утра телефонный звонок: «Мы с вами не знакомы... Но я приехала из Крыма, звоню с железнодорожного вокзала. Далеко ли это от вас? Хочу рассказать вам свою войну...».

Так?!

А мы собрались с моей девочкой поехать в парк. Покататься на карусели. Как объяснить шестилетнему человечку, чем я занимаюсь. Она недавно у меня спросила: «Что такое — война?». Как ответить... Я хочу отпу-

стить ее в этот мир с ласковым сердцем и учу, что нельзя просто так цветок сорвать. Жалко божью коровку раздавить, оторвать у стрекозы крылышко. А как объяснить ребенку войну? Объяснить смерть? Ответить на вопрос: почему там убивают? Убивают даже маленьких, таких, как она. Мы, взрослые, как бы в сговоре. Понимаем, о чем идет речь. А вот — дети? После войны мне как-то родители это объяснили, а я своему ребенку уже не могу объяснить. Найти слова. Война нам нравится все меньше, нам все труднее найти ей оправдание. Для нас это уже просто убийство. Во всяком случае, для меня это так.

Написать бы такую книгу о войне, чтобы от войны тошнило, и сама мысль о ней была бы противна. Безумна. Самих генералов бы тошнило...

Мои друзья-мужчины (в отличие от подруг) ошарашены такой «женской» логикой. И я опять слышу «мужской» аргумент: «Ты не была на войне». А может быть, это и хорошо: мне неведома страсть ненависти, у меня нормальное зрение. Невоенное, немужское.

В оптике есть понятие «светосила» — способность объектива хуже-лучше зафиксировать уловленное изображение. Так вот, женская память о войне самая «светосильная» по напряжению чувств, по боли. Я бы даже сказала, что «женская» война страшнее «мужской». Мужчины прячутся за историю, за факты, война их пленяет как действие и противостояние идей, различных интересов, а женщины захвачены чувствами. И еще — мужчин с детства готовят, что им, может быть, придется стрелять. Женщин этому не учат... они не собирались делать эту работу... И они помнят другое, и иначе помнят. Способны увидеть закрытое для мужчин. Еще раз повторю: их война — с запахом, с цветом, с подробным миром существования: «дали нам вещмешки, мы пошили из них себе юбочки»; «в военкомате в одну дверь зашла в платье, а в другую вышла в брюках и гимнастерке, косу отрезали, на голове остался один

чубчик...»; «немцы расстреляли деревню и уехали... Мы пришли на то место: утоптаный желтый песок, а поверху — один детский ботиночек...». Не раз меня предупреждали (особенно мужчины-писатели): «Женщины тебе напридумывают. Насочиняют». Но я убедилась: такое нельзя придумать. У кого-то списать? Если это можно списать, то только у жизни, у нее одной такая фантазия.

О чем бы женщины ни говорили, у них постоянно присутствует мысль: война — это прежде всего убийство, а потом — тяжелая работа. А потом — и просто обычная жизнь: пели, влюблялись, накручивали бигуди...

В центре всегда то, как невыносимо и не хочется умирать. А еще невыносимее и более неохота убивать, потому что женщина дает жизнь. Дарит. Долго носит ее в себе, вынянчивает. Я поняла, что женщинам труднее убивать.

* * *

Мужчины... Они неохотно впускают женщин в свой мир, на свою территорию.

На Минском тракторном заводе искала женщину, она служила снайпером. Была знаменитым снайпером. О ней писали не раз во фронтовых газетах. Номер домашнего телефона мне дали в Москве ее подруги, но старый. Фамилия тоже у меня была записана девичья. Пошла на завод, где, как я знала, она работает, в отделе кадров, и услышала от мужчин (директора завода и начальника отдела кадров): «Мужчин, что ли, не хватает? Зачем вам эти женские истории. Женские фантазии...». Мужчины боялись, что женщины какую-то не ту войну расскажут.

Была в одной семье... Воевали муж и жена. Встретились на фронте и там же поженились: «Свадьбу свою отпраздновали в окопе. Перед боем. А белое платье я себе пошила из немецкого парашюта». Он — пулеметчик,

она — связная. Мужчина сразу отправил женщину на кухню: «Ты нам что-нибудь приготовь». Уже и чайник вскипел, и бутерброды нарезаны, она присела с нами рядом, муж тут же ее поднял: «А где клубника? Где наш дачный гостинец?». После моей настойчивой просьбы неохотно уступил свое место со словами: «Рассказывай, как я тебя учил. Без слез и женских мелочей: хотелось быть красивой, плакала, когда косу отрезали». Позже она мне шепотом призналась: «Всю ночь со мной штудировал том “Истории Великой Отечественной войны”. Боялся за меня. И сейчас переживает, что не то вспомню. Не так, как надо».

Так было не один раз, не в одном доме.

Да, они много плачут. Кричат. После моего ухода глотают сердечные таблетки. Вызывают «скорую». Но все равно просят: «Ты приходи. Обязательно приходи. Мы так долго молчали. Сорок лет молчали...»

Понимаю, что плач и крик нельзя подвергать обработке, иначе главным будет не плач и не крик, а обработка. Вместо жизни останется литература. Таков материал, температура этого материала. Постоянно зашкаливает. Человек больше всего виден и открывается на войне и еще, может быть, в любви. До самых глубин, до подкожных слоев. Перед лицом смерти все идеи бледнеют, и открывается непостижимая вечность, к которой никто не готов. Мы еще живем в истории, а не в космосе.

Несколько раз я получала отосланный на читку текст с припиской: «О мелочах не надо... Пиши о нашей великой Победе...». А «мелочи» — это то, что для меня главное — теплота и ясность жизни: оставленный чубчик вместо кос, горячие котлы каши и супа, которые некому есть — из ста человек вернулось после боя семь; или то, как не могли ходить после войны на базар и смотреть на красные мясные ряды... Даже на красный ситец... «Ах, моя ты хорошая, уже сорок лет прошло, а в моем доме ты не найдешь ничего красного. Я ненавижу после войны красный цвет!»

★ ★ ★

Вслушиваюсь в боль... Боль как доказательство прошедшей жизни. Других доказательств нет, другим доказательствам я не доверяю. Слова не один раз уводили нас от истины.

Думаю о страдании как высшей форме информации, имеющей прямую связь с тайной. С таинством жизни. Вся русская литература об этом. О страдании она писала больше, чем о любви.

И мне об этом рассказывают больше...

★ ★ ★

Кто они — русские или советские? Нет, они были советские — и русские, и белорусы, и украинцы, и таджики...

Все-таки был он, советский человек. Таких людей, я думаю, больше никогда не будет, они сами это уже понимают. Даже мы, их дети, другие. Хотели бы быть, как все. Похожими не на своих родителей, а на мир. А что говорить о внуках...

Но я люблю их. Восхищаюсь ими. У них был Сталин и ГУЛаг, но была и Победа. И они это знают.

Получила недавно письмо:

«Моя дочь меня очень любит, я для нее — героиня, если она прочтет вашу книгу, у нее появится сильное разочарование. Грязь, вши, бесконечная кровь — все это правда. Я не отрицаю. Но разве воспоминания об этом способны родить благородные чувства? Подготовить к подвигу...»

Не раз убеждалась:

...наша память — далеко не идеальный инструмент. Она не только произвольна и капризна, она еще на цепи у времени, как собака.

...мы смотрим на прошлое из сегодня, мы не можем смотреть ниоткуда.

...а еще они влюблены в то, что с ними было, потому что это не только война, но и их молодость. Первая любовь.

* * *

Слушаю, когда они говорят... Слушаю, когда они молчат... И слова, и молчание — для меня текст.

— Это — не для печати, для тебя... Те, кто был старше... Они сидели в поезде задумчивые... Печальные. Я помню, как один майор заговорил со мной ночью, когда все спали, о Сталине. Он крепко выпил и осмелел, он признался, что его отец уже десять лет в лагере, без права переписки. Жив он или нет — неизвестно. Этот майор произнес страшные слова: «Я хочу защищать Родину, но я не хочу защищать этого предателя революции — Сталина». Я никогда не слышала таких слов... Я испугалась. К счастью, он утром исчез. Наверное, вышел...

— Скажу тебе по секрету... Я дружила с Оксаной, она была с Украины. Впервые от нее я услышала о страшном голоде на Украине. Голодоморе. Уже лягушку или мышь было не найти — все съели. В их селе умерла половина людей. Умерли все ее меньшие братья и папа с мамой, а она спаслась тем, что ночью воровала на колхозной конюшне конский навоз и ела. Никто не мог его есть, а она ела: «Теплый не лезет в рот, а холодный можно. Лучше замерзший, он сеном пахнет». Я говорила: «Оксана, товарищ Сталин сражается. Он уничтожает вредителей, но их много». — «Нет, — отвечала она, — ты глупая. Мой папа был учитель истории, он мне говорил: “Когда-нибудь товарищ Сталин ответит за свои преступления...”»

Ночью я лежала и думала: а вдруг Оксана — враг? Шпионка? Что делать? Через два дня в бою она погибла. У нее не осталось никого из родных, некому было послать похоронку...

Затрагивают эту тему осторожно и редко. Они до сих пор парализованы не только сталинским гипнозом и страхом, но и прежней своей верой. Не могут ещё разлюбить то, что любили. Мужество на войне и мужество мысли — это два разных мужества. А я думала, что это одно и то же.

Рукопись давно лежит на столе...

Уже два года я получаю отказы из издательств. Молчат журналы. Приговор всегда одинаков: слишком страшная война. Много ужаса. Натурализма. Нет ведущей и направляющей роли коммунистической партии. Одним словом, не та война... Какая же она — та? С генералами и мудрым генералиссимусом? Без крови и вшей? С героями и подвигами. А я помню с детства: идем с бабушкой вдоль большого поля, она рассказывает: «После войны на этом поле долго ничего не родило. Немцы отступали... И был тут бой, два дня бились... Убитые лежали один возле одного, как снопы. Как шпалы на железнодорожной станции. Немцы и наши. После дождя у них у всех были заплаканные лица. Мы их месяц всей деревней хоронили...».

Как забыть мне про это поле?

Я не просто записываю. Я собираю, отслеживаю человеческий дух там, где страдание творит из маленького человека большого человека. Где человек вырастает. И тогда он для меня — уже не немой и не бесследный пролетариат истории. Отрывается его душа. Так в чем же мой конфликт с властью? Я поняла — большой идее нужен маленький человек, ей не нужен большой. Для нее он лишний и неудобный. Трудоемкий в обработке.

А я его ищу. Ищу маленького большого человека. Униженный, растоптанный, оскорбленный — пройдя через сталинские лагеря и предательства, он все-таки победил. Совершил чудо.

Но историю войны подменили историей победы.
Он сам об этом расскажет...

Через семнадцать лет 2002—2004 гг.

Читаю свой старый дневник...

Пытаюсь вспомнить человека, каким я была, когда писала книгу. Того человека уже нет, и даже нет страны, в которой мы тогда жили. А это ее защищали и во имя ее умирали в сорок первом — сорок пятом. За окном уже все другое: новое тысячелетие, новые войны, новые идеи, новое оружие и совершенно неожиданным образом изменившийся русский (точнее — русско-советский) человек.

Началась горбачевская перестройка... Мою книгу сходу напечатали, у нее был удивительный тираж — два миллиона экземпляров. То было время, когда происходило много потрясающих вещей, мы опять куда-то яростно рванули. Опять — в будущее. Мы еще не знали (или забыли), что революция — это всегда иллюзия, особенно в нашей истории. Но это будет потом, а тогда все были опьянены воздухом свободы. Я стала получать ежедневно десятки писем, мои папки разбухали. Люди захотели говорить... Договорить... Они стали и свободнее и откровеннее. У меня не оставалось сомнений, что я обречена бесконечно дописывать свои книги. Не переписывать, а дописывать. Поставишь точку, а она тут же превращается в многоточие...

Я думаю о том, что, наверное, сегодня задавала бы другие вопросы и услышала бы другие ответы. И написала бы другую книгу, не совсем другую, но все-таки другую. Документы (с которыми я имею дело) — живые свидетельства, они не застывают, как охладевшая глина. Не немеют. Они движутся вместе с нами. О чем бы я больше расспрашивала сейчас? Что хотела бы добавить? Меня бы очень интересовал... подыскиваю слово... биологический человек, а не только человек времени и идеи. Я попыталась бы заглянуть глубже в человеческую природу, во тьму, в подсознание. В тайну войны.

Написала бы о том, как пришла к бывшей партизанке... Грузная, но еще красивая женщина — и она мне рассказывала, как их группа (она старшая и двое подростков) вышли в разведку и случайно захватили в плен четверых немцев. Долго с ними кружили по лесу. Наткнулись на засаду. Ясно, что с пленными они уже не прорвутся, не уйдут, и она приняла решение — пустить их в расход. Подростки убить не смогут: уже несколько дней они ходят по лесу вместе, а если ты так долго с человеком, даже чужим, все равно к нему привыкаешь, он приближается — уже знаешь, как он ест, как он спит, какие у него глаза, руки. Нет, подростки не смогут. Это ей сразу стало понятно. Значит, убить должна она. И вот она вспоминала, как их убивала. Пришлось обманывать и тех, и других. С одним немцем пошла якобы за водой и выстрелила сзади. В затылок. Другого за хвостом повела... Меня потрясло, как спокойно она об этом рассказывала.

Те, кто был на войне, вспоминают, что гражданский человек превращается в военного за три дня. Почему достаточно всего трех дней? Или это тоже миф? Скорее всего. Человек там — куда незнакомее и непонятнее.

Во всех письмах я читала: «Я вам не все рассказала тогда, потому что другое было время. Мы привыкли

о многом молчать...», «Не все вам доверила. Еще недавно об этом нельзя было говорить. Или стыдно», «Знаю приговор врачей: у меня страшный диагноз... Хочу рассказать всю правду...».

А недавно пришло такое письмо: «Нам, старикам, трудно жить... Но не из-за маленьких и унижительных пенсий мы страдаем. Больше всего ранит то, что мы изгнаны из большого прошлого в невыносимо маленькое настоящее. Уже никто нас не зовет выступить в школы, в музеи, уже мы не нужны. В газетах, если считаешь, фашисты все благороднее, а красные солдаты все страшнее».

Время — это тоже родина... Но я по-прежнему их люблю. Не люблю их время, а их люблю.

★ ★ ★

Все может стать литературой...

Больше всего меня заинтересовал в моих архивах блокнот, где я записывала те эпизоды, которые вычеркнула цензура. А также — мои разговоры с цензором. Там же я нашла страницы, которые выбросила сама. Моя самоцензура, мой собственный запрет. И мое объяснение — почему я это выбросила. Многое из того и другого уже восстановлено в книге, но эти несколько страниц хочу дать отдельно — это уже документ. Мой путь.

Из того, что выбросила цензура

«Я ночью сейчас проснусь... Как будто кто-то ну... плачет рядом... Я — на войне...

Мы отступаем... За Смоленском какая-то женщина выносит мне свое платье, я успеваю переодеться. Иду одна... среди мужиков. То я была в брюках, а то иду в летнем платье. У меня вдруг начались эти дела... Жен-

ские... Раньше начались, наверное, от волнений. От переживаний, от обиды. Где ты тут что найдешь? Стыдно! Как мне было стыдно! Под кустами, в канавах, в лесу на пнях спали. Столько нас было, что места в лесу всем не хватало. Шли мы растерянные, обманутые, никому уже не верящие... Где наша авиация, где наши танки? То, что летает, ползает, гремит — все немецкое.

Такая я попала в плен. В последний день перед пленом перебило еще обе ноги... Лежала и под себя мочилась... Не знаю, какими силами уползла ночью в лес. Случайно подобрала партизаны....

Мне жалко тех, кто эту книгу прочитает, и кто ее не прочитает...»

«У меня было ночное дежурство... Зашла в палату тяжелораненых. Лежит капитан... Врачи предупредили меня перед дежурством, что ночью он умрет. Не дотянет до утра... Спрашиваю его: “Ну как? Чем тебе помочь?”. Никогда не забуду... Он вдруг улыбнулся, такая светлая улыбка на измученном лице: «Расстегни халат... Покажи мне свою грудь... Я давно не видел жену...». Я растерялась, я же еще даже не целованная была. Что-то я там ему ответила. Убежала и вернулась через час.

Он лежал мертвый. И та улыбка у него на лице...»
«Под Керчью... Ночью под обстрелом шли мы на барже. Загорелась носовая часть... Огонь полез по палубе. Взорвались боеприпасы... Мощный взрыв! Взрыв такой силы, что баржа накренилась на правый бок и начала тонуть. А берег уже недалеко, мы понимаем, что берег где-то рядом, и солдаты кинулись в воду. С берега застучали пулеметы. Крики, стоны, мат... Я хорошо плавала, я хотела хотя бы одного спасти. Хотя бы одного раненого... Это же вода, а не земля — раненый человек погибнет сразу. Пойдет ко дну... Слышу — кто-то рядом то вынырнет наверх, то опять под воду уйдет. Наверх — под воду. Я улучила момент, схватила его... Что-то холодное, скользкое... Я решила, что это раненый, а одежду с него

сорвало взрывом. Потому, что я сама голая... В белье осталась... Темнотища. Глаз выколи. Вокруг: “Э-эх! Ай-я-я!”. И мат... Добралась я с ним как-то до берега... В небе как раз в этот миг вспыхнула ракета, и я увидела, что притянула на себе большую раненую рыбу. Рыба большая, с человеческий рост. Белуга... Она умирает... Я упала возле нее и заломила такой трехэтажный мат. Заплакала от обиды... И от того, что все страдают...»

«Выходили из окружения... Куда ни кинемся — везде немцы. Решаем: утром будем прорываться с боем. Все равно погибнем, так лучше погибнем достойно. В бою. У нас было три девушки. Они приходили ночью к каждому, кто мог... Не все, конечно, были способны. Нервы, сами понимаете. Такое дело... Каждый готовился умереть...

Спаслись утром единицы... Мало... Ну, человек семь, а было пятьдесят, если не больше. Посекли немцы пулеметами... Вспоминаю тех девчонок с благодарностью. Ни одной утром не нашел среди живых... Никогда больше не встретил...»

Из разговора с цензором

— Кто пойдет после таких книг воевать? Вы унижаете женщину примитивным натурализмом. Женщину-героиню. Развенчиваете. Делаете ее обыкновенной женщиной. Самкой. А они у нас — святые.

— Наш героизм стерильный, он не хочет считаться ни с физиологией, ни с биологией. Ему не веришь. А испытывался не только дух, но и тело. Материальная оболочка.

— Откуда у вас эти мысли? Чужие мысли. Не советские. Вы смеетесь над теми, кто в братских могилах. Ремарка начитались... У нас ремаркизм не пройдет. Советская женщина — не животное...

* * *

«Кто-то нас выдал... Немцы узнали, где стоянка партизанского отряда. Оцепили лес и подходы к нему со всех сторон. Прятались мы в диких чащах, нас спасали болота, куда каратели не заходили. Трясина. И технику, и людей она затягивала намертво. По несколько дней, неделями мы стояли по горло в воде. С нами была радистка, она недавно родила. Ребенок голодный... Просит грудь... Но мама сама голодная, молока нет, и ребенок плачет. Каратели рядом... С собаками... Если собаки услышат, то все погибнем. Вся группа — человек тридцать... Вам понятно?

Командир принимает решение...

Никто не решается передать матери приказ, но она сама догадывается. Опускает сверток с ребенком в воду и долго там держит... Ребенок больше не кричит... Ни звука... А мы не можем поднять глаза. Ни на мать, ни друг на друга...»

«Мы брали пленных, приводили в отряд... Их не расстреливали, слишком легкая смерть для них, мы закалывали их, как свиней, шомполами, резали по кусочкам. Я ходила на это смотреть... Ждала! Долго ждала того момента, когда от боли у них начнут лопаться глаза... Зрачки...

Что вы об этом знаете?! Они мою маму с сестричками сожгли на костре посреди деревни...»

«Я не запомнила в войну ни кошек, ни собак, помню крыс. Большие... С желто-синими глазами... Их было видимо-невидимо. Когда я поправилась после ранения, из госпиталя меня направили назад в мою часть. Часть стояла в окопах под Сталинградом. Командир приказал: “Отведите ее в девичью землянку”. Я вошла в землянку и первым делом удивилась, что там нет никаких вещей. Пустые постели из хвойных веток, и все.

Меня не предупредили... Я оставила в землянке свой рюкзак и вышла, когда вернулась через полчаса, рюкзак свой не нашла. Никаких следов вещей, ни расчески, ни карандаша. Оказалось, что все мигом сожрали крысы...

А утром мне показали обгрызенные руки у тяжелораненых...

Ни в каком самом страшном фильме я не видела, как крысы уходят перед артобстрелом из города. Это не в Сталинграде... Уже было под Вязьмой... Утром по городу шли стада крыс, они уходили в поля. Они чуяли смерть. Их были тысячи... Черные, серые... Люди в ужасе смотрели на это зловещее зрелище и жались к домам. И ровно в то время, когда крысы скрылись с наших глаз, начался обстрел. Налетели самолеты. Вместо домов и подвалов остался каменный песок...»

«Под Сталинградом было столько убитых, что лошади их уже не боялись. Обычно пугаются. Лошадь никогда не наступит на мертвого человека. Своих убитых мы собрали, а немцы валялись всюду. Замерзшие... Ледяные... Я — шофер, возила ящики с артиллерийскими снарядами, я слышала, как под колесами трещали их черепа... Кости... И я была счастлива...»

Из разговора с цензором

— Да, нам тяжело далась Победа, но вы должны искать героические примеры. Их сотни. А вы показываете грязь войны. Нижнее белье. У вас наша Победа страшная... Чего вы добиваетесь?

— Правды.

— А вы думаете, что правда — это то, что в жизни. То, что на улице. Под ногами. Для вас она такая низкая. Земная. Нет, правда — это то, о чем мы мечтаем. Какими мы хотим быть!

★ ★ ★

«Наступаем... Первые немецкие поселки... Мы — молодые. Сильные. Четыре года без женщин. В погребках — вино. Закуска. Ловили немецких девушек и... Десять человек насильовали одну... Женщин не хватало, население бежало от Советской армии, брали юных. Девочек... Двенадцать-тринадцать лет... Если она плакала, били, что-нибудь заталкивали в рот. Ей больно, а нам смешно. Я сейчас не понимаю, как я мог... Мальчик из интеллигентной семьи... Но это был я...

Единственное, чего мы боялись, чтобы наши девушки об этом не узнали. Наши медсестры. Перед ними было стыдно...»

«Попали в окружение... Скитались по лесам, по болотам. Ели листья, ели кору деревьев. Какие-то корни. Нас было пятеро, один совсем мальчишка, только призывали в армию. Ночью мне сосед шепчет: “Мальчишка полуживой, все равно умрет. Ты понимаешь...” — “Ты о чем?” — “Мне один ээк рассказывал... Они, когда из лагеря бежали, специально брали с собой молодого... Человеческое мясо съедобное... Так спасались...”

Ударить сил не хватило. Назавтра мы встретили партизан...»

«Партизаны днем приехали на конях в деревню. Вывели из дома старосту и его сына. Секли их по голове железными прутьями, пока они не упали. И на земле добивали. Я сидела у окна. Все видела... Среди партизан был мой старший брат... Когда он вошел в наш дом и хотел меня обнять: “Сестренка!” — я закричала: “Не подходи! Не подходи! Ты — убийца!”. А потом онемела. Месяц не разговаривала.

Брат погиб... А что было бы, останься он жив? И вернулся бы домой...»

«Утром каратели подожгли нашу деревню... Спаслись только те люди, которые убежали в лес. Убежали без ничего, с пустыми руками, даже хлеба с собой не взяли. Ни яиц, ни сала. Ночью тетя Настя, наша соседка, била свою девочку, потому что та все время плакала. С тетей Настей было пятеро ее детей. Юлечка, моя подружка, сама слабенькая. Она всегда болела... И четыре мальчика, все маленькие, и все тоже просили есть. И тетя Настя сошла с ума: “У-у-у... У-у-у...”. А ночью я услышала... Юлечка просила: “Мамочка, ты меня не топи. Я не буду... Я больше есточки просить у тебя не буду. Не буду...”.

Утром Юлечки уже никто не увидел...

Тетя Настя... Мы вернулись в деревню на угольки... Деревня сгорела. Скоро тетя Настя повесилась на черной яблоне в своем саду. Висела низко-низко. Дети стояли возле нее и просили есть...»

Из разговора с цензором

— Это — ложь! Это клевета на нашего солдата, освободившего пол-Европы. На наших партизан. На наш народ-герой. Нам не нужна ваша маленькая история, нам нужна большая история. История Победы. Вы не любите наших героев! Вы не любите наши великие идеи. Идеи Маркса и Ленина.

— Да, я не люблю великие идеи. Я люблю маленького человека...

Из того, что выбросила я сама

«Сорок первый год... Мы в окружении. С нами политрук Лунин... Он зачитал приказ, что советские солдаты врагу не сдаются. У нас, как сказал товарищ Сталин, пленных нет, а есть предатели. Ребята достали пистолеты...

Политрук приказал: “Не надо. Живите, хлопцы, вы — молодые”. А сам застрелился...

А это уже сорок третий... Советская армия наступает. Шли по Беларуси. Помню маленького мальчика. Он выбежал к нам откуда-то из-под земли, из погреба, и кричал: “Убейте мою мамку... Убейте! Она немца любила...”. У него были круглые от страха глаза. За ним бежала черная старуха. Вся в черном. Бежала и крестилась: “Не слушайте дитя. Дитя сбожеволило...”»

«Вызвали меня в школу... Со мной разговаривала учительница, вернувшаяся из эвакуации:

— Я хочу перевести вашего сына в другой класс. В моем классе — самые лучшие ученики.

— Но у моего сына одни “пятерки”.

— Это не важно. Мальчик жил под немцами.

— Да, нам было трудно.

— Я не об этом. Все, кто был в оккупации... Они под подозрением...

— Что? Я не понимаю...

— Он про немцев детям рассказывает. И он заикается.

— Это у него от страха. Его избил немецкий офицер, который жил у нас на квартире. Был недоволен, как сын почистил ему сапоги.

— Вот видите... Сами признаетесь... Вы жили рядом с врагом...

— А кто этого врага допустил до самой Москвы? Кто нас здесь оставил с нашими детьми?

Со мной — истерика...

Два дня боялась, что учительница донесет на меня. Но она оставила сына в своем классе...»

«Днем мы боялись немцев и полицаев, а ночью партизан. У меня последнюю коровку партизаны забрали, остался у нас один кот. Партизаны голодные, злые. Повели мою коровку, а я — за ними... Километров десять шла. Молила — отдайте. Трое детей голодных в хате

на печи оставила. «Уходи, тетка! — пригрозили. — А то пристрелим».

Попробуй найди в войну хорошего человека...

Свой на своего шел. Дети кулаков вернулись из ссылки. Родители их погибли, и они служили немецкой власти. Мстили. Один застрелил в хате старого учителя. Нашего соседа. Тот когда-то донес на его отца, раскулачивал. Был ярый коммунист.

Немцы сначала распустили колхозы, дали людям землю. Люди вздохнули после Сталина. Мы платили оброк... Аккуратно платили... А потом стали нас жечь. Нас и дома наши. Скотину угоняли, а людей жгли.

Ой, доченька, я слов боюсь. Слова страшные... Я добром спасалась, никому не хотела зла. Всех жалела...»

«Я до Берлина с армией дошла...

Вернулась в свою деревню с двумя орденами Славы и медалями. Пожила три дня, а на четвертый раненько мама поднимает меня с постели, пока все спят: «Доченька, я тебе собрала узелок. Уходи... Уходи... У тебя еще две младших сестры растут. Кто их замуж возьмет? Все знают, что ты четыре года была на фронте, с мужчинами...».

Не трогайте мою душу. Напишите, как другие, о моих наградах...»

«На войне, как на войне. Это вам не театр...

Выстроили на поляне отряд, мы стали кольцом. А посередине — Миша К. и Коля М. — наши ребята. Миша был смелый разведчик, на гармошке играл. Никто лучше Коли не пел...

Приговор читали долго: в такой-то деревне потребовали две бутылки самогона, а ночью... двух хозяйских девочек изнасиловали... А в такой-то деревне: у крестьянина... забрали пальто и швейную машинку, которую тут же пропилили, у соседей...

Приговариваются к расстрелу... Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Кто будет расстреливать? Отряд молчит... Кто? Молчим... Командир сам привел приговор в исполнение...»

«Я была пулеметчицей. Я столько убила...

После войны боялась долго рожать. Родила, когда успокоилась. Через семь лет...

Но я до сих пор ничего не простила. И не прощу... Я радовалась, когда видела пленных немцев. Я радовалась, что на них жалко было смотреть: на ногах портянки вместо сапог, на голове портянки... Их ведут через деревню, они просят: “Мать, дай хлэба... Хлэба...”. Меня поражало, что крестьяне выходили из хат и давали им — кто кусок хлеба, кто картофелину... Мальчишки бежали за колонной и бросали камни... А женщины плакали...

Мне кажется, что я прожила две жизни: одну — мужскую, вторую — женскую...»

«После войны... Человеческая жизнь ничего не стоила. Дам один пример... Еду после работы в автобусе, вдруг начались крики: “Держите вора! Держите вора! Моя сумочка...”. Автобус остановился... Сразу — толкучка. Молодой офицер выводит на улицу мальчишку, кладет его руку себе на колено и — бах! ломает ее пополам. Вскакивает назад... И мы едем... Никто не заступился за мальчишку, не позвал милиционера. Не вызвали врача. А у офицера вся грудь в боевых наградах... Я стала выходить на своей остановке, он соскочил и подал мне руку: “Проходите, девушка...”. Такой галантный...

Это я сейчас вспомнила... А тогда мы все еще были военными людьми, жили по законам военного времени. Разве они человеческие?»

«Вернулась Красная армия...

Нам разрешили раскапывать могилы, искать, где наших родственников постреляли. По старым обычаям рядом со смертью надо быть в белом — в белом платке,

в белой сорочке. До последней своей минуты я это буду помнить! Люди шли с белыми вышитыми рушниками... Одетые во все белое... Где они его взяли?

Копали... Кто что нашел — признал, то и забрал. Кто руку на тачке везет, кто на подводе голову... Человек долго целый в земле не лежит, они все там перемешались друг с другом. С глиной, с песком.

Сестру не нашла, показалось мне, что один кусочек платья — это ее, что-то знакомое... Дед тоже сказал — заберем, будет что хоронить. Тот кусочек платья мы в гробик и положили...

На отца получили бумажку “пропал без вести”. Другие что-то получали за тех, кто погиб, а нас с мамой в сельсовете напугали: “Вам никакой помощи не положено. А может, он живет припеваючи с немецкой фрау. Враг народа”.

Я стала искать отца при Хрущеве. Через сорок лет. Ответили мне при Горбачеве: “В списках не значится...”. Но откликнулся его однополчанин, и я узнала, что погиб отец геройски. Под Могилевом бросился с гранатой под танк...

Жаль, что моя мама не дождалась этой вести. Она умерла с клеймом жены врага народа. Предателя. И таких, как она, было много. Не дожили до правды. Я сходила к маме на могилку с письмом. Прочитала...»

«Многие из нас верили...

Мы думали, что после войны все изменится... Сталин поверит своему народу. Но еще война не кончилась, а эшелоны уже пошли в Магадан. Эшелоны с победителями... Арестовали тех, кто был в плену, выжил в немецких лагерях, кого увезли немцы на работу — всех, кто видел Европу. Мог рассказать, как там живет народ. Без коммунистов. Какие там дома и какие дороги. О том, что нигде нет колхозов...

После Победы все замолчали. Молчали и боялись, как до войны...»

«Я — учитель истории... На моей памяти учебник истории переписывали три раза. Я учила детей по трем разным учебникам...

Спросите нас, пока мы живы. Не переписывайте потом без нас. Спросите...

Знаете, как трудно убить человека. Я работала в подполье. Через полгода получила задание — устроиться официанткой в офицерскую столовую... Молодая, красивая... Меня взяли. Я должна была насыпать яд в котел супа и в тот же день уйти к партизанам. А уже я к ним привыкла, они враги, но каждый день ты их видишь, они тебе говорят: «Данке шон... Данке шон...». Это — трудно... Убить трудно... Убить страшнее, чем умереть...

Я всю жизнь преподавала историю... И всегда не знала, как об этом рассказать. Какими словами...»

У меня была своя война... Я прошла длинный путь вместе со своими героинями. Как и они, долго не верила, что у нашей Победы два лица — одно прекрасное, а другое страшное, все в рубцах — невыносимо смотреть. «В рукопашной, убивая человека, заглядывают ему в глаза. Это не бомбы сбрасывать или стрелять из окопа», — рассказывали мне.

Слушать человека, как он убивал и умирал, то же самое — смотришь в глаза...

«НЕ ХОЧУ ВСПОМИНАТЬ...»



Старый трехэтажный дом на окраине Минска, из тех, что наспех и, как тогда казалось, ненадолго, строились сразу после войны, давно и уютно обросший кустами жасмина. С него и начался поиск, который продлится семь лет, удивительных и мучительных семь лет, когда я открою для себя мир войны, мир с неразгаданным до конца нами смыслом. Испытаю боль, ненависть, искушение. Нежность и недоумение... Попытаюсь понять, чем отличается смерть от убийства, и где граница между человеческим и нечеловеческим. Как человек остается наедине с этой безумной мыслью, что он может убить другого человека? Даже обязан убить. И обнаружу, что на войне, кроме смерти, есть множество других вещей, там есть все, что есть в обычной нашей жизни. Война — это тоже жизнь. Столкнусь с бесчисленностью человеческих правд. Тайн. Задумаюсь над вопросами, о существовании которых раньше не догадывалась. Например, о том, почему мы не удивляемся злу, в нас отсутствует удивление перед злом?

Дорога и дороги... Десятки поездок по всей стране, сотни записанных кассет, тысячи метров магнитофонной пленки. Пятьсот встреч, а дальше перестала считать, лица уходили из памяти, оставались только голоса. В моей памяти звучит хор. Огромный хор, иногда слов почти не слышно, только плач. Признаюсь: не всегда верила, что этот путь мне под силу, я смогу его одолеть. Дойду до конца. Были минуты сомнений и страха, когда хотелось оста-

новиться или отойти в сторону, но уже не могла. Я стала пленницей зла, заглянула в бездну, чтобы что-то понять. Теперь, мне кажется, я приобрела некоторые знания, но вопросов стало еще больше, а ответов — еще меньше.

Но тогда, в самом начале пути, я об этом не подозревала...

Привела меня в этот дом небольшая заметка в городской газете о том, что недавно на Минском заводе дорожных машин “Ударник” провожали на пенсию старшего бухгалтера Марию Ивановну Морозову. А в войну, говорилось в той же заметке, она была снайпером, имеет одиннадцать боевых наград, на ее снайперском счету — семьдесят пять убитых. Трудно было соединить в сознании военную профессию этой женщины с ее мирным занятием. С будничным газетным снимком. Со всеми этими признаками обыкновенности.

...Маленькая женщина с девичьим венцом длинной косы вокруг головы сидела в большом кресле, закрыв лицо руками:

— Нет-нет, не буду. Опять возвращаться туда? Не могу... До сих пор военные фильмы не смотрю. Я тогда была совсем девочка. Мечтала и росла, росла и мечтала. И тут — война. Мне даже жалко тебя... Я знаю, о чем говорю... Ты на самом деле хочешь это знать? Как у дочки спрашиваю...

Конечно же удивилась:

— А почему ко мне? Надо к моему мужу, он любит вспоминать. Как звали командиров, генералов, номера частей — все помнит. А я нет. Я помню только то, что со мной было. Свою войну. Вокруг много людей, но ты всегда одна, потому что человек всегда одинок перед смертью. Я помню жуткое одиночество.

Попросила убрать магнитофон:

— Мне нужны твои глаза, чтобы рассказывать, а он будет мешать.

Но через несколько минут забыла о нем...

Мария Ивановна Морозова (Иванушкина),
ефрейтор, снайпер:

«Это будет простой рассказ... Рассказ обыкновенной русской девушки, каких тогда было много...

Там, где стояло мое родное село Дьяковское, сейчас Пролетарский район Москвы. Война началась, мне было неполных восемнадцать лет. Косы длинные-длинные, до колен... Никто не верил, что война надолго, все ждали — вот-вот кончится. Отгоним врага. Я ходила в колхоз, потом окончила бухгалтерские курсы, стала работать. Война продолжается... Мои подружки... Мои девчонки говорят: «Надо идти на фронт». Это уже в воздухе висело. Записались все на курсы при военкомате. Может, кто и за компанию, не знаю. Нас там учили стрелять из боевой винтовки, бросать гранаты. Первое время... Я, признаюсь, боялась винтовку в руки брать, было неприятно. Представить себе не могла, что пойду кого-то убивать, просто хотела на фронт и все. Нас в кружке занималось сорок человек. Из нашей деревни — четыре девушки, ну, все мы, подружки, из соседней — пять, одним словом, из каждой деревни кто-то. И одни девушки. Мужчины-то уже все пошли на войну, кто мог. Иногда вестовой приезжал среди ночи, давал два часа на сборы, и их увозили. Бывало, забирали даже с поля. (Молчит.) Я теперь не вспомню — были ли у нас танцы, если да, то девушка танцевала с девушкой, парней не осталось. Деревни наши притихли.

Скоро появился призыв ЦК комсомола и молодежи, поскольку немцы были уже под Москвой, всем стать на защиту Родины. Как это Гитлер возьмет Москву? Не допустим! Не только я одна... Все девочки изъявили желание идти на фронт. У меня уже отец воевал. Мы думали, что будем одни такие... Особенности... А пришли в военкомат — там много девушек. Я ахнула! Мое сердце загорелось, сильно так. А отбор был очень строгий. Первое, так это, конечно, надо было иметь крепкое

здоровье. Я боялась, что меня не возьмут, потому что в детстве часто болела, и косточка, как моя мама говорила, была слабая. Из-за этого меня другие дети обижали маленькую. Потом, если в доме, кроме той девчонки, которая уходила на фронт, никого больше из детей нет, тоже отказывали, так как нельзя было оставлять одну мать. Ой, наши мамочки! От слез они не просыхали... Они ругали нас, они просили... Но у меня еще были две сестры и два брата, правда, все намного меньше меня, но все равно считалось. Тут еще одно — из колхоза все ушли, на поле некому работать, и председатель не хотел нас отпускать. Одним словом, нам отказали. Пошли мы в райком комсомола, и там — отказ. Тогда мы делегацией из нашего района поехали в обком комсомола. У всех был большой порыв, сердца горели. Нас опять отправили там домой. И мы решили, коль мы в Москве, то пойти в ЦК комсомола, на самый верх, к первому секретарю. Добиваться до конца... Кто будет докладывать, кто из нас смелый? Думали, что тут-то точно одни окажемся, а там в коридор нельзя было втиснуться, не то что дойти до секретаря. Там со всей страны молодежь, много таких, кто побывал в оккупации, за гибель близких рвались отомстить. Со всего Союза. Да-да... Короче — мы даже растерялись на какое-то время...

Вечером все-таки добились к секретарю. Нас спрашивают: “Ну, как вы пойдете на фронт, если не умеете стрелять?” Тут мы хором отвечаем, что уже научились... “Где? Как? А перевязывать умеете?”. А нас, знаете, в этом же кружке при военкомате районный врач учил перевязывать. Они тогда молчат и уже серьезнее на нас смотрят. Ну и еще один козырь в наших руках, что мы не одни, а нас еще сорок человек, и все умеют стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Сказали: “Идите и ждите. Ваш вопрос будет решен положительно”. Какие мы возвращались счастливые! Не забыть... Да-да...

И буквально через пару дней у нас были повестки на руках...

Пришли в военкомат, нас тут же в одну дверь ввели, а в другую вывели — я такую красивую косу заплела, оттуда уже без нее вышла... Без косы... Постригли по-солдатски... И платье забрали. Не успела маме ни платье, ни косу отдать. Она очень просила, чтобы что-то от меня, что-то мое у нее осталось. Тут же нас одели в гимнастерки, пилотки, дали вещмешки и в товарный состав погрузили — на солому. Но солома свежая, она еще по-лем пахла.

Весело грузились. Лихо. С шуточками. Помню, что много смеялись.

Куда едем? Не знали. В конце концов для нас было не так и важно, кем мы будем. Только бы — на фронт. Все воюют — и мы. Приехали на станцию Щелково, недалеко от нее была женская снайперская школа. Оказывается, нас туда. В снайперы. Все обрадовались. Это — настоящее. Будем стрелять.

Стали учиться. Изучали уставы — гарнизонной службы, дисциплинарный, маскировку на местности, химзащиту. Девчонки все очень старались. С закрытыми глазами научились собирать и разбирать “снайперку”, определять скорость ветра, движение цели, расстояние к цели, ячейки копать, ползать по-пластунски — все-все это мы уже умели. Только бы скорее на фронт. В огонь... Да-да... По окончании курсов огневую и строевую я сдала на “пять”. Самое трудное, помню, было подняться по тревоге и собраться за пять минут. Сапоги мы брали на один-два размера больше, чтобы не терять времени, быстро собраться. За пять минут надо было одеться, обуться и встать в строй. Были случаи, что в сапогах на босую ногу в строй выбегали. Одна девчонка чуть ноги себе не отморозила. Старшина заметил, сделал замечание, потом учил нас портянки крутить. Станет над нами и гудит: “Как мне, девоньки, сделать из вас солдат, а не мишени для фрицев?”. Девоньки, девоньки... Все нас любили и все время жалели. А мы обижались, что нас жалеют. Разве мы не такие солдаты, как все?

Ну, и вот прибыли мы на фронт. Под Оршу... В шестьдесят вторую стрелковую дивизию... Командир, как сейчас помню, полковник Бородин, он увидел нас, рассердился: девчонок мне навязали. Мол, что это за женский хоровод? Кордебалет! Тут война, а не танцульки. Страшная война... Но потом пригласил к себе, угостил обедом. И, слышим, спрашивает у своего адъютанта: “Нет ли у нас чего-нибудь сладкого к чаю?”. Ну, мы, конечно, обиделись: за кого он нас принимает? Мы воевать приехали. А он нас принимал не как солдат, а как девчонок. По возрасту мы ему годились в дочери. “Что ж я с вами делать буду, милые вы мои? Где вас таких насобирали?” Вот как он к нам относился, как он нас встретил. А мы же воображали, что уже вояки. Да-да... На войне!

Назавтра заставил показать, как умеем стрелять, маскироваться на местности. Отстрелялись хорошо, даже лучше мужчин-снайперов, которых отозвали с передовой на двухдневные курсы, и которые очень удивлялись, что мы делаем их работу. Они, наверное, впервые в жизни видели женщин-снайперов. За стрельбой — маскировка на местности... Полковник пришел, ходит осматривает поляну, потом стал на одну кочку — ничего не видно. И тут “кочка” под ним взмолилась: “Ой, товарищ полковник, не могу больше, тяжело”. Ну и смеху было! Он поверить не мог, что так хорошо можно замаскироваться. “Теперь, — говорит, — свои слова насчет девчонок беру обратно”. Но все равно мучился... Долго не мог к нам привыкнуть...

Вышли мы первый раз на “охоту” (так у снайперов это называется), моей напарницей была Маша Козлова. Замаскировались, лежим: я веду наблюдения, Маша — с винтовкой. И вдруг Маша мне:

— Стреляй, стреляй! Видишь, немец...

Я ей отвечаю:

— Я наблюдаю. Ты стреляй!

— Пока мы тут выяснять будем, — говорит она, — он уйдет.

А я ей свое:

— Сначала надо стрелковую карту составить, ориентиры нанести: где сарай, березка...

— Ты будешь, как в школе, разводить бумажную волокиту? Я приехала не бумажками заниматься, а стрелять!

Вижу, что Маша уже злится на меня.

— Ну так стреляй, чего ты?

Так мы пререкались. А в это время, действительно, немецкий офицер давал солдатам указания. Подошла повозка, и солдаты по цепочке передавали какой-то груз. Этот офицер постоял, что-то скомандовал, потом скрылся. Мы спорим. Я вижу, что он уже два раза показался, и если мы еще раз прохлопаем, то это все. Его упустим. И когда он появился третий раз, это же одно мгновение — то появится, то скроется, — я решила стрелять. Решилась, и вдруг такая мысль мелькнула: это же человек, хоть он враг, но человек, и у меня как-то начали дрожать руки, по всему телу пошла дрожь, озноб. Какой-то страх... Ко мне иногда во сне и сейчас возвращается это ощущение... После фанерных мишеней стрелять в живого человека было трудно. Я же его вижу в оптический прицел, хорошо вижу. Как будто он близко... И внутри у меня что-то противится... Что-то не дает, не могу решиться. Но я взяла себя в руки, нажала спусковой крючок... Он взмахнул руками и упал. Убит он был или нет, не знаю. Но меня после этого еще больше дрожь взяла, какой-то страх появился: я — убила человека?! К самой этой мысли надо было привыкнуть. Да... Короче — ужас! Не забыть...

Когда мы пришли, стали в своем взводе рассказывать, что со мной случилось, провели собрание. У нас комсорг была Клава Иванова, она меня убеждала: “Их не жалеть надо, а ненавидеть”. У нее фашисты отца убили. Мы, бывало, запоем, а она просит: “Девчоночки, не надо, вот победим этих гадов, тогда и петь будем”.

И не сразу... Не сразу у нас получилось. Не женское это дело — ненавидеть и убивать. Не наше... Надо было себя убеждать. Уговаривать...»

Через несколько дней Мария Ивановна позвонит мне и пригласит к своей фронтовой подруге Клавдии Григорьевне Крохиной. И я еще раз услышу...

Клавдия Григорьевна Крохина,
старший сержант, снайпер:

«Первый раз страшно... Очень страшно...

Мы залегли, и я наблюдаю. И вот замечаю: один немец из окопа приподнялся. Я щелкнула, и он упал. И вот, знаете, меня всю затрясло, я слышала, как стучали мои кости. Стала плакать. Когда по мишеням стреляла — ничего, а тут: я — убила! Я! Убила какого-то незнакомого мне человека. Я ничего о нем не знаю, но я его убила.

Потом это прошло. И вот как... Как это случилось... Мы уже наступали, шли мимо небольшого поселка. Кажется, на Украине. И там около дороги увидели барак или дом, невозможно было уже разобрать, это все горело, сгорело уже, одни черные камни остались. Фундамент... Многие девочки не подошли, а меня как потянуло... В этих углях мы нашли человеческие кости, среди них звездочки обгоревшие, это наши раненые или пленные сгорели. После этого, сколько я ни убивала, мне уже не было жалко. Как увидела эти черные звездочки...

...Вернулась с войны седая. Двадцать один год, а я вся беленькая. У меня тяжелое ранение было, контузия, я плохо слышала на одно ухо. Мама меня встретила словами: “Я верила, что ты придешь. Я за тебя молилась день и ночь”. Брат на фронте погиб.

Мама плакала:

— Одинаково теперь — рожай девочек или мальчиков. Но он все-таки мужчина, он обязан был защищать

Родину, а ты же девчонка. Об одном я Бога просила, если тебя изуродуют, то пусть лучше убьют. Все время ходила на станцию. К поездам. Однажды увидела там военную девушку с обгоревшим лицом... Вздрогнула — ты! Я за нее тоже потом молилась.

У нас недалеко от дома, а родом я из Челябинской области, так у нас там велись какие-то рудные разработки. Как только начинались взрывы, а это происходило всегда почему-то ночью, я моментально вскакивала с кровати и первым делом хватала шинель — и бежать, мне надо было скорее куда-то бежать. Мама меня схватит, прижмет к себе и уговаривает: “Проснись — проснись. Война кончилась. Ты — дома”. Я приходила в сознание от ее слов: “Я — твоя мама. Мама...”. Говорила она тихо. Тихо... Громкие слова меня пугали...»

В комнате тепло, но Клавдия Григорьевна укутывается в тяжелый шерстяной плед — ей холодно. Продолжает:

«Быстро стали солдатами... Знаете, не было особенно времени думать. Переживать свои чувства...

Наши разведчики взяли в плен одного немецкого офицера, и он был крайне удивлен, что в его расположении выбито много солдат и все ранения только в голову. Почти в одно и то же место. Простой, повторял он, стрелок не способен сделать столько попаданий в голову. Так точно. “Покажите, — попросил, — мне этого стрелка, который столько моих солдат убил. Я большое пополнение получал, и каждый день до десяти человек выбывало”. Командир полка отвечает: “К сожалению, не могу показать, это была девушка-снайпер, но она погибла”. Это была Саша Шляхова. Она погибла в снайперском поединке. И что ее подвело — это красный шарф. Она очень любила этот шарф. А красный шарф на снегу заметен, демаскировка. И вот когда немецкий офицер услышал, что это девушка, он был потрясен, не знал, как реагировать. Он долго молчал. На последнем допросе перед тем, как его отправили в Москву (ока-

залось — важная птица!) признался: “Мне никогда не приходилось воевать с женщинами. Вы все красивые... А наша пропаганда утверждает, что в Красной армии воюют не женщины, а гермафродиты...”. Так ничего и не понял. Да... Не забыть...

Мы ходили парами, одной от темна до темна сидеть тяжело, глаза устают, слезятся, рук не чувствуешь, всё тело от напряжения немеет. Весной особенно трудно. Снег, он под тобой тает, ты — в воде целый день. Плаваешь, а, бывает, что и примерзнешь к земле. Только забрезжит рассвет — выходили и с наступлением темноты возвращались с передовой. Двенадцать, а то и больше часов лежали в снегу или забирались на верхушку дерева, на крышу сарая или разрушенного дома и там маскировались, чтобы никто не заметил, где мы, откуда ведем наблюдение. Старались как можно ближе найти позицию: семьсот-восемьсот, а то и пятьсот метров нас отделяло от траншей, в которых сидели немцы. Ранним утром даже их речь была слышна. Смех.

Не знаю, почему мы не боялись... Сейчас не понимаю...

Наступали, очень быстро наступали... И выдохлись, обеспечение от нас отстало: кончились боеприпасы, вышли продукты, кухню, и ту разбило снарядом. Третьи сутки сидели на сухарях, языки все ободрали так, что не могли ими ворочать. Мою напарницу убили, я с “новенькой” шла на передовую. И вдруг видим, на “нейтралке” жеребенок. Такой красивый, хвост у него пушистый. Гуляет себе спокойно, как будто ничего нет, никакой войны. И немцы, слышим, зашумели, его увидели. Наши солдаты тоже переговариваются:

— Уйдет. А супчик был бы...

— Из автомата на таком расстоянии не достать.

Увидели нас:

— Снайперы идут. Они его сейчас... Давай, девочки!

Я и подумать не успела, по привычке прицелилась и выстрелила. У жеребенка ноги подогнулись, свалился

на бок. Мне показалось, может, это уже галлюцинация, но мне показалось, что он тоненько-тоненько заржал.

Это потом до меня дошло: зачем я это сделала? Такой красивый, а я его убила, я его в суп! За спиной слышу, кто-то всхлипывает. Оглянулась, а это “новенькая”.

— Чего ты? — спрашиваю.

— Жеребеночка жалко, — полные глаза слез.

— Ах-ах, какая тонкая натура! А мы все три дня голодные. Жалко потому, что еще никого не хоронила. Попробуй прошагать за день тридцать километров с полным снаряжением, да еще голодной. Сначала фрицев надо выгнать, а потом переживать будем. Жалеть будем. Потом... Понимаешь, потом...

Смотрю на солдат, они же вот только меня подзадоривали, кричали. Просили. Вот только... Несколько минут назад... Никто на меня не смотрит, будто меня не замечают, каждый уткнулся и своим делом занимается. Курят, копают... Кто-то что-то точит... А мне как хочешь, так и будь. Садись и плачь. Риви! Будто я живодерка какая-то, мне кого хочешь убить ничего не стоит. А я с детства все живое любила. У нас — я уже в школу ходила — корова заболела, и ее прирезали. Я два дня плакала. Не утихала. А тут — бац! — и пальнула по беззащитному жеребенку. И можно сказать... За два года первого жеребенка увидела...

Вечером несут ужин. Повара: “Ну молодец, снайпер! Сегодня мясо в котле есть”. Поставили нам котелки и пошли. А девчонки мои сидят, к ужину не притрагиваются. Я поняла, в чем дело — в слезы и вон из землянки... Девчонки за мной, стали меня в один голос утешать. Быстро расхватали свои котелки и давай хлебать...

Да, такой случай... Да... Не забыть...

Ночью у нас, конечно, разговоры. О чем мы говорили? Конечно, о доме, каждый о маме своей рассказывал, у кого отец или братья воевали. И о том, кем мы будем

после войны. Как выйдем замуж, и будут ли мужья нас любить. Командир смеялся:

— Эх, девки! Всем вы хороши, но после войны побоятся на вас жениться. Рука меткая, тарелкой пустишь в лоб и убьешь.

Я мужа на войне встретила, в одном полку служили. У него два ранения, контузия. Он войну от начала до конца прошел, и потом всю жизнь был военным. Ему не надо объяснять, что такое — война? Откуда я вернулась? Какая? Если я говорю на повышенных тонах, он или не заметит, или отмолчится. А я ему прощаю. Тоже научилась. Двоих детей вырастили, они окончили институты. Сын и дочка.

А что вам еще расскажу... Ну, демобилизовали меня, приехала я в Москву. А от Москвы к нам еще ехать и несколько километров идти пешком. Это сейчас там метро, а тогда были старые вишневые сады, глубокие овраги. Один овраг очень большой, мне через него надо перейти. А уже стемнело, пока я добралась. Конечно, я через этот овраг боялась идти. Стою и не знаю, как поступить: то ли мне возвращаться и ждать рассвета, то ли набраться храбрости и — рискнуть. Сейчас вспомнить, так смешно: фронт позади, чего только не повидала: и трупов, и разного, а тут овраг перейти страшно. Я до сих пор помню запах трупов, смешанный с запахом махорки... Но так девчонкой и осталась. В вагоне, когда ехали... Возвращались уже из Германии домой... Мышь у кого-то из рюкзака выскочила, так все наши девчонки как повскакивают, те, что на верхних полках, кубарем оттуда, пищат. А был с нами капитан, он удивлялся: “У каждой орден, а мышей боитесь”.

На мое счастье, показалась грузовая машина. Я думаю: проголосую.

Машина остановилась.

— Мне до Дьяковского, — кричу.

— И мне до Дьяковского, — открывает дверцу молодой парень.

Я — в кабину, он — мой чемодан в кузов, и поехали. Видит, что на мне форма, награды. Спрашивает:

— Сколько немцев убила?

Я ему отвечаю:

— Семьдесят пять.

Он немного со смешком:

— Врешь, может, и в глаза ни одного не видела?

А я тут его признала:

— Колька Чижов? Ты ли это? Помнишь, я тебе красный галстук повязывала?

Одно время до войны я работала в своей школе пионервожатой.

— Маруся, ты?

— Я...

— Правда? — затормозил машину.

— До дому-то довези, что же ты посреди дороги тормозишь? — У меня на глазах слезы. И вижу, что у него тоже. Такая встреча!

К дому подъехали, он бежит с чемоданом к моей матери, танцует по двору с этим чемоданом:

— Скорее, я вам дочку привез!

Не забыть... Ну-у-у... Ну, как такое забыть?

Вернулась, и все надо было начинать сначала. В туфлях училась ходить, на фронте же три года в сапогах. Привыкли к ремням, всегда подтянутые, казалось, что теперь одежда на нас мешком висит, неловко как-то себя чувствуешь. С ужасом смотрела на юбку... На платье... Мы же все время на фронте в брюках, вечером их постираешь, под себя положишь, ляжешь, считай, вытуженные. Правда, не совсем сухие, и на морозе коркой покрывались. Как в юбке научиться ходить? Ноги как будто спутанные. Идешь в гражданском платье, в туфлях, встретишь офицера, невольно рука тянется, чтобы честь отдать. Привыкли: паек, на всем государственном, и приходишь в хлебный магазин, берешь хлеб, сколько тебе нужно, и забываешь расплатиться. Продавщица, она уже тебя знает, понимает, в чем дело, и стесняет-

ся напомнить, а ты не заплатила, взяла и пошла. Потом тебе уже совестно, на другой день извиняешься, берешь что-то другое и расплачиваешься за все сразу. Надо было наново учиться всему обычному. Вспомнить обычную жизнь. Нормальную! С кем поделиться? Прибежишь к соседке... К маме...

Я что еще думаю... Вот послушайте. Сколько была война? Четыре года. Очень долго... Ни птиц, ни цветов не помню. Они, конечно, были, но я их не помню. Да-да... Странно, правда? Разве могут быть цветными фильмы о войне? Там все черное. Только у крови другой цвет, одна кровь красная...

Мы совсем недавно, всего лет восемь назад, нашу Машеньку Алхимову нашли. Ранило командира артдивизиона, она поползла его спасти. Впереди разорвался снаряд... Прямо перед ней... Командир погиб, к нему она доползти не успела, и ей обе ноги искромсало, да так, что мы с трудом ее перевязали. Намучились. И так, и этак пробовали. Несли на носилках в медсанбат, а она просила: "Девочки, пристрелите... Я не хочу такая жить...". Так просила и молила... Так! Отправили ее в госпиталь, а сами дальше пошли, в наступление. Когда стали искать... След ее уже затерялся. Мы не знали, где она, что с ней? Много лет... Куда только не писали, никто положительного ответа не давал. Помогли нам следопыты 73-й школы города Москвы. Эти мальчики, эти девочки... Они нашли ее через тридцать лет после войны, нашли в доме инвалидов, где-то на Алтае. Очень далеко. Все эти годы она по интернатам для инвалидов, по госпиталям кочевала, ее десятки раз оперировали. Она матери своей даже не призналась, что живая... От всех спряталась... Мы ее привезли на нашу встречу. В слезах все выкупались. Потом свели с матерью... Через тридцать с лишним лет они встретились... Мать чуть с ума не сошла: "Какое счастье, что мое сердце от горя раньше не разорвалось. Какое счастье!". А Машенька повторяла: "Теперь мне

не страшно встретиться. Я уже старая”. Да... Короче... Это и есть война...

Помню, лежу ночью в землянке. Не сплю. Где-то артиллерия работает. Наши постреливают... И так не хочется умирать... Я клятву дала, воинскую клятву, если надо, отдам жизнь, но так не хочется умирать. Оттуда даже если живой вернешься, душа болеть будет. Теперь думаю: лучше бы в ногу или в руку ранило, пусть бы тело болело. А то душа... Очень больно. Мы же молоденькие совсем на фронт пошли. Девочки. Я за войну даже подросла. Мама дома померила... Я подросла на десять сантиметров...»

На прощание неловко протянет ко мне горячие руки и обнимет: «Прости...».

«ПОДРАСТИТЕ, ДЕВОЧКИ...



ВЫ ЕЩЕ ЗЕЛЕННЫЕ...»



Голоса... Десятки голосов... Они обрушились на меня, открывая непривычную правду, и она, эта правда, уже не вмещалась в короткую и знакомую с детства формулу — мы победили. Произошла мгновенная химическая реакция: пафос растворился в живой ткани человеческих судеб, он оказался самым кратко живущим веществом. Судьба — это когда еще что-то стоит за словами.

Что я хочу услышать через десятки лет? Как это было под Москвой или под Сталинградом, описание военных операций, забытые названия взятых высот и высоток? Мне нужны рассказы о движении участков и фронтов, об отступлении и наступлении, о количестве подорванных эшелонов и партизанских рейдах, — обо всем том, о чем уже написаны тысячи томов? Нет, я ищу другое. Я собираю то, что назвала бы знанием духа. Иду по следам душевной жизни, веду запись души. Путь души для меня важнее самого события, не так важно или не столь важно, не на первом месте, “как это было”, а волнует и пугает другое — что там с человеком происходило? Что он там увидел и понял? О жизни и смерти вообще? О самом себе, наконец? Пишу историю чувств... Историю души... Не историю войны или государства и не житие героев, а историю маленького человека, выбро-

шенного из просто жизни в эпическую глубину громадного события. В большую Историю.

Девчонки сорок первого... Первое, о чем хочу спросить: откуда они такие? Почему их было так много? Как решились наравне с мужчинами взять оружие в руки? Стрелять, минировать, подрывать, бомбить — убивать?

Этим же вопросом еще в девятнадцатом веке задался Пушкин, публикуя в журнале «Современник» отрывок из записок кавалерист-девицы Надежды Дуровой, участвовавшей в войне с Наполеоном: «Какие причины заставили молодую девушку хорошей дворянской фамилии оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений — и каких еще! Наполеоновских. Что побудило ее? Тайные сердечные огорчения? Воспаленное воображение? Врожденная неукротимая склонность? Любовь?».

Так все-таки — что?! Через сто с лишним лет тот же вопрос...

О клятвах и молитвах

«Я хочу говорить... Говорить! Выговориться! Наконец-то и нас хотят выслушать. Мы столько лет молчали, даже дома молчали. Десятки лет. Первый год, когда я вернулась с войны, я говорила-говорила. Никто не слушал. И я замолчала... Хорошо, что ты пришла. Я все время кого-то ждала, знала, что кто-то придет. Должен прийти. Я была тогда юная. Абсолютно юная. Жаль. Знаешь, почему? Не умела это даже запомнить...

За несколько дней до войны мы говорили с подружкой о войне, мы были уверены — никакой войны не будет. Пошли с ней в кино, перед фильмом показывали журнал: Риббентроп и Молотов пожимали друг другу

руки. В сознание врезались слова диктора, что Германия — верный друг Советского Союза.

Не прошло и месяца, как немецкие войска были уже под Москвой...

У нас — восемь детей в семье, первые четыре все девочки, я самая старшая. Папа пришел один раз с работы и плачет: “Я когда-то радовался, что у меня первые девочки. Невесты. А теперь у каждого кто-то идет на фронт, а у нас некому... Я старый, меня не берут, вы — девчонки, а мальчики маленькие”. Как-то в семье у нас это сильно переживали.

Организовали курсы медсестер, и отец отвел нас с сестрой туда. Мне — пятнадцать лет, а сестре — четырнадцать. Он говорил: “Это все, что я могу отдать для победы. Моих девочек...”. Другой мысли тогда не было.

Через год я попала на фронт...»

*Наталья Ивановна Сергеева,
рядовая, санитарка*

«В первые дни... В городе неразбериха. Хаос. Ледяной страх. Каких-то шпионов все ловили. Убеждали друг друга: “Не надо поддаваться на провокацию”. Никто даже в мыслях не соглашался, что наша армия потерпела катастрофу, ее разгромили за несколько недель. Нас учили, что воевать мы будем на чужой территории. “Ни пяди своей земли не отдадим...” А тут отступаем...

До войны ходили слухи, что Гитлер готовится напасть на Советский Союз, но эти разговоры строго пресекались. Пресекались соответствующими органами... Вам ясно, какие это органы? НКВД... Чекисты... Если люди шептались, то дома, на кухне, а в коммуналках — только в своей комнате, за закрытыми дверями или в ванной, открыв перед этим кран с водой. Но когда Сталин заговорил... Он обратился к нам: “Братья и сестры...”. Тут все забыли свои обиды... У нас дядя

сидел в лагере, мамин брат, он был железнодорожник, старый коммунист. Его арестовали на работе... Вам ясно — кто? НКВД... Нашего любимого дядю, а мы знали, что он ни в чем не виноват. Верили. Он имел награды еще с гражданской войны... Но после речи Сталина мама сказала: “Защитим Родину, а потом разберемся”. Родину любили все.

Я побежала сразу в военкомат. С ангиной побежала, у меня еще не спала окончательно температура. Но я не могла ждать...»

*Елена Антоновна Кудина,
рядовая, шофер*

«У нашей матери не было сыновей... Росло пять дочерей. Объявили: “Война!”. У меня был отличный музыкальный слух. Мечтала поступать в консерваторию. Я решила, что слух мой пригодится на фронте, я буду связисткой.

Эвакуировались в Сталинград. А когда Сталинград был осажден, добровольно пошли на фронт. Все вместе. Вся семья: мама и пять дочерей, а отец к этому времени уже воевал...»

*Антонина Максимовна Князева,
младший сержант, связистка*

«Одно желание у всех: попасть на фронт... Страшно? Конечно, страшно... Но все равно... Пошли в военкомат, а нам говорят: “Подрастите, девочки... Вы еще зеленые...”. Нам по шестнадцать-семнадцать лет. Но я добилась своего, меня взяли. Мы хотели с подружкой в снайперскую школу, а нам сказали: “Будете регулировщицами. Некогда вас учить”.

Мама несколько дней сторожила на станции, когда нас повезут. Увидела, как мы шли уже к составу, передала мне пирог, десяток яиц и упала в обморок...»

*Татьяна Ефимовна Семенова,
сержант, регулировщица*

«Мир сразу переменялся... Я помню первые дни... Мама стояла вечером у окна и молилась. Я не знала, что моя мама верит в Бога. Она смотрела и смотрела на небо...

Меня мобилизовали, я была врач. Я поехала из чувства долга. А мой папа был счастлив, что дочь на фронте. Защищает Родину. Папа шел в военкомат рано утром. Он шел получать мой аттестат и шел рано утром специально, чтобы все в деревне видели, что дочь у него на фронте...»

*Ефросинья Григорьевна Бреус,
капитан, врач*

«Лето... Последний мирный день... Вечером мы на танцах. Нам по шестнадцать лет. Мы ходили еще компанией, проводим вместе одного, потом другого. У нас не было, чтобы отделился кто-то парой. Идем, допустим, шесть мальчиков и шесть девочек.

И вот уже через две недели этих ребят, курсантов танкового училища, которые нас провожали с танцев, привозили калекими, в бинтах. Это был ужас! Ужас! Если услышу: кто-нибудь смеется, я не могла этого простить. Как можно смеяться, как можно чему-то радоваться, когда такая война идет?

Скоро отец ушел в ополчение. Дома остались одни малые братья и я. Братья были с тридцать четвертого и тридцать восьмого года рождения. И я сказала маме, что пойду на фронт. Она плакала, я и сама ночью плакала. Но удрала из дома... Написала маме из части. Оттуда она вернуть меня уже никак не могла...»

*Лилия Михайловна Бутко,
хирургическая медсестра*

«Приказ: построиться... Стали мы по росту, я самая маленькая. Командир идет, смотрит. Подходит ко мне:

— А это что за Дюймовочка? Что ты будешь тут делать? Может, вернешься к маме и подрастешь?

А мамы у меня уже не было... Мама погибла под бомбежкой...

Самое сильное впечатление... На всю жизнь... Было это в первый год, когда мы отступали... Я увидела — мы прятались за кустами — как наш солдат бросился с винтовкой на немецкий танк и бил прикладом по броне. Бил, кричал и плакал, пока не упал. Пока его не расстреляли немецкие автоматчики. Первый год воевали с винтовками против танков и “мессеров”...»

*Полина Семеновна Ноздрачева,
санинструктор*

«Я просила маму... Я ее умоляла: только не надо плакать... Это происходило не ночью, но было темно, и стоял сплошной вой. Они не плакали, наши матери, провожавшие своих дочерей, они выли. Моя мама стояла, как каменная. Она держалась, она боялась, чтобы я не заревела. Я же была маменькина дочка, меня дома баловали. А тут постригли под мальчика, только маленький чубчик оставили. Они с отцом меня не пускали, а я только одним жила: на фронт, на фронт! На фронт! Вот эти плакаты, которые сейчас висят в музее: “Родина-мать зовет!”, “Что ты сделал для фронта?” — на меня, например, очень действовали. Все время были перед глазами. А песни? “Вставай, страна огромная... Вставай на смертный бой...”»

Когда мы ехали, нас поразило, что прямо на перронах лежали убитые. Это уже была война... Но молодость брала свое, и мы пели. Даже что-то веселое. Какие-то частушки.

К концу войны у нас вся семья воевала. Отец, мама, сестра — они стали железнодорожниками. Они продвигались сразу за фронтом и восстанавливали дорогу. Медаль “За победу” у нас получили все: отец, мама, сестра и я...»

*Евгения Сергеевна Сапронова, гвардии сержант,
авиамеханик*

«До войны я работала в армии телефонисткой... Наша часть находилась в городе Борисове, куда война докатилась в первые же недели. Начальник связи выстроил всех нас. Мы не служили, не солдаты, мы были вольнонаемные.

Он нам говорит:

— Началась война жестокая. Вам будет очень трудно, девушкам. И пока не поздно, если кто хочет, можете вернуться к себе домой. А те, кто пожелает остаться на фронте, шаг вперед...

И все девушки, как одна, шаг вперед сделали. Нас человек двадцать. Все готовы были защищать Родину. А до войны я даже военные книжки не любила, любила читать про любовь. А тут?!

Сидели за аппаратами сутками, целыми сутками. Солдаты принесут нам котелки, перекусим, подремлем тут же, возле аппаратов, и снова надеваем наушники. Некогда было помыть голову, тогда я попросила: «Девочки, отрежьте мне косы...»

*Галина Дмитриевна Запольская,
телефонистка*

«Мы ходили и ходили в военкомат...

И когда снова пришли, в который уже раз, не помню, военком чуть нас не выставил: «Ну, если бы вы хоть какую-нибудь специальность имели. Были бы вы медсестры, шофера... Ну что вы умеете? Что вы будете делать на войне?». А мы не понимали. Перед нами такого вопроса не стояло: что мы будем делать? Хотели воевать — и все. До нас не доходило, что воевать — это что-то уметь делать. Что-то конкретное. И он нас огорошил своим вопросом.

Я и еще несколько девочек пошли на курсы медсестер. Нам там сказали, что надо учиться шесть месяцев. Мы решили: нет, это долго, нам не подходит. Были еще курсы, где учились три месяца. Правда, три месяца — это тоже, как мы считали, долго. Но эти курсы как раз

подходили к концу. Мы попросили, чтобы нас допустили к экзаменам. Еще месяц шли занятия. Ночью мы были на практике в госпитале, а днем учились. Получилось, что мы учились месяц с небольшим...

Направили нас не на фронт, а в госпиталь. Это было в конце августа сорок первого года... Школы, больницы, клубы были переполнены ранеными. Но в феврале я ушла из госпиталя, можно сказать, убежала, дезертировала, иначе не назовешь. Без документов, без ничего убежала на санитарный поезд. Написала записочку: «На дежурство не приду. Уезжаю на фронт». И все...»

*Елена Павловна Яковлева,
старшина, медсестра*

«У меня в тот день было свидание... Я летела туда на крыльях... Я думала, он мне в этот день признается: “Люблю”, а он пришел грустный: “Вера, война! Нас прямо с занятий отправляют на фронт”. Он учился в военном училище. Ну, и я, конечно, тут же представила себя в роли Жанны д’Арк. Только на фронт и только винтовку в руки. Мы должны быть вместе. Только вместе! Побегала в военкомат, но там мне отрезали сурово: “Нужны пока только медики. И учиться надо шесть месяцев”. Шесть месяцев — это же обалдеть! У меня — любовь...

Как-то меня убедили, что надо учиться. Хорошо, буду учиться, но не на медсестру... Я хочу стрелять! Стрелять, как и он. Как-то я уже была к этому готова. В нашей школе часто выступали герои гражданской войны и те, кто воевал в Испании. Девушки чувствовали себя наравне с мальчиками, нас не разделяли. Наоборот, с детства, со школы мы слышали: “Девушки — за руль трактора!”, “Девушки — за штурвал самолета!” Ну, а тут еще любовь! Я даже представляла, как мы с ним погибнем вместе. В одном бою...

Училась я в театральном институте. Мечтала стать актрисой. Мой идеал — Лариса Рейснер. Женщина-ко-

миссар в кожаной куртке... Мне нравилось, что она красивая...»

Вера Даниловцева, сержант, снайпер

«Моих друзей, все они были старше, забрали на фронт... Я страшно плакала, что осталась одна, меня не взяли. Мне сказали: “Надо, девочка, учиться”.

Но проучились мы немного. Декан наш скоро выступил и сказал:

— Закончится война, девочки, потом будете доучиваться. Надо защищать Родину.

На фронт нас провожали шефы с завода. Это было лето. Я помню, что все вагоны были в зелени, в цветах. Преподносили нам подарки. Мне досталось вкуснейшее домашнее печенье и красивый свитерок. С каким азартом я танцевала на перроне украинский гопак!

Ехали много суток... Вышли с девочками на какой-то станции с ведром, чтобы воды набрать. Оглянулись и ахнули: один за одним шли составы, и там одни девушки. Поют. Машут нам — кто косынками, кто пилотками. Стало понятно: мужиков не хватает, полегли они... Или в плену. Теперь мы вместо них.

Мама написала мне молитву. Я положила ее в медальон. Может, и помогло — я вернулась домой. Я перед боем медальон целовала...»

*Анна Николаевна Хролович,
медсестра*

«Я была летчица...

Когда училась еще в седьмом классе, к нам прилетел самолет. Это в те годы, представляете, в тридцать шестом году. Тогда это была диковинка. И тогда же появился призыв: “Девушки и юноши — на самолет!”. Я, конечно, как комсомолка была в передовых рядах. Сразу записалась в аэроклуб. Отец, правда, категорически выступал против. До этого в семье нашей все были металлурги, несколько поколений металлургов-доменщиков.

И отец считал, что металлургом быть — женская работа, а летчиком — нет. Начальник аэроклуба узнал об этом и разрешил покатать отца на самолете. Я так и сделала. Мы поднялись с отцом в воздух, и с того дня он молчал. Ему понравилось. Закончила аэроклуб с отличием, хорошо прыгала с парашютом. До войны успела еще выйти замуж, родила девочку.

С первых дней войны в нашем аэроклубе начались переустройства: мужчин забирали, а заменяли их мы, женщины. Учили курсантов. Работы было много, с утра до ночи. Муж мой ушел на фронт одним из первых. Осталась у меня только фотография: стоим с ним вдвоем у самолета, в летчицких шлемах... Жили мы теперь вдвоем с дочкой, жили все время в лагерях. А как жили? Я с утра ее закрою, дам каши, и с четырех часов утра мы уже летаем. Возвращаюсь к вечеру, а она поест или не поест, вся измазанная этой кашей. Уже даже не плачет, а только смотрит на меня. Глаза у нее большие, как у мужа...

К концу сорок первого мне прислали похоронную: муж погиб под Москвой. Он был командир звена. Я любила свою дочку, но отвезла ее к его родным. И стала проситься на фронт...

В последнюю ночь... Всю ночь простояла у детской кровати на коленях...»

*Антонина Григорьевна Бондарева,
гвардии лейтенант, старший летчик*

«Мне исполнилось восемнадцать лет... Я такая радостная, у меня — праздник. А все вокруг кричат: “Война!!” Помню, как люди плакали. Сколько встречала людей на улице, все плакали. Некоторые даже молились. Было непривычно... Люди на улице молятся и крестятся. В школе нас учили, что Бога нет. Но где наши танки и наши красивые самолеты? Мы их всегда видели на парадах. Гордились! Где наши полководцы? Буденный... Был, конечно, момент растерянности. А потом стали думать о другом: как победить?

Училась я на втором курсе фельдшерско-акушерской школы в городе Свердловске. Сразу подумала: “Раз война, значит, нужно на фронт”. У меня папа коммунист с большим стажем, политкаторжанин. Он нам с детства внушал, что Родина — это все, Родину надо защищать. И я не колебалась: если я не пойду, то кто пойдет? Я должна...»

*Серафима Ивановна Панасенко,
младший лейтенант,
фельдшер мотострелкового батальона*

«Мама прибежала к поезду... Моя мама была строгая. Она никогда нас не целовала, не хвалила. Если что-то хорошее, то она только ласково посмотрит, и все. А тут она прибежала, схватила мою голову и целует меня, целует. И так смотрит в глаза... Смотрит... Долго... Я поняла, что больше уже никогда не увижу свою маму. Я почувствовала... Захотелось бросить все, отдать вещмешок и вернуться домой. Мне стало всех жалко... Бабушку... И братиков...

Тут заиграла музыка... Команда: “Ра-зойдись! Садись! По ва-го-о-о-нам!..”.

Я долго махала и махала рукой...»

*Тамара Ульяновна Ладынина,
рядовая, пехотинец*

«Зачислили меня в полк связи... Никогда бы не пошла в связь и не согласилась бы, потому что я не понимала, что это тоже воевать. Приехал к нам командир дивизии, все построились. Была у нас Машенька Сунгурова. И вот эта Машенька выходит из строя:

— Товарищ генерал, разрешите обратиться.

Он говорит:

— Ну обращайтесь, обращайтесь, боец Сунгурова!

— Рядовая Сунгурова просит освободить ее от службы в связи и направить туда, где стреляют.

Вы понимаете, мы были все так настроены. У нас представление, что то, чем мы занимаемся — связь, это

очень мало, это даже унижает нас, надо быть только на переднем крае.

У генерала сразу исчезла улыбка:

— Девчоночки мои! (А вы бы видели, какие мы были тогда — не евские, не спавшие, одним словом, он уже не как командир, а как отец с нами заговорил). Вы, наверное не понимаете своей роли на фронте, вы — наши глаза и уши, армия без связи, как человек без крови.

Машенька Сунгурова первая не выдержала:

— Товарищ генерал! Рядовая Сунгурова, как штык, готова выполнять любое ваше задание!

Мы ее потом так до конца войны и звали: “Штык”.

...В июне сорок третьего на Курской дуге нам вручают знамя полка, а наш полк, сто двадцать девятый отдельный полк связи шестьдесят пятой армии, уже был на восемьдесят процентов женский. И вот я хочу рассказать, чтобы вы получили представление... Поняли... Что в наших душах творилось, таких людей, какими мы были тогда, наверное, больше никогда не будет. Никогда! Таких наивных и таких искренних. С такой верой! Когда знамя получил наш командир полка и дал команду: “Полк, под знамя! На колени!”, все мы почувствовали себя счастливыми. Нам оказали доверие, мы теперь такой полк как все — танковый, стрелковый. Стоим и плачем, у каждой слезы на глазах. Вы сейчас не поверите, у меня от этого потрясения весь мой организм напрягся, моя болезнь, а я заболела “куриной слепотой”, это у меня от недоедания, от нервного переутомления случилось, так вот, моя куриная слепота прошла. Понимаете, я на другой день была здорова, я выздоровела, вот через такое потрясение всей души...»

*Мария Семеновна Калиберда,
старший сержант, связистка*

«Только стала взрослой... Девятого июня сорок первого года мне исполнилось восемнадцать лет, я стала взрос-

лая. А через две недели началась эта проклятая война, даже через двенадцать дней. Нас послали на строительство железной дороги Гагра — Сухуми. Собрали одну молодежь. Я запомнила, какой мы ели хлеб. Муки там почти не было, всего всякого, а больше всего — воды. Полежит этот хлеб на столе, и возле него лужица собирается, мы слизывали ее языком.

В сорок втором году... Я добровольно записалась на службу в эвакуационный госпиталь три тысячи двести первый. Это был очень большой фронтальной госпиталь, который входил в состав Закавказского и Северо-Кавказского фронтов и отдельной Приморской армии. Бои шли очень жестокие, раненых было много. Меня поставили на раздачу питания — эта должность круглосуточная, уже утро и надо подавать завтрак, а мы еще раздаем ужин. Через несколько месяцев ранило в левую ногу — скакала на правой, но работала. Потом еще добавили должность сестры-хозяйки, это тоже надо быть на месте круглосуточно. Жила на работе.

Тридцатого мая сорок третьего года... Ровно в час дня был массированный налет на Краснодар. Я выскочила из здания посмотреть, как успели отправить раненых с железнодорожного вокзала. Две бомбы угодили в сарай, где хранились боеприпасы. На моих глазах ящики взлетали выше шестиэтажного здания и рвались. Меня ураганной волной отбросило к кирпичной стене. Потеряла сознание... Когда пришла в себя, был уже вечер. Подняла голову, попробовала сжать пальцы — вроде двигаются, еле-еле продрала левый глаз и пошла в отделение, вся в крови. В коридоре встречаю нашу старшую сестру, она не узнала меня, спросила: “Кто вы? Откуда?”. Подошла ближе, ахнула и говорит: “Где тебя так долго носило, Ксения? Раненые голодные, а тебя нет”. Быстро перевязали голову, левую руку выше локтя, и я пошла получать ужин. В глазах темнело, пот лился градом. Стала раздавать ужин, упала. Привели в сознание,

и только слышится: “Скорей! Быстрей!”. И опять — “Скорей! Быстрей!”.

Через несколько дней у меня еще брали для тяжело-раненых кровь. Люди умирали...

...За войну я так изменилась, что когда приехала домой, мама меня не узнала. Мне показали, где она жила, я подошла к двери, постучала. Ответили:

— Да-да...

Я вошла, поздоровалась и говорю:

— Пустите переночевать.

Мама растапливала печь, а два моих младших братика сидели на полу на куче соломы, голые, нечего было надеть. Мама меня не узнала и отвечает:

— Вы видите, гражданочка, как мы живем? Пока не стемнело, пройдите дальше.

Подхожу ближе, она опять:

— Гражданочка, пройдите дальше, пока не стемнело.

Наклоняюсь к ней, обнимаю и произношу:

— Мама-мамочка!

Тогда они все на меня как набросятся... Как заревут...

Сейчас я живу в Крыму... У нас все утопает в цветах, я каждый день смотрю из окна на море, а вся изнываю от боли, у меня до сих пор не женское лицо. Я часто плачу, я ежедневно в стоне. В своих воспоминаниях...»

*Ксения Сергеевна Осадчева,
рядовая, сестра-хозяйка*

О запахе страха и чемодане конфет

«Я уходила на фронт... Стоял прекрасный день. Светлый воздух и мелкий-мелкий дождичек. Так красиво! Вышла утром, стою: неужели я больше сюда не вернусь? Не увижу наш сад... Нашу улицу... Мама плакала, схватит меня и не отпускает. Я уже пойду, она догонит, обнимет и не пускает...»

*Ольга Митрофановна Ружницкая,
медсестра*

«Умирать... Умирать я не боялась. Молодость, наверное, или еще что-то... Вокруг смерть, всегда смерть рядом, а я о ней не думала. Мы о ней не говорили. Она кружила-кружила где-то близко, но все — мимо. Один раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышался стон. Остался раненый. “Не ходи, убьют, — не пускали меня бойцы, — видишь, уже светает”.

Не послушалась, поползла. Нашла раненого, тащила его восемь часов, привязав ремнем за руку. Приволокла живого. Командир узнал, объявил сгоряча пять суток ареста за самовольную отлучку. А заместитель командира полка отреагировал по-другому: “Заслуживает награды”.

В девятнадцать лет у меня была медаль “За отвагу”. В девятнадцать лет поседела. В девятнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких, вторая пуля прошла между двух позвонков. Парализовало ноги... И меня посчитали убитой...

В девятнадцать лет... У меня внучка сейчас такая. Смотрю на нее — и не верю. Дите!

Когда я приехала домой с фронта, сестра показала мне похоронку... Меня похоронили...»

*Надежда Васильевна Анисимова,
санинструктор пулеметной роты*

«Маму свою я не помню... В памяти остались только смутные тени... Очертания... То ли ее лица, то ли ее фигуры, когда она наклонялась надо мной. Была близко. Так мне потом казалось. Когда мамы не стало, мне было три года. Отец служил на Дальнем Востоке, кадровый военный. Научил меня кататься на лошади. Это было самое сильное впечатление детства. Отец не хотел, чтобы я выросла кисейной барышней. В Ленинграде — там я себя помню с пяти лет — жила с тетей. А тетя моя в русско-японскую войну была сестрой милосердия. Я ее любила, как маму...

Какая я была в детстве? На спор прыгала со второго этажа школы. Любила футбол, всегда вратарем у мальчишек. Началась финская война, без конца убегала на финскую войну. А в сорок первом как раз окончила семь классов и успела отдать документы в техникум. Тетя плачет: «Война!», а я обрадовалась, что пойду на фронт, буду воевать. Откуда я знала, что такое кровь?

Сформировалась первая гвардейская дивизия народного ополчения, и нас, несколько девчонок, взяли в медсанбат.

Позвонила тете:

— Ухожу на фронт.

На другом конце провода мне ответили:

— Марш домой! Обед уже простыл.

Я повесила трубку. Потом мне ее было жалко, безумно жалко. Началась блокада города, страшная ленинградская блокада, когда город наполовину вымер, а она осталась одна. Старенькая.

Помню, отпустили меня в увольнение. Прежде чем пойти к тете, я зашла в магазин. До войны страшно любила конфеты. Говорю:

— Дайте мне конфет.

Продавщица смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я не понимала: что такое — карточки, что такое — блокада? Все люди в очереди повернулись ко мне, а у меня

винтовка больше, чем я. Когда нам их выдали, я посмотрела и думаю: “Когда я дорасту до этой винтовки?”. И все вдруг стали просить, вся очередь:

— Дайте ей конфет. Вырежьте у нас талоны.

И мне дали.

На улице собирали помощь фронту. Прямо на площади на столах лежали большие подносы, люди шли и снимали, кто перстень золотой, кто серьги. Часы несли, деньги... Никто ничего не записывал, никто не расписывался. Женщины снимали с рук кольца обручальные...

Эти картины в моей памяти...

И был знаменитый сталинский приказ за номером двести двадцать семь — “Ни шагу назад!”. Повернешь назад — расстрел! Расстрел — на месте. Или — под трибунал и в специально созданные штрафные батальоны. Тех, кто туда попадал, называли смертниками. А вышедших из окружения и бежавших из плена — в фильтрационные лагеря. Сзади за нами шли заградотряды... Свои стреляли в своих...

Эти картины в моей памяти...

Обычная поляна... Мокро, грязно после дождя. Стоит на коленях молодой солдат. В очках, они без конца у него падают почему-то, он их поднимает. После дождя... Интеллигентный ленинградский мальчик. Трехлинейку у него уже забрали. Нас всех выстроили. Везде лужи... Мы... Слышим, как он просит... Он клянется... Умоляет, чтобы его не расстреливали, дома у него одна мама. Начинает плакать. И тут же его — прямо в лоб. Из пистолета. Показательный расстрел — с любым так будет, если дрогнет. Пусть даже на одну минуту! На одну...

Этот приказ сразу сделал из меня взрослую. Об этом нельзя было... Долго не вспоминали... Да, мы победили, но какой ценой! Какой страшной ценой?!

Не спали мы сутками — столько было раненых. Однажды трое суток никто не спал. Меня послали с машиной раненых в госпиталь. Сдала раненых, назад маши-

на ехала пустая, и я выспалась. Вернулась, как огурчик, а наши все с ног падают.

Встречаю комиссара:

— Товарищ комиссар, мне стыдно.

— Что такое?

— Я спала.

— Где?

Рассказываю ему, как отвозила раненых, назад ехала пустая и выспалась.

— Ну и что? Молодец! Пусть хоть один человек будет нормальный, а то все засыпают на ходу.

А мне было стыдно. И с такой совестью мы жили всю войну.

В медсанбате ко мне хорошо относились, но я хотела быть разведчицей. Сказала, что убегу на передовую, если меня не отпустят. Хотели из комсомола за это исключить, за то, что не подчиняюсь военному уставу. Но все равно я удрала...

Первая медаль “За отвагу”...

Начался бой. Огонь шквальный. Солдаты залегли. Команда: “Вперед! За Родину!”, а они лежат. Опять команда, опять лежат. Я сняла шапку, чтобы видели: девчонка поднялась... И они все встали, и мы пошли в бой...

Вручили мне медаль, и в тот же день мы пошли на задание. И у меня впервые в жизни случилось... Наше... Женское... Увидела я у себя кровь, как заору:

— Меня ранило...

В разведке с нами был фельдшер, уже пожилой мужчина. Он ко мне:

— Куда ранило?

— Не знаю куда... Но кровь...

Мне он, как отец, все рассказал...

Я ходила в разведку после войны лет пятнадцать. Каждую ночь. И сны такие: то у меня автомат отказал, то нас окружили. Просыпаешься — зубы скрипят. Вспоминаешь — где ты? Там или здесь?

Кончилась война, у меня было три желания: первое — наконец я не буду ползать на животе, а стану ездить на троллейбусе, второе — купить и съесть целый белый батон, третье — выспаться в белой постели и чтобы простыни хрустели. Белые простыни...»

*Альбина Александровна Гантимурова,
старший сержант, разведчица*

«Жду второго ребенка... У меня сыну — два года, и я беременная. Тут — война. И муж на фронте. Я поехала к своим родителям и сделала... Ну, вы понимаете? Аборт... Хотя это тогда запрещалось... Как рожать? Кругом слезы... Война! Как рожать среди смерти?

Окончила курсы шифровальщиц, отправили на фронт. Хотела отомстить за своего ребеночка, за то, что я его не родила. Мою девочку... Должна была родиться девочка...

Просилась на передовую. Оставили в штабе...»

*Любовь Аркадьевна Чарная,
младший лейтенант, шифровальщица*

«Уходили из города... Все уходили... В полдень двадцать восьмого июня сорок первого года мы, студенты Смоленского пединститута, тоже собрались во дворе типографии. Сбор был недолгим. Вышли из города по старой Смоленской дороге в направлении города Красное. Соблюдая осторожность, двигались отдельными группами. К концу дня жара спала, идти стало легче, пошли быстрее, не оглядываясь. Оглядываться боялись... Остановились на привал, и только тогда взглянули на восток. Весь горизонт был охвачен багровым заревом, с расстояния сорока километров казалось, что оно заняло все небо. Ясно стало, что не десять и не сто домов горят. Горит весь Смоленск...

Было у меня новое, такое воздушное платье с оборочками. Нравилось оно Вере, моей подружке. Несколько раз она его примеряла. Я обещала подарить его ей

на свадьбу. Замуж она собиралась. И парень у нее был хороший.

А тут вдруг война. Уходим на окопы. Вещи свои в общежитии сдаем коменданту. А как же платье? “Возьми, Вера”, — говорила я, когда мы уходили из города.

Не взяла. Мол, как и обещала, подаришь на свадьбу. Сгорело в том зареве платье.

Все время мы теперь шли и оборачивались. Казалось, что нам печет в спину. Всю ночь не останавливались, а с рассветом вышли на работу. Рыть противотанковые рвы. Семь метров отвесная стена и три с половиной метра вглубь. Копаю, а лопата огнем горит, песок кажется красным. Стоит перед глазами наш дом с цветами и сиренью... Белой сиренью...

Жили мы в шалашах на залильном лугу между двух рек. Жара и сырость. Комаров тьма. Перед сном выкурим их из шалашей, а с рассветом все равно просачиваются, спокойно не поспишь.

Увезли меня оттуда в санчасть. Там на полу вповал мы лежали, Много нас тогда заболело. Температура высокая. Озноб. Лежу — плачу. Открылась дверь в палату, доктор с порога (дальше и пройти нельзя было, матрацы вплотную лежали) говорит: “Иванова, плазмодий в крови”. Это у меня, значит. Она не знала, что для меня страха большего не было, чем этот плазмодий, с того раза, как я о нем в учебнике еще в шестом классе прочитала. А тут репродуктор заиграл: “Вставай, страна огромная...”. Впервые я тогда услышала эту песню. “Вот выздоровлю, — думаю, — и сразу уйду на фронт”.

Привезли меня в Козловку — недалеко от Рославля, выгрузили на лавку, сижу, держусь изо всех сил, чтобы не упасть, слышу будто во сне:

— Эта?

— Да, — сказал фельдшер.

— Ведите в столовую. Сначала накормите.

И вот я в кровати. Вы можете понять, что это такое, не на земле у костра, не в плащ-палатке под деревом,

а в госпитале, в тепле. На простыне. Семь дней я не просыпалась. Рассказывали: сестры будили и кормили меня, а я не помню. А когда через семь дней проснулась сама, пришел врач, осмотрел и сказал:

— Организм крепкий, справится.

И я опять провалилась в сон.

...На фронте сразу попала со своей частью в окружение. Норма питания — два сухаря в день. Хоронить убитых не хватало времени, их просто засыпали песком. Лицо закрывали пилоткой... “Если выживем, — сказал командир, — отправлю тебя в тыл. Я раньше думал, что женщина здесь и двух дней не выдержит. Как представлю свою жену...” Я расплакалась от обиды, для меня это было хуже смерти — сидеть в такое время в тылу. Умом и сердцем я выдерживала, я не выдерживала физически. Физические нагрузки... Помню, как таскали снаряды на себе, таскали орудия по грязи, особенно на Украине, такая тяжелая земля после дождя или весной, она как тесто. Даже вот выкопать братскую могилу и похоронить товарищей, когда мы все трое суток не спали... даже это тяжело. Уже не плакали, чтобы плакать тоже нужны силы, а хотелось спать. Спать и спать.

На посту я ходила без остановки взад-вперед и стихи вслух читала. Другие девчонки песни пели, чтобы не упасть и не заснуть...»

*Валентина Павловна Максимчук,
зенитчица*

«Вывозили раненых из Минска... Я шла на высоких каблуках, стеснялась, что малая ростом. Каблук один сломался, а тут кричат: “Десант!”. И я босиком бегу, а туфли в руке, жалко, очень красивые туфли.

Когда нас окружили и видим, что не вырвемся, то мы с санитаркой Дашей поднялись из канавы, уже не прячемся, стоим во весь рост: пусть лучше головы снарядом сорвет, чем они возьмут нас в плен, будут издеваться. Раненые, кто мог встать, тоже встали...

Когда я увидела первого фашистского солдата, я не смогла слово выговорить, у меня отнялась речь. А они идут молодые, веселые и улыбаются. И где бы они ни остановились, где бы ни увидели колонку или колодец, начинали мыться. Рукава у них всегда закатаны. Моются, моются... Кровь вокруг, крики, а они моются, моются... И такая ненависть поднималась... Я пришла домой, я две блузки поменяла. Так все внутри протестовало против того, что они здесь. Я не могла спать ночами. Ка-а-а-ак?! А соседку нашу, тетю Клаву, парализовало, когда она увидела, что они ходят по нашей земле. В ее доме... Она скоро умерла, потому что не могла это перенести...»

*Мария Васильевна Жлоба,
подпольщица*

«Немцы въехали в деревню... На больших черных мотоциклах... Я глядела на них во все глаза: они были молодые, веселые. Все время смеялись. Они хохотали! Сердце останавливалось, что они здесь, на твоей земле, и еще смеются.

Я только мечтала отомстить. Воображала, как погибну, и обо мне напишут книгу. Останется мое имя. Это были мои мечты...

В сорок третьем году родила дочку... Это уже мы с мужем пришли в лес к партизанам. На болоте родила, в стогу сена. Пеленочки на себе сушила, положу за пазуху, согрею и опять пеленаю. Вокруг все горело, жгли деревни вместе с людьми. В школы сгоняли, в церкви... Обливали керосином... У меня моя пятилетняя племянница — она слушала наши разговоры — спросила: “Тетя Маня, когда я сгорю, что от меня останется? Только ботики...”. Вот о чем наши дети нас спрашивали...

Я сама огарки собирала... Сбирала своей подруге семью... Косточки в золе находили, и где остался кусочек одежды, хоть окраечек какой, узнавали, кто это.

Каждый своего искал. Подняла я один кусочек, подруга говорит: “Мамина кофта...”. И упала. Кто в простынку, кто в наволочку косточки собирал. Что принесли. Мы с подругой — в сумочку, и полсумочки не набрали. В могилку общую все складывали. Все черное, только косточки белые. И костная зола... Я ее уже узнавала... Она — белая-белюсенькая...

После этого куда бы меня не посылали, я не боялась. Ребеночек у меня был маленький, в три месяца я его уже на задание брала. Комиссар меня отправлял, а сам плакал... Медикаменты из города приносила, бинты, сыворотку... Между ручек и между ножек положу, пеленочками перевяжу и несу. В лесу раненые умирают. Надо идти. Надо! Никто другой не мог пройти, не мог пробраться, везде немецкие и полицейские посты, одна я проходила. С ребеночком. Он у меня в пеленочках...

Теперь признаться страшно... Ох, тяжело! Чтобы была температура, ребеночек плакал, солью его натирала. Он тогда красный весь, по нем сыпь пойдет, он кричит, из кожи лезет. Остановят у поста: “Тиф, пан... Тиф...”. Они гонят, чтобы скорее уходила: “Вэк! Вэк!”. И солью натирала, и чесночок клала. А дитятко маленькое, я его еще грудью кормила.

Как пройдем посты, войду в лес, плачу-плачу. Кричу! Так дитятко жалко. А через день-два опять иду...»

*Мария Тимофеевна Савицкая-Радюкевич,
партизанская связная*

«Узнала ненависть... Впервые узнала это чувство... Как они могут ходить по нашей земле! Кто они такие? У меня поднималась температура от этих сцен. Почему они тут?

Пройдет колонна военнопленных, и сотни трупов оставались на дороге... Сотни... Тех, кто падал без сил, их тут же пристреливали. Их гнали, как скот. По мертвым уже не голосили. Не успевали хоронить — столь-

ко их было. Они долго лежали на земле... Живые жили с мертвыми...

Встретила сводную сестру. Их деревню сожгли.

У нее было трое сыновей, всех уже нет. И дом сожгли, и детей сожгли. Она сядет на землю и качается из стороны в сторону, качает свою беду. Поднимется — и не знает, куда идти. К кому?

Мы ушли в лес все: папа, братья и я. Никто нас не агитировал, не заставлял, мы — сами. Мама осталась только с коровой...»

*Елена Федоровна Ковалевская,
партизанка*

«Я даже не задумывалась... У меня была специальность, нужная фронту. И я ни секунды не размышляла и не колебалась. Вообще я мало тогда встречала людей, которые хотели пересидеть это время. Переждать. Одну помню... Молодую женщину, нашу соседку... Она мне честно призналась: “Я люблю жизнь. Я хочу пудриться и краситься, я не хочу умирать”. Больше таких не видела. Может быть, они молчали, таились. Не знаю, что вам ответить...

Помню, что вынесла цветы из своей комнаты и попросила соседей:

— Поливайте, пожалуйста. Я скоро вернусь.

А вернулась через четыре года...

Девчонки, которые оставались дома, нам завидовали, а женщины плакали. Одна из девушек, которая ехала со мной, стоит, все плачут, а она нет. Потом взяла и помочила водой себе глаза. Раз-другой. Носовым платочком. А то, мол, неудобно, все плачут. Разве мы понимали, что такое война? Молодые... Это теперь я просыпаюсь ночью от страха, когда мне приснится, что я на войне... Самолет летит, мой самолет, набирает высоту и... падает... Я понимаю, что я падаю. Последние минуты... И так страшно, пока не проснешься, пока этот сон не улетучится. Старый человек боится

смерти, а молодой смеется. Он — бессмертный! Я не верила, что умру...»

*Анна Семеновна Дубровина-Чекунова,
гвардии старший лейтенант, летчица*

«Окончила медучилище... Приехала домой, у меня болел отец. И тут — война. Запомнила, что было утро... Я узнала эту страшную новость утром... Еще роса на листве деревьев не высохла, а уже сказали — война! И вот эта роса, которую я вдруг увидела на траве и деревьях, так ясно увидела — мне и на фронте вспоминалась. Природа находилась в контрасте с тем, что происходило с людьми. Ярко светило солнце... Расцвели ромашки, мои любимые, их было видимо-невидимо в лугах...

Помню, прячемся где-то в пшенице, день солнечный. Автоматы немецкие та-та-та-та — и тишина. Только слышишь, как пшеница шумит. Опять немецкие автоматы та-та-та-та... И думаешь: услышишь ли ты когда-нибудь еще, как пшеница шумит? Этот шум...»

*Мария Афанасьевна Гарачук,
военфельдшер*

«Эвакуировали нас с мамой в тыл... В Саратов... Где-то за три месяца выучилась там на токаря. По двенадцать часов стояли у станков. Голодали. В мыслях одно — попасть на фронт. Там питание какое-никакое. Будут сухари и сладкий чай. Дадут масло. От кого мы это слышали, не помню. Может, от раненых на станции? Спасались от голода, ну и, ясно дело, были комсомолки. Пошли с подружкой в военкомат, но не признались там, что работаем на заводе. Тогда бы нас не взяли. А так записали.

Направили в Рязанское пехотное училище. Выпустили оттуда командирами пулеметных отделений. Пулемет тяжелый, на себе его тащишь. Как лошадь. Ночь. Стоишь на посту и ловишь каждый звук. Как рысь.

Каждый шорох сторожишь... На войне, как говорится, ты наполовину человек, а наполовину зверь. Это так... Другим способом не выжить. Если будешь только человек — не уцелеешь. Башку снесет! На войне надо что-то о себе вспомнить. Что-то такое... Вспомнить что-то из того, когда человек еще был не совсем человек... Я не сильно ученая, простой бухгалтер, но это я знаю.

До Варшавы дошла... И все пешочком, пехота, как говорится, пролетариат войны. На брюхе ползли... Не спрашивайте больше меня... Не люблю я книг о войне. О героях... Шли мы больные, кашляющие, не выспавшиеся, грязные, плохо одетые. Часто голодные... Но победили!»

Любовь Ивановна Любчик, командир взвода автоматчиков

«Мой отец, я знала, убит... Брат погиб. И погибнуть или не погибнуть — уже не имело для меня значения. Жалко было только нашу маму. Из красавицы она мгновенно превратилась в старую женщину, очень обиженную на судьбу, она не могла жить без папы.

— Зачем ты идешь на войну? — спросила она.

— Отомстить за папу.

— Папа бы не перенес, когда бы увидел тебя с винтовкой.

А папа мне в детстве косички заплетал. Банты завязывал. Он и сам любил красивую одежду больше, чем мама.

Служила я в части телефонисткой. Больше всего запомнила, как командир кричал в трубку: «Пополнение! Прошу пополнение! Требую пополнение!». И так каждый день...»

*Ульяна Осиповна Немзер,
сержант, телефонистка*

«Я — не героиня... Я была красивая девочка, меня в детстве баловали...

Пришла война... Умирать было неохота. Стрелять страшно, я никогда не думала, что буду стрелять. Ой, что вы! Я темноты боялась, густого леса. Конечно, зверей боялась... Ой... Не представляла, как это можно встретиться с волком или диким кабаном. Даже собак с детства боялась, маленькую меня укусила большая овчарка, и я их боялась. Ой, что вы! Такая я... А всему в партизанах научилась... Стрелять научилась — из винтовки, пистолета и пулемета. И сейчас, если надо, покажу. Вспомню. Нас даже учили, как действовать, если нет никакого другого оружия, кроме ножа или лопаты. Темноты перестала бояться. И зверей... Но змею обойду, к змеям не привыкла. По ночам в лесу часто выли волчицы. А мы сидели в своих землянках — и ничего. Волки злые, голодные. У нас были такие маленькие землянки, как норы. Лес наш дом. Партизанский дом. Ой, что вы! Я стала бояться леса после войны... Я сейчас никогда не езжу в лес...

Но всю войну думала, что могла бы просидеть дома, возле мамы. Моей красивой мамы, мама была очень красивая. Ой, что вы! Я бы не решилась... Сама — нет. Не решилась... Но... Нам сказали... Город взяли немцы, и я узнала, что я — еврейка. А до войны мы все жили дружно: русские, татары, немцы, евреи... Были одинаковые. Ой, что вы! Даже я не слышала этого слова “жиды”, потому что жила с папой, мамой и книгами. Мы стали прокаженными, нас отовсюду гнали. Боялись нас. Даже некоторые наши знакомые не здоровались. Их дети не здоровались. А соседи нам говорили: “Оставьте все свои вещи, они все равно вам уже не нужны”. До войны мы с ними дружили. Дядя Володя, тетя Аня... Что вы!

Маму застрелили... Случилось это за несколько дней до того, как мы должны были переселиться в гетто. Везде по городу висели приказы: евреям не разрешается — ходить по тротуарам, стричься в парикмахерской, покупать что-либо в магазине... Нельзя смеяться, нель-

зя петь... Ой, что вы! Мама к этому еще не привыкла, она всегда была рассеянная. Наверное, не поверила... Может, она зашла в магазин? Ей что-нибудь грубое сказали, и она засмеялась. Как красивая женщина... До войны она пела в филармонии, ее все любили. Ой, что вы! Я представляю... Если бы она не была такая красивая... Наша мама... Была бы она со мной или с папой... Я все время об этом думаю... Чужие люди принесли нам ее ночью, принесли мертвую. Уже без пальто и ботинок. Это был кошмар. Ужасная ночь! Ужасная! Пальто и ботинки кто-то снял. Снял золотое обручальное кольцо. Папин подарок...

В гетто у нас не было дома, нам достался чердак в чужом доме. Папа взял скрипку, самая дорогая наша доверенная вещь, папа хотел ее продать. У меня была тяжелая ангина. Я лежала... Лежала с высокой температурой и не могла разговаривать. Папа хотел купить каких-нибудь продуктов, он боялся, что я умру. Умру без мамы... Без маминых слов, без маминых рук. Я, такая балованная... Любимая... Ждала я его три дня, пока знакомые не передали, что папу убили... Сказали, что из-за скрипки... Не знаю, была ли она дорогая, папа, уходя, сказал: "Хорошо, если дадут банку меда и кусок масла". Ой, что вы! Я — без мамы... Без папы...

Пошла искать папу... Хотела найти его хотя бы мертвого, чтобы мы были вдвоем. Была я светлая, а не черная, светлые волосы, брови, и меня в городе никто не тронул. Я пришла на базар... И встретила там папиного друга, он уже жил в деревне, у своих родителей. Тоже музыкант, как и мой папа. Дядя Володя. Я все ему рассказала... Он посадил меня на телегу, накрыл кожухом. На телеге пищали поросята, кудахтали куры, ехали мы долго. Ой, что вы! До вечера ехали. Я спала, просыпалась...

Так попала к партизанам...»

*Анна Иосифовна Струмилина,
партизанка*

«Был парад... Наш партизанский отряд соединился с частями Красной Армии, и после парада нам сказали, чтобы сдали оружие и шли восстанавливать город. А у нас не укладывалось в сознании: как это — еще идет война, еще только одна Белоруссия освобождена, а мы должны отдать оружие. Каждая из нас хотела идти воевать дальше. И мы пришли в военкомат, все наши девчонки... Я сказала, что я медсестра и прошу отправить меня на фронт. Мне пообещали: «Хорошо, мы вас возьмем на учет, и если вы потребуетесь, то вызовем. А пока идите и работайте».

Жду. Не вызывают. Снова иду в военкомат... Много раз... И наконец мне откровенно сказали, что нет такой надобности, уже достаточно медицинских сестер. Надо вот кирпичи в Минске разобрать... Город в руинах... Какие у нас были девчонки, спрашиваете? У нас была Чернова, уже беременная, она несла мину на боку, где рядом билось сердце будущего ребенка. Вот и разбирайтесь с этим, что это были за люди. Нам зачем в этом разбираться, мы такими были. Нас воспитали, что Родина и мы — это одно и то же. Или другая моя подруга, она водила по городу свою девочку, а у той под платицем тело было обернуто листовками, и она поднимала ручки и жаловалась: «Мама, мне жарко. Мама, мне жарко». А на улицах везде немцы. Полицаи. Немца еще можно обмануть, а полицаю трудно. Он — свой, он твою жизнь знает, твое нутро. Твои мысли.

И даже вот дети... Их мы забрали к себе в отряд, но это же дети. Как спасти? Решили отправить за линию фронта, так они из детприемников бежали на фронт. Их ловили в поездах, по дорогам. Они опять вырывались, и опять на фронт.

История еще сотни лет будет разбираться: что это такое? Что это были за люди? Откуда? Вы представляете: беременная идет с миной... Ну, ждала же она ребенка... Любила, хотела жить. И конечно, боялась. Но она шла... Не ради Сталина шла, а ради своих детей.

Их будущей жизни. Она не хотела жить на коленях. Покориться врагу... Может быть, мы были слепые, и даже не буду отрицать, многого мы тогда не знали и не понимали, но мы были слепые и чистые одновременно. Мы были из двух частей, из двух жизней. Вы должны это понять...»

*Вера Сергеевна Романовская,
партизанская медсестра*

«Начиналось лето... Я окончила медучилище. Получила диплом. Война! Сразу вызвали в военкомат и приказ: “Вот вам два часа времени. Соберитесь. Отправляем на фронт”. Я сложила все в один маленький чемоданчик.

— Что вы взяли с собой на войну?

— Конфеты.

— Как?

— Целый чемодан конфет. Мне там, в той деревне, куда меня после училища распределили, дали подъемные. Деньги были, и я на все эти деньги купила целый чемодан шоколадных конфет. Я знала, что на войне деньги мне не понадобятся. А наверх положила фотографию курса, где все мои девочки. Пришла в военкомат. Военком спрашивает: “Куда вас направить?”. Я ему говорю: “А подруга моя куда пойдет?”. Мы с ней вместе в Ленинградскую область приехали, она работала в соседней деревне за пятнадцать километров. Он смеется: “Она точно так же спросила”. Взял мой чемодан, чтобы поднести к полуторке, которая везла нас к станции: “Что у вас там такое тяжелое?” — “Конфеты. Целый чемодан”. Он замолчал. Перестал улыбаться. Я видела, что ему не по себе, даже как-то стыдно. Это был немолодой человек... Он знал, куда меня провозжает...»

*Мария Васильевна Тихомирова,
фельдшер*

«Моя судьба сразу решилась...

В военкомате висело объявление: “Нужны шоферы”. И я окончила курсы шоферов... Шестимесячные... Даже не обратили внимания на то, что я учительница (до войны в педтехникуме училась). Кому в войну нужны учителя? Нужны солдаты. Нас много девочек было, целый автобат.

Однажды на учениях... Я не могу это без слез почему-то вспоминать... Была весна. Мы отстрелялись и шли назад. И я нарвала фиалок. Маленький такой букетик. Нарвала и привязала его к штыку. Так и иду.

Возвратились в лагерь. Командир построил всех и вызывает меня. Я выхожу... И забыла, что у меня фиалки на винтовке. А он меня начал ругать: “Солдат должен быть солдат, а не сборщик цветов”. Ему было непонятно, как это в такой обстановке можно о цветах думать. Мужчине было непонятно... Но я фиалки не выбросила. Я их тихонько сняла и в карман засунула. Мне за эти фиалки дали три наряда вне очереди...

Другой раз стою на посту. В два часа ночи пришли меня сменять, а я отказалась. Отправила сменщика спать: “Ты днем постоишь, а я сейчас”. Согласна была простоять всю ночь, до рассвета, лишь бы послушать птиц. Только ночью что-то напоминало прежнюю жизнь. Мирную.

Когда мы уходили на фронт, шли по улице, люди стояли стеной: женщины, старики, дети. И все плакали: “Девчонки идут на фронт”. Нас шел целый батальон девушек.

Я — за рулем... Собираем после боя убитых, они по полю разбросаны. Все молодые. Мальчики. И вдруг — девушка лежит. Убитая девушка... Тут все замолкают...»

*Тамара Илларионовна Давидович,
сержант, шофер*

«Как я собиралась на фронт... Вы не поверите... Думала, что ненадолго. Скоро врага победим! Взяла одну юбку,

притом любимую, две пары носков и одни туфли. Из Воронежа мы отступали, но я помню, как мы забежали в магазин, и я купила там себе еще одни туфли на высоких каблуках. Вот помню, что отступаем, все черное, дымное (но магазин открыт — чудо!), и мне почему-то захотелось купить туфли. Как сейчас помню, такие изящные туфельки... И духи еще купила...

Трудно сразу отказаться от жизни, которая до этого была. Не только сердце, а весь организм сопротивлялся. Помню, что радостная выбежала из магазина с этими туфельками. Вдохновенная. А везде дым... Грохот... Я уже была на войне, но о войне еще думать не хотела. Не верила.

А вокруг все гремело...»

*Вера Иосифовна Хорева,
военный хирург*

О быте и бытии

«Мечтали... Хотели воевать...

Разместили нас в вагоне, и начались занятия. Все было не таким, как нам представлялось дома. Надо было рано вставать, и весь день ты на бегу. А в нас еще жила прежняя жизнь. Мы возмущались, когда командир отделения, младший сержант Гуляев, имевший четырехклассное образование, учил нас уставу и произносил неправильно отдельные слова. Нам казалось: чему он может научить? А он учил нас, как не погибнуть...

После карантина, перед принятием присяги, старшина привез обмундирование: шинели, пилотки, гимнастерки, юбки, вместо комбинации — из бязи пошитые по-мужски две рубахи с рукавами, вместо обмоток — чулки и американские тяжелые ботинки с металлическими подковами во весь каблук и на носках. В роте по своему росту и комплекции я оказалась самой маленькой, рост сто пятьдесят три сантиметра, обувь тридцать

пятого размера и, естественно, военной промышленностью такие мизерные размеры не шились, а уж тем более Америка нам их не поставляла. Мне достались ботинки сорок второго размера, надевала и снимала их, не расшнуровывая, и такие они тяжелые, что я ходила, волоча ноги по земле. От моего строевого шага по каменной мостовой высекались искры, и ходьба была похожа на что угодно, кроме строевого шага. Жутко вспомнить, каким кошмарным был первый марш. Я готова была совершить подвиг, но не готова была вместо тридцать пятого носить сорок второй размер. Это так тяжело и так некрасиво! Так некрасиво!

Командир увидел, как я иду, вызвал из строя:

— Смирнова, как ты ходишь строевым? Что, тебя не учили? Почему ты не поднимаешь ноги? Объявляю три наряда вне очереди...

Я ответила:

— Есть, товарищ старший лейтенант, три наряда вне очереди! — повернулась, чтобы идти, и упала. Выпала из ботинок... Ноги были в кровь стерты...

Тогда и выяснилось, что ходить я уже не могла. Ротному сапожнику Паршину дали приказ сшить мне сапоги из старой плащ-палатки, тридцать пятого размера...»

*Нонна Александровна Смирнова,
рядовая, зенитчица*

«А сколько было смешного...

Дисциплина, уставы, знаки различия — вся эта военная премудрость не давалась сразу. Стоим, охраняем самолеты. А в уставе говорится, что если кто идет, надо останавливать: “Стой, кто идет?”. Подружка моя увидела командира полка и кричит: “Стойте, кто идет? Вы меня извините, но я буду стрелять!”. Вообразите это себе. Она кричит: “Вы меня извините, но я буду стрелять!”. Вы меня извините... Ха-ха-ха...»

*Антонина Григорьевна Бондарева,
гвардии лейтенант, старший летчик*

«Девушки приехали в училище с длинными косами... С прическами... У меня тоже косы вокруг головы... А как их промыть? Сушить где? Вы их только помыли, а тревога, вам надо бежать. Наш командир Марина Раскова велела всем косы состричь. Девчонки стригли и плакали. А Лиля Литвяк, впоследствии прославленная летчица, никак не хотела со своей косой расстаться.

Я иду к Расковой:

— Товарищ командир, ваш приказ выполнен, только Литвяк отказалась.

Марина Раскова, несмотря на свою женскую мягкость, могла быть очень строгим командиром. Она меня отправила:

— Какой ты парторг, если не можешь добиться выполнения приказа! Крутом шагом марш!

Платья, туфельки на каблуках... Как нам жалко их, в мешочки позапрятывали. Днем в сапогах, а вечером хоть немножко в туфельках перед зеркалом. Раскова увидела — и через несколько дней приказ: всю женскую одежду отправить домой в посылках. Вот так! Зато новый самолет мы изучили за полгода вместо двух лет, как это положено в мирное время.

В первые дни тренировок погибло два экипажа. Поставили четыре гроба. Все три полка, все мы плакали навзрыд.

Выступила Раскова:

— Подруги, вытрите слезы. Это первые наши потери. Их будет много. Сожмите свое сердце в кулак...

Потом, на войне, хоронили без слез. Перестали плакать.

Летали на истребителях. Сама высота была страшной нагрузкой для всего женского организма, иногда живот прямо в позвоночник прижимало. А девочки наши летали и сбивали асов, да еще каких асов! Вот так! Знаете, когда мы шли, на нас мужчины смотрели с удивлением: летчицы идут. Они восхищались нами...»

Клавдия Ивановна Терехова, капитан авиации

«Осенью меня вызвали в военкомат... Принял военком и спрашивает: “Прыгать умеете?”. Я призналась, что боюсь. Долго он агитировал за десантные войска: красивая форма, шоколад каждый день. Но я с детства боялась высоты. “Хотите в зенитную артиллерию?” А очень я знаю, что это такое — зенитная артиллерия? Тогда он предлагает: “Давайте направим вас в партизанский отряд.” — “А как маме оттуда писать в Москву?” Он берет и пишет красным карандашом на моем направлении: “Степной фронт...”

В поезде влюбился в меня молодой капитан. Всю ночь в нашем вагоне простоял. Он уже был обоженный войной, несколько раз раненый. Смотрел-смотрел на меня и говорит: “Верочка, только не опускайтесь, не становитесь грубой. Вы такая сейчас нежная. Я уже всего повидал!”. И дальше что-то в таком духе, что, мол, трудно выйти чистым из войны. Из ада.

Месяц добирались мы с подругой до четвертой гвардейской армии Второго Украинского фронта. Наконец догнали. Главный хирург вышел на несколько минут, посмотрел на нас, завел в операционную: “Вот ваш операционный стол...”. Санитарные машины одна за другой подходят, машины большие, “студебеккеры”, раненые лежат на земле, на носилках. Мы спросили только: “Кого брать первыми?” — “Тех, кто молчит...” Через час я уже стояла за своим столом, оперировала. И пошло... Оперировешь сутками, после чуток подремлешь, быстренько протрешь глаза, умоешься — и опять за свой стол. И через два человека третий — мертвый. Не успевали всем помочь. Третий — мертвый...

На станции в Жмеринке попали под страшную бомбежку. Состав остановился, и мы побежали. Замполит наш, вчера ему вырезали аппендицит, а он сегодня уже бежал. Всю ночь просидели в лесу, а состав наш разнесло в щепки. Под утро на бреющем полете немецкие самолеты стали прочесывать лес. Куда денешься? В землю, как крот, не полезешь. Я обхватила березу и стою:

“Ох, мама-мамочка! Неужели я погибну? Выживу, буду самым счастливым человеком на свете”. Кому потом ни рассказывала, как за березу держалась, все смеялись. Ведь что было в меня попасть? Стою во весь рост, береза белая... Умора!

День Победы встретила в Вене. Мы поехали в зоопарк, очень в зоопарк хотелось. Можно было поехать посмотреть концентрационный лагерь. Всех возили, показывали. Не поехала... Сейчас удивляюсь: почему я не поехала? Хотелось чего-нибудь радостного. Смешного. Увидеть что-нибудь из другой жизни...»

*Вера Владимировна Шевалдышева,
старший лейтенант, хирург*

«Нас было трое... Мама, папа и я... Первым уехал на фронт отец. Мама хотела пойти вместе с отцом, она медсестра, но его в одну сторону направили, ее — в другую. А мне было только шестнадцать лет... Меня не хотели брать. Я ходила-ходила в военкомат, и через год меня взяли.

Мы долго ехали поездом. Вместе с нами возвращались солдаты из госпиталей, были там тоже молодые ребята. Они рассказывали нам о фронте, и мы сидели, открыв рот, слушали. Говорили, что нас будут обстреливать, и мы сидим, ждем: когда же обстрел начнется? Мол, приедем и скажем, что уже обстрелянные.

Приехали. А нас не к винтовкам, а к котлам приставили, к корытам. Девочки все моего возраста, до этого родители нас любили, баловали. Я была единственный ребенок в семье. А тут тягаем дрова, топим печки. Потом золу эту берем и в котлы вместо мыла, потому что мыло привезут, и тут — оно кончилось. Белье грязное, вшивое. В крови... Зимой тяжелое от крови...»

*Светлана Васильевна Катыхина,
боец полевого банно-прачечного отряда*

«Я до сих пор помню своего первого раненого... Лицо помню... У него был открытый перелом средней трети бедра. Представляете, торчит кость, осколочное ранение, все вывернуто. Эта кость... Я знала теоретически, что делать, но когда я к нему подползла и вот это увидела, мне стало плохо, меня затошнило. И вдруг слышу: “Сестричка, попей водички”. Это мне этот раненый говорит. Жалеет. Я эту картину как сейчас вижу. Как он это сказал, я опомнилась: “Ах, думаю, чертова тургеневская барышня! Человек погибает, а ее, нежное создание, видите ли, затошнило”. Развернула индивидуальный пакет, закрыла им рану — и мне стало легче, и оказала, как надо, помощь.

Смотрю теперь фильмы о войне: медсестра на передовой, она идет аккуратненькая, чистенькая, не в ватных брюках, а в юбочке, у нее пилоточка на хохолке. Ну, неправда! Разве мы могли вытащить раненого, если бы были такие... Не очень-то в юбочке наползаешь, когда одни мужчины вокруг. А по правде сказать, юбки нам в конце войны только выдали, как нарядные. Тогда же мы получили и трикотаж нижний вместо мужского белья. Не знали, куда деваться от счастья. Гимнастерки расстегивали, чтобы видно было...»

*Софья Константиновна Дубнякова,
старший сержант, санинструктор*

«Бомбежка... Бомбит и бомбит, бомбит и бомбит, и бомбит. Все бросились куда-то бежать... И я бегу. Слышу чей-то стон: “Помогите... Помогите...”. Но бегу... Через несколько минут до меня что-то доходит, я чувствую на плече санитарную сумку. И еще — стыд. Куда девался страх! Бегу назад: стонет раненый солдат. Бросаюсь к нему перевязывать. Затем второго, третьего...

Бой кончился ночью. А утром выпал свежий снег. Под ним убитые... У многих руки подняты кверху... К небу... Спросите меня: что такое счастье? Я отвечу... Вдруг найти среди убитых — живого человека...»

Анна Ивановна Беляй, медсестра

«Увидела первого убитого... Стала над ним и плачу... Оплакиваю... Тут раненый зовет: “Перевяжи ногу!”. Нога у него на штанине болтается, ногу оторвало. Отрезаю штанину: “Положи мне ногу! Положи рядом”. Положила. Они, если в сознании, не дают оставить ни свою руку, ни свою ногу. Забирают. А если умирают, просят похоронить вместе.

На войне думала: никогда ничего не забуду. Но забывается...

Молодой такой, интересный парень. И лежит убитый. Я представляла, что всех погибших хоронят с воинскими почестями, а его берут и тащат к орешнику. Вырыли могилу... Без гроба, без ничего зарывают в землю, прямо так и засыпали. Солнце ярко светило, и на него тоже... Теплый летний день... Не было ни плащ-палатки, ничего, его положили в гимнастерке, галифе, как он был, и все это еще новое, он, видно, недавно прибыл. Так положили и зарыли. Ямка была неглубокая, только чтобы он лег. И рана небольшая, она смертельная — в висок, но крови мало, и человек лежит, как живой, только очень бледный.

За обстрелом началась бомбежка. Разбомбили это место. Не знаю, что там осталось...

А как в окружении людей хоронили? Тут же, рядом, возле окопчика, где мы сами сидим, зарыли — и все. Бугорок только оставался. Его, конечно, если следом немцы идут или танки, тут же затопчут. Обыкновенная земля оставалась, никакого следа. Часто хоронили в лесу под деревьями... Под этими дубами, под этими березами...

Я в лес до сих пор не могу ходить. Особенно, где растут старые дубы или березы... Не могу там сидеть...»

*Ольга Васильевна Корж, санинструктор
кавалерийского эскадрона*

«На фронте у меня пропал голос... Красивый голос...

Вернулся мой голос, когда я приехала домой. Вечером собрались родные, выпили: “Ну, Верка, спой”. И я запела...

Уезжала я на фронт материалисткой. Атеисткой. Хорошей советской школьницей уехала, которую хорошо учили. А там... Там я стала молиться... Я всегда молилась перед боем, читала свои молитвы. Слова простые... Мои слова... Смысл один, чтобы я вернулась к маме и папе. Настоящих молитв я не знала и не читала Библию. Никто не видел, как я молилась. Я — тайно. Украдкой молилась. Осторожно. Потому что... Мы были тогда другие, тогда жили другие люди. Вы — понимаете? Мы думали иначе, понимали... Потому что... Я расскажу случай... Однажды среди новоприбывших оказался верующий, и солдаты смеялись, когда он молился: “Ну что, тебе твой Бог помог? Если он есть, как он все терпит?”. Они не верили, как тот человек, что кричал у ног распятого Христа, мол, если Он тебя любит, почему Он тебя не спасет? После войны я прочла Библию... Всю жизнь ее теперь читаю... И этот солдат, он был уже немолодой мужчина, не хотел стрелять. Отказывался: “Не могу! Я не буду убивать!”. Все соглашались убивать, а он нет. А время? Время какое... Страшное время... Потому что... Отдали под трибунал и через два дня расстреляли... Бах! Бах!

Время другое... Люди другие... Как вам объяснить? Как...

К счастью, я... Я не видела тех людей, которых убивала... Но... Все равно... Теперь я понимаю, что убивала. Думаю об этом... Потому что... Потому что старая стала. О своей душе молюсь. Наказала дочери, чтобы после смерти все мои ордена и медали не в музей, а в церковь отнесла. Отдала батюшке... Они приходят ко мне во сне... Мертвые... Мои мертвые... Хотя я их и не видела, но они приходят и смотрят на меня. Я ищущи-ищу глазами, может, кто-то раненый, пусть тяжелораненый, но

можно еще спасти. Не знаю, как сказать... Но все они мертвые...»

*Вера Борисовна Сапгир,
сержант, зенитчица*

«Самое невыносимое для меня были ампутации... Часто такие высокие ампутации делали, что отрежут ногу, и я ее еле держу, еле несу, чтобы положить в таз. Помню, что они очень тяжелые. Возьмешь тихонько, чтобы раненый не слышал, и несешь, как ребенка... Маленького ребенка... Особенно, если высокая ампутация, далеко за колено. Я не могла привыкнуть. Раненые под наркозом стонут или кроют матом. Трехэтажным русским матом. Я всегда была в крови... Она вишневая... Черная...

Маме я ничего не писала об этом. Я писала, что все хорошо, что я тепло одета, обута. Она же троих на фронт отправила, ей было тяжело...»

Мария Селивестровна Божок, медсестра

«Родилась и выросла я в Крыму... Возле Одессы. В сорок первом году окончила десятый класс Слободской школы Кордымского района. Когда началась война, в первые дни слушала радио. Поняла — отступаем... Побежала в военкомат, отправили домой. Еще дважды ходила туда и дважды получала отказ. Двадцать восьмого июля двигались через нашу Слободку отступающие части, и я вместе с ними без всякой повестки ушла на фронт.

Когда впервые увидела раненого, упала в обморок. Потом прошло. Когда первый раз полезла под пули за бойцом, кричала так, что казалось, перекрывала грохот боя. Потом привыкла. Через десять дней меня ранило, осколок вытащила сама, перевязала себя сама...

Двадцать пятое декабря сорок второго года... Наша триста тридцать третья дивизия пятьдесят шестой армии заняла высоту на подступах к Сталинграду. Про-

тивник решил ее во что бы то ни стало вернуть. Завязался бой. На нас двинулись танки, но их остановила артиллерия. Немцы откатились назад, на ничейной земле остался раненый лейтенант, артиллерист Костя Худов. Санитаров, которые пытались вынести его, убило. Поползли две овчарки-санитарки (я их там увидела впервые), но их тоже убило. И тогда я, сняв ушанку, стала во весь рост, сначала тихо, а потом все громче запела нашу любимую довоенную песню “Я на подвиг тебя провожала”. Умолкло все с обеих сторон — и с нашей, и с немецкой. Подошла к Косте, нагнулась, положила на санки-волокуши и повезла к нашим. Иду, а сама думаю: “Только бы не в спину, пусть лучше в голову стреляют”. Вот сейчас... сейчас... Последние минуты моей жизни... Сейчас! Интересно: я почувствую боль или нет? Как страшно, мамочка! Но не раздалось ни одного выстрела...

Формы на нас было не напасть: вот дали новенькую, а через пару дней она вся в крови. Мой первый раненый — старший лейтенант Белов, мой последний раненый — Сергей Петрович Трофимов, сержант минометного взвода. В семидесятом году он приезжал ко мне в гости, и я показала дочерям его раненую голову, на которой и сейчас большой шрам. Всего из-под огня я вынесла четыреста восемьдесят одного раненого. Кто-то из журналистов подсчитал: целый стрелковый батальон... Таскали на себе мужчин, в два-три раза тяжелее нас. А раненые они еще тяжелее. Его самого тащишь и его оружие, а на нем еще шинель, сапоги. Взвалишь на себя восемьдесят килограммов и тащишь. Сбросишь... Идешь за следующим, и опять семьдесят-восемьдесят килограммов... И так раз пять-шесть за одну атаку. А в тебе самой сорок восемь килограммов — балетный вес. Сейчас уже не верится... Самой не верится...»

*Мария Петровна Смирнова (Кухарская),
санинструктор*

«Сорок второй год... Идем на задание. Перешли линию фронта, остановились у какого-то кладбища. Немцы, мы знали, находятся в пяти километрах от нас. Это была ночь, они все время бросали осветительные ракеты. Парашютные. Эти ракеты горят долго и освещают далеко всю местность. Взводный привел меня на край кладбища, показал, откуда бросают ракеты, где кустарник, из которого могут появиться немцы. Я не боюсь покойников, с детства кладбища не боялась, но мне было двадцать два года, я первый раз стояла на посту... И я за эти два часа поседела... Первые седые волосы, целую полосу я обнаружила у себя утром. Я стояла и смотрела на этот кустарник, он шелестел, двигался, мне казалось, что оттуда идут немцы... И еще кто-то... Какие-то чудовища... А я — одна...

Разве это женское дело — стоять ночью на посту на кладбище? Мужчины проще ко всему относились, они уже готовы были к этой мысли, что надо стоять на посту, надо стрелять... А для нас все равно это было неожиданностью. Или делать переход в тридцать километров. С боевой выкладкой. По жаре. Лошади падали...»

*Вера Сафроновна Давыдова,
рядовой пехотинец*

«Ты спрашиваешь, что на войне самое страшное? Ждешь от меня... Я знаю, чего ты ждешь... Думаешь: я отвечу: самое страшное на войне — смерть. Умереть.

Ну, так? Знаю я вашего брата... Журналистские штучки... Ха-ха-а-а... Почему не смеешься? А?

А я другое скажу... Самое страшное для меня на войне — носить мужские трусы. Вот это было страшно. И это мне как-то... Я не выражусь... Ну, во-первых, очень некрасиво... Ты на войне, собираешься умереть за Родину, а на тебе мужские трусы. В общем, ты выглядишь смешно. Нелепо. Мужские трусы тогда носили длинные. Широкие. Шили из сатина. Десять девочек

в нашей землянке, и все они в мужских трусах. О, Боже мой! Зимой и летом. Четыре года.

Перешли советскую границу... Добивали, как говорил на политзанятиях наш комиссар, зверя в его собственной берлоге. Возле первой польской деревни нас переодели, выдали новое обмундирование и... И! И! И! Привезли в первый раз женские трусы и бюстгалтеры. За всю войну в первый раз. Ха-а-а... Ну, понятно... Мы увидели нормальное женское белье...

Почему не смеешься? Плачешь... Ну, почему?»

Лола Ахметова, рядовая, стрелок

«Меня на фронт не брали... Только шестнадцать лет мне, до семнадцати еще далеко. А взяли у нас фельдшера, ей принесли повестку. Она сильно плакала, у нее дома мальчик маленький оставался. Я пошла в военкомат: “Возьмите вместо нее меня”. Мама не пускала: “Нина, ну сколько тебе лет? Может, там и война скоро кончится”. Мама есть мама.

Бойцы кто сухарик, кто сахару кусочек мне оставит. Оберегали. Я не знала, что у нас “катюша” есть, в прикрытии за нами стоит. Начала она стрелять. Она стреляет, гром вокруг стоит, все горит. И настолько это меня поразило, настолько я испугалась этого грома, огня, шума, что упала в лужу, пилотку потеряла. Бойцы хохочут: “Ты что, Ниночек? Ты что, милая?”.

Атаки рукопашные... Я что запомнила? Я запомнила хруст... Начинается рукопашная: и сразу этот хруст — хрящи ломаются, кости человеческие трещат. Звериные крики... Когда атака, я с бойцами иду, ну, чуть-чуть позади, считай — рядом. Все на моих глазах... Мужчины закалывают друг друга. Добивают. Доламывают. Бьют штыком в рот, в глаз... В сердце, в живот... И это... Как описать? Я слаба... Слаба описать... Одним словом, женщины не знают таких мужчин, они их такими дома не видят. Ни женщины, ни дети. Жутко вообще делается...

После войны вернулась домой в Тулу. По ночам все время кричала. Ночью мама с сестрой сидели со мной... Я просыпалась от собственного крика...»

*Нина Владимировна Ковеленова,
старший сержант,
санинструктор стрелковой роты*

«Прибыли мы к Сталинграду... Там смертные бои шли. Самое смертельное место... Вода и земля были красные... И вот с одного берега Волги нам надо переправиться на другой. Нас никто слушать не хочет: “Что? Девчонки? Кому вы к черту тут нужны! Нам стрелки и пулеметчики нужны, а не связисты”. А нас много, восемьдесят человек. К вечеру девчат, которые побольше были, взяли, а нас вдвоем с одной девочкой не берут. Малые ростом. Не выросли. Хотели в резерве оставить, но я такой рев подняла...»

В первом бою офицеры сталкивали меня с бруствера, я высывала голову, чтобы все самой видеть. Какое-то любопытство было, детское любопытство... Наив! Командир кричит: “Рядовая Семенова! Рядовая Семенова, ты с ума сошла! Такую мать... Убьет!”. Этого я понять не могла: как это меня может убить, если я только приехала на фронт? Я еще не знала, какая смерть обыкновенная и неразборчивая. Ее не упростишь, не уговоришь.

Подвозили на старых полуторках народное ополчение. Стариков и мальчиков. Им выдавали по две гранаты и отправляли в бой без винтовки, винтовку надо было добыть в бою. После боя и перевязывать было некого... Все убитые...»

*Нина Алексеевна Семенова,
рядовая, связистка*

«Я войну прошла из конца в конец...»

Первого раненого тащила, у самой ноги подкашивались. Тащу и шепчу: “Хотя б не помер... Хотя б не по-

мер...”. Перевязываю его, и плачу, и что-то говорю ему ласковое. А мимо проходил командир. И он накричал на меня, даже что-то такое с матом...

— Почему он накричал на вас?

— Нельзя было так жалеть, плакать, как я. Выбьюсь из сил, а раненых много.

Едем, лежат убитые, стриженные и головы у них зеленые, как картошка от солнца. Они рассыпаны, как картошка... Как бежали, так и лежат на вспаханном поле... Как картошка...»

*Екатерина Михайловна Рабчаева, рядовая,
санинструктор*

«Вот не скажу, где это было... В каком месте... Один раз человек двести раненых в сарае, а я одна. Раненых доставляли прямо с поля боя, очень много. Было это в какой-то деревне... Ну не помню, столько лет прошло... Помню, что четыре дня я не спала, не присела, каждый кричал: “Сестра! Сестренка! Помоги, миленькая!” Я бегала от одного к другому, один раз споткнулась и упала, и тут же уснула. Проснулась от крика, командир, молоденький лейтенант, тоже раненый, приподнялся на здоровый бок и кричал: “Молчать! Молчать, я приказываю!”. Он понял, что я без сил, а все зовут, им больно: “Сестра! Сестричка!”. Я как вскочила, как побежала — не знаю куда, чего. И тогда я первый раз, как попала на фронт, заплакала.

И вот... Никогда не знаешь своего сердца. Зимой вели мимо нашей части пленных немецких солдат. Шли они замерзшие, с рваными одеялами на голове, прожженными шинелями. А мороз такой, что птицы на лету падали. Птицы замерзали. В этой колонне шел один солдат... Мальчик... У него на лице замерзли слезы... А я везла на тачке хлеб в столовую. Он глаз отвести не может от этой тачки, меня не видит, только эту тачку. Хлеб... Хлеб... Я беру и отламываю от одной буханки

и даю ему. Он берет... Берет и не верит. Не верит... Не верит!

Я была счастлива... Я была счастлива, что не могу ненавидеть. Я сама себе тогда удивилась...»

*Наталья Ивановна Сергеева,
рядовая, санитарка*

«ОДНА Я ВЕРНУЛАСЬ К МАМЕ...»



Еду в Москву... То, что знаю о Нине Яковлевне Вишневской, пока занимает всего несколько строчек в моем блокноте: в семнадцать лет ушла на фронт, воевала санинструктором в первом батальоне тридцать второй танковой бригады пятой армии. Участвовала в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой, в котором с обеих сторон — советской и немецкой — столкнулись тысяча двести танков и самоходных орудий. Одна из самых больших танковых битв в мировой истории.

Подсказали адрес школьные следопыты из Борисова, собравшие большой материал для своего музея о тридцать второй танковой бригаде, освобождавшей их родной город. Санинструкторами в танковых частях служили обычно мужчины, а тут — девчонка. Сразу собралась в дорогу...

Начинаю уже задумываться: как выбирать среди десятков адресов? Первое время записывала всех, кого встречала. Передавали меня по цепочке, звонили одна другой. Приглашали на свои встречи, а то и просто к кому-нибудь на пироги и чай. Я стала получать письма со всей страны, адрес тоже передавался по фронтовой почте. Писали: «Ты уже наша, ты уже тоже фронтовая девчонка». Скоро я поняла: невозможно записать всех, нужен какой-то другой принцип отбора и поиска. Какой? Рассортировав имеющиеся адреса, сформулировала его для себя так: стараться записывать женщин

разных военных профессий. Ведь каждый из нас видит жизнь через свое дело, через свое место в жизни или в событии, в котором участвует. Можно было предположить, что медсестра видела одну войну, пекарь — другую, десантница — третью, летчица — четвертую, командир взвода автоматчиков — пятую... У каждой из них был на войне как бы свой радиус обзора: у одной — операционный стол: «Столько видела отрезанных рук и ног... Даже не верилось, что где-то есть целые мужчины. Казалось, что все они или раненые, или погибли...» (А. Демченко, старший сержант, медсестра); у другой — котлы походной кухни: «После боя, бывало, никого не оставалось... Котел каши, котел супа наваришь, а некому отдать...» (И. Зинина, рядовая, повар); у третьей — кабина летчика: «Наш лагерь стоял в лесу. Я прилетела с полета и решила пойти в лес, это уже середина лета, земляника поспела. Прошла по тропинке и увидела: лежит немец... Уже почерневший... Меня охватил страх. Я никогда до этого не видела убитых, а уже год воевала. Там, наверху, другое... Когда летишь, у тебя одна мысль: найти цель, отбомбиться и вернуться. Нам не приходилось видеть мертвых. Этого страха у нас не было...» (А. Бондарева, гвардии лейтенант, старший летчик). А у партизанки война до сих пор ассоциируется с запахом горящего костра: «Все на костре — и хлеб пекли, и еду варили, угли останутся — положим кожухи, валенки сушить. Ночами грелись...» (Е. Высоцкая).

Но долго побыть наедине со своими мыслями мне не удается. Проводница приносит чай. Купе тут же шумно и весело знакомится. На столе появляется традиционная бутылка «Московской», домашняя закуска, и начинается, как это обычно у нас, задушевный разговор. О своих семейных тайнах и политике, о любви и ненависти, о вождях и соседях.

Давно поняла, что мы — люди дороги и разговора...

Я тоже рассказываю: к кому еду, зачем. Двое из моих попутчиков воевали — один дошел до Берлина командиром саперного батальона, второй три года партизанил в белорусских лесах. Тут же заговорили о войне.

Потом я записала наш разговор, как он сохранился у меня в памяти:

— Мы — уже вымирающее племя. Мамонты! Мы — из поколения, которое верило, что есть в жизни нечто большее, чем человеческая жизнь. Родина есть и великая идея. Ну, и Сталин. Зачем врать? Из песни, как говорится, слова не выкинешь.

— Это конечно... У нас в отряде была отважная девушка... Ходила на железную дорогу. На подрыв. До войны у нее всю семью репрессировали: отца, мать и двоих старших братьев. Она жила с тетей, маминой сестрой. С первых дней войны искала партизан. В отряде видели, что она на рожон лезла... Хотела доказать... Всех награждали, а ее ни разу. Медали не дали, потому что родители — враги народа. Перед самым приходом нашей армии ей ногу оторвало. Я навел ее в госпитале... Она плакала... «Но теперь, — говорила, — мне все поверят». Красивая девушка...

— Когда ко мне пришли две девчонки, командиры саперных взводов, какой-то дурак прислал из отдела кадров, я тут же отправил их обратно. Они были страшно недовольны. Хотели идти на передний край и делать минные проходы.

— Почему же вы их отправили?

— По ряду причин. Первая — у меня было достаточно хороших сержантов, которые могли сделать то, для чего послали этих девчонок, вторая — я считал, что незачем женщине лезть на передний край. В пекло. Хватает нас, мужиков. Еще я знал, что надо будет строить им отдельный блиндаж, обставлять их командную деятельность кучей всякого рода девичьих дел. Много возни.

— Значит, ваше мнение: женщине не место на войне?

— Если вспомнить историю, то во все времена русская женщина не только провожала на битву мужа, брата, сына, горевала и ждала их. Еще княжна Ярославна поднималась на крепостную стену и лила расплавленную смолу на головы врагов. Но у нас, у мужчин, было чувство вины, что девчонки воюют, и оно у меня осталось. Помню, мы отступаем. А это осень, дожди идут сутками, день и ночь. Возле дороги лежит убитая девушка... У нее длинная коса, и она вся в грязи...

— Это конечно... Когда я слышал, что наши медицинские сестры, попав в окружение, отстреливались, защищая раненых бойцов, потому что раненые беспомощны, как дети, я это понимал. А теперь такая картина: две женщины ползут по нейтральной полосе кого-то убивать со «снайперкой». Ну да... Не могу отделаться от чувства, что это, конечно, все-таки «охота». Я сам стрелял... Так я же мужчина...

— Но они защищали родную землю? Спасали отечество...

— Это конечно... В разведку с такой, может быть, и пошел, а замуж бы не взял. Ну да... Мы привыкли думать о женщине как о матери и невесте. Прекрасной даме, наконец. Мне младший брат рассказывал, как вели по нашему городу пленных немцев, ну и они, мальчишки, палили по колонне из рогаток. Мать увидела и дала ему затрещину. А шли молокососы, из тех, которых Гитлер последними подбирал. Брату было семь лет, но он запомнил, как мать наша смотрела на этих немцев и плакала: «Чтобы ослепли ваши матери, как они вас таких на войну пустили!». Война — дело мужское. Мужчин, что ли, мало, о которых можно написать?

— Н-нет... Я — свидетель. Нет! Вспомним катастрофу первых месяцев войны: авиация вся была уни-

чтожена на земле, наши танки горели, как спичечные коробки. Винтовки старые. Миллионы солдат и офицеров попали в плен. Несколько миллионов! Через полтора месяца Гитлер был уже под Москвой... Профессора записывались в ополчение. Старые профессора! И девчонки рвались на фронт добровольно, а трус сам воевать не пойдет. Это были смелые, необыкновенные девчонки. Есть статистика: потери среди медиков переднего края занимали второе место после потерь в стрелковых батальонах. В пехоте. Что такое, например, вытащить раненого с поля боя? Я вам сейчас расскажу...

Мы поднялись в атаку, а нас давай косить из пулемета. И батальона не стало. Все лежали. Они не были все убиты, много раненых. Немцы бьют, огня не прекращают. Совсем неожиданно для всех из траншеи выскакивает сначала одна девчонка, потом вторая, третья... Они стали перевязывать и оттаскивать раненых, даже немцы на какое-то время онемели от изумления. К часам десяти вечера все девчонки были тяжело ранены, а каждая спасла максимум два-три человека. Награждали их скупо, в начале войны наградами не разбрасывались. Вытащить раненого надо было вместе с его личным оружием. Первый вопрос в медсанбате: где оружие? В начале войны его не хватало. Винтовку, автомат, пулемет — это тоже надо было тащить. В сорок первом был издан приказ номер двести семьдесят один о представлении к награждению за спасение жизни солдат: за пятнадцать тяжелораненых, вынесенных с поля боя вместе с личным оружием — медаль «За боевые заслуги», за спасение двадцати пяти человек — орден Красной Звезды, за спасение сорока — орден Красного Знамени, за спасение восьмидесяти — орден Ленина. А я вам описал, что значило спасти в бою хотя бы одного... Из-под пуль...

— Это конечно... Я тоже помню... Ну, да... Послали наших разведчиков в деревню, где стоял немецкий

гарнизон. Двое ушло... Следом еще один... Никто не вернулся. Командир вызывает одну из наших девчонок: «Люся, ты пойдешь». Одели ее, как пастушку, вывели на дорогу... А что делать? Какой выход? Мужчину убьют, а женщина может пройти. Это, да... Но видеть в руках женщины винтовку...

— Девчонка-то вернулась?

— Фамилию забыл... Помню имя — Люся. Она погибла... это крестьяне нам потом рассказывали...

Все долго молчат. Затем поднимают тост за погибших. Тема разговора поворачивает в другую сторону — говорят о Сталине, о том, как он уничтожил перед войной лучшие командирские кадры, военную элиту. О жестокой коллективизации и тридцать седьмом годе. Лагерьях и ссылках. О том, что без тридцать седьмого, может быть, не было бы и сорок первого. Не отступали бы до Москвы. Но после войны забыли об этом. Все заслонила Победа.

— А любовь была на войне? — спрашиваю я.

— Среди фронтовых девчонок я встречал много красивых, но мы не видели в них женщин. Хотя, на мой взгляд, они были чудесные девчонки. Но это были наши подружки, которые выволакивали нас с поля боя. Спасали, выхаживали. Меня дважды вытаскивали раненого. Как я мог к ним плохо относиться? Но вы могли ли бы выйти замуж за брата? Мы называли их сестренками.

— А после войны?

— Кончилась война, они оказались страшно незащищенными. Вот моя жена — умная женщина, и она к военным девушкам плохо относится. Считает, что они ехали на войну за женихами, что все крутили там романы. Хотя на самом деле, у нас же искренний разговор, это чаще всего были честные девчонки. Чистые. Но после войны... После грязи, после вшей, после смертей... Хотелось чего-то красивого. Яркого. Красивых женщин... У меня был друг, его на фронте любила одна прекрас-

ная, как я сейчас понимаю, девушка. Медсестра. Но он на ней не женился, демобилизовался и нашел себе другую, посмазливее. И он несчастлив со своей женой. Теперь вспоминает ту, свою военную любовь, она ему была бы другом. А после фронта он ее оставил, потому что четыре года видел ее только в стоптанных сапогах и мужском ватнике. Мы старались забыть войну. И девчонок своих тоже забыли...

— Это конечно... Были все молодые. Хотелось жить...

Так никто и не заснул в ту ночь. Проговорили до утра.

...Сразу из метро попадаю в тихий московский дворик. С песочницей и детскими качелями. Иду и вспоминаю удивленный голос по телефону: «Приехали? И сразу ко мне? Уточнить в Совете ветеранов ничего не будете? У них есть все данные обо мне, они проверяли». Я даже растерялась. Раньше думала, что перенесенные страдания делают человека свободным, он принадлежит уже только самому себе. Его защищает собственная память. Теперь обнаруживаю — нет, не всегда. Часто это знание и даже сверхзнание (в обычной жизни такого нет) существуют отдельно, как некий неприкосновенный запас или как пылинки золота в многослойной руде. Надо долго отшелушивать пустую породу, вместе рыться в наносах суеты, и наконец — блеснет! Одарит!

Так какие же мы на самом деле — из чего слеплены, из какого материала? Что у него за прочность, хочу понять. За этим я сюда и пришла...

Дверь открывает невысокая полная женщина. Одну руку по-мужски протягивает мне для приветствия, за другую держится маленький внук. По его невозмутимости и привычному любопытству понимаю, что гостей в этом доме бывает много. Их здесь ждут.

В большой комнате свободно, почти нет мебели. На самодельной полке — книги, большей частью военные мемуары, много увеличенных фронтовых фотографий, висит на лосином роге танкошлем, на полированном

столике ряд маленьких танков с дарственными надписями: «От воинов Н-ской части», «От курсантов танкового училища»... Рядом со мной на диване «сидят» три куклы — в военной форме. И даже шторы и обои в комнате защитного цвета.

Я понимаю, что здесь война не кончилась и не кончится никогда.

Нина Яковлевна Вишневская, старшина,
санинструктор танкового батальона:

«С чего начать? Я тут тебе даже текст приготовила... Ну да ладно, буду говорить от души. Вот как оно было.... Расскажу, как подруге...

Начну я с того, что в танковые войска девчонок брали неохотно. Можно даже сказать, что совсем не брали. Как я попала? Жили мы в городе Конаково Калининской области. Я только успела сдать экзамены за восьмой класс и перейти в девятый. Никто из нас тогда не понимал, что такое война, для нас это какая-то игра, что-то книжное. Мы воспитывались на романтике революции, на идеалах. Верили газетам: война скоро кончится нашей победой. Ну вот-вот...

Жила наша семья в большой коммунальной квартире, там было много семей, и каждый день уходили на войну люди: дядя Петя, дядя Вася... Мы их провожали, и нас, детей, больше всего одолевало любопытство. Мы шли за ними до самого поезда... Играла музыка, женщины плакали, но все это нас не пугало, а, наоборот, развлекало. Духовой оркестр всегда играл марш «Прощание славянки». Хотелось сесть на поезд и тоже уехать. Под эту музыку. Война, как нам представлялось, была где-то далеко. Мне, например, нравились военные пуговицы, как они блестят. Я уже ходила на курсы сандружинниц, но все это как-то по-детски воспринималось. Как игра. Потом закрыли школу, и нас мобилизовали на строи-

тельство оборонительных сооружений. Разместили в сараях, в чистом поле. Мы даже гордились, что едем на какое-то дело, связанное с войной. Зачислили нас в батальон слабосильных. Работали с восьми утра до восьми вечера, по двенадцать часов в сутки. Копали противотанковые рвы. А были все девчонки и мальчишки по пятнадцать-шестнадцать лет... И вот однажды во время работы мы услышали голоса, кто кричал "Воздух!", кто кричал "Немцы!". Взрослые побежали прятаться, а нам интересно — что такое немецкие самолеты, что такое немцы? Они пролетели мимо, мы ничего не успели рассмотреть. Даже расстроились... Через некоторое время они развернулись и уже пролетели ниже. Все увидели черные кресты. Страху никакого не было, опять одно любопытство. И вдруг они открыли пулеметный огонь и начали строчить, и на наших глазах падали свои ребята, с которыми вместе учились и работали. Наступило какое-то оцепенение, мы никак не могли понять: что это такое? Стояли и смотрели... Как вкопанные... И уже взрослые подбегали к нам и бросали на землю, а у нас все равно страх не появлялся...

Скоро немец-то подошел совсем близко к городу, где-то километрах в десяти был, слышалась оружейная канонада. Мы с девчонками побежали в военкомат: ну, тоже надо идти защищать, быть вместе. Никаких сомнений. Но брали не всех, брали девушек выносливых, сильных, и прежде всего тех, кому исполнилось восемнадцать лет. Хороших комсомолок. Какой-то капитан отбирал девушек для танковой части. Меня, конечно, он слушать не стал, потому что мне было семнадцать лет, и я была всего метр шестьдесят.

— Пехотинца поранит, — объяснял он мне, — он на землю упадет. Можно к нему подползти, на месте перевязать или в укрытие оттащить. А танкист не то... Если его ранит в танке, то его оттуда надо вытащить через люк. А разве ты такого парня вытащишь? Ты знаешь, какие танкисты все здоровые? Когда на танк придется

лезть, по нему стреляют, пули, осколки летят. А ты знаешь, что такое, когда танк горит?

— А разве я не такая комсомолка, как все? — Я стала плакать.

— Ты, конечно, тоже комсомолка. Но очень маленькая.

А моих подруг, с которыми я училась на курсах сандружинниц и в школе — они были рослые, сильные девушки, — их взяли. Мне было обидно, что они уезжают, а я остаюсь.

Родителям я, конечно, ничего не сказала. Пришла провожать, и девчонки меня пожалели: спрятали в кузове под брезентом. Ехали на открытой полуторке, сидим все в разных платках — у кого черный, у кого синий, красный... А у меня мамина кофточка вместо платка. Как будто не на войну собрались, а на концерт художественной самодеятельности. Зрелище! Ну, кино... Теперь без улыбки не вспомнить... Шура Киселева даже гитару с собой взяла. Едем, уже показались окопы, солдаты увидели нас и кричат: “Артисты приехали! Артисты приехали!”

Подъехали к штабу, капитан дал команду построиться. Вышли все, я последняя стала. Девчата с вещами, а я так. Поскольку я неожиданно попала, то вещей у меня с собой никаких. Шура дает мне свою гитару: “Ну, что ты будешь без ничего”.

Выходит начальник штаба, капитан докладывает ему:

— Товарищ подполковник! Двенадцать девушек прибыли в ваше распоряжение для прохождения службы.

Тот посмотрел:

— Да ведь тут не двенадцать, а целых тринадцать.

Капитан свое:

— Нет, двенадцать, товарищ подполковник, — настолько он был уверен, что двенадцать. А когда повернулся, посмотрел, сразу ко мне: — А ты откуда взялась?

Я отвечаю:

— Воевать приехала, товарищ капитан.

— А ну-ка пойдя сюда!

— Я вместе с подругой приехала...

— С подругой хорошо вместе на танцы ходить. А здесь — война. Давай-ка сюда поближе.

Как была у меня мамина кофточка на голове, так я и подошла к ним. Показываю удостоверение сандружинницы. Начинаю клянчить:

— Вы не сомневайтесь, дяденьки, я сильная. Я медсестрой работала... Я кровь сдавала... Вы, пожалуйста...

Посмотрели они на все мои документы, и подполковник приказал:

— Отправить домой! С первой попутной машиной!

А пока придет машина, временно назначили меня в медсанвзвод. Я сидела и делала марлевые тампоны. Как только увижу, что какая-то машина подходит к штабу, тут же — в лес. Сижу там час-два, машина ушла — возвращаюсь. И так три дня, пока наш батальон не вступил в бой. Первый танковый батальон тридцать второй танковой бригады. Все ушли в бой, а я готовила землянки для раненых. Полчаса не прошло, как раненых стали привозить... И убитых... В этом бою погибла и одна наша девчонка. Ну все и забыли, что меня надо отправить домой. Привыкли. Начальство уже не вспоминало...

Теперь что? Теперь надо в военное одеться. Дали нам всем вещевые мешки, чтобы мы вещи свои туда сложили. Новенькие вещмешки. Я ляпочки отрезала, донышко распоролла и надела на себя. Получилась военная юбка. Нашла где-то гимнастерку не очень рваную, подпоясалась ремнем и решила похвастаться девчонкам. И только я перед девчонками покрутилась, как в нашу землянку заходит старшина, а за ним идет командир части.

Старшина:

— Смир-рно!

Заходит подполковник, старшина к нему:

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться! С девчатами чепе. Я им вещмешки выдал, а они сами туда залезли.

И тут меня узнал командир части:

— А, так это ты, “заяц”! Ну что ж, старшина, надо обмундировать девчат.

Что мы получили? У танкистов брезентовые штаны, да еще с накладкой на коленях, а нам дали тонкие, как из ситца комбинезоны. А земля наполоам с металлом перемешана, камни все выворочены — опять мы оборванные ходим, потому что мы не в машине сидим, а по этой земле ползаем. Танки часто горели. Танкист, если останется живой, весь в ожогах. И мы обгорали, потому что вынимаешь горящего, в огонь лезешь. Это правда... Очень трудно человека вытащить из люка, особенно башенного стрелка. А мертвый человек тяжелее живого. Намного. Это я все вскоре узнала...

Мы необученные, кто в каком звании — не понимали, и старшина нас все время учил, что теперь мы настоящие солдаты, должны приветствовать любого выше нас по званию, ходить подтянутыми, шинель на застезках.

А солдаты, глядя, что мы такие молодые девчонки, любили подшутить над нами. Послали меня однажды из медсанвзвода за чаем. Я прихожу к повару. Он на меня смотрит:

— Чего пришла?

Я говорю:

— За ча-ем...

— Чай еще не готов.

— А почему?

— Повара в котлах моются. Сейчас помоются, будем чай кипятить...

Я поверила. Приняла это вполне серьезно. Взяла свои ведра, иду обратно. Встречаю врача:

— А чего пустая идешь? Где чай?

Отвечаю:

— Да повара в котлах моются. Чай еще не готов.

Он за голову схватился:

— Какие повара в котлах моются?

Вернул меня, выдал хорошенько этому повару, налили мне два ведра чаю. Несу чай, а навстречу мне идут начальник политотдела и командир бригады. Я тут же вспомнила, как нас учили, что надо приветствовать каждого, потому что мы рядовые бойцы. А они идут двое. Как же я их двоих буду приветствовать? Иду и соображаю. Поравнялись, я ставлю ведра, обе руки к козырьку и кланяюсь одному и второму. Они шли, меня не замечали, а тут остолбенели от изумления:

— Кто тебя так учил честь отдавать?

— Старшина учил, он говорит, что каждого надо приветствовать. А вы идете двое и вместе...

Все для нас, девчонок, в армии было сложно. Очень трудно давались нам знаки отличия. Когда мы прибыли в армию, еще были ромбики, кубики, шпалы, и вот сообрази, кто там по званию. Скажут — отнеси пакет капитану. А как его различить? Пока идешь, даже слово “капитан” из головы вылетит. Прихожу:

— Дяденька, а дяденька, мне дяденька велел вам отдать вот это...

— Какой еще дяденька?

— А тот, что всегда в гимнастерке ходит. Без кителя.

Запоминалось не то, что этот лейтенант, а тот капитан, нам запоминалось другое: красивый или некрасивый, рыжий или высокий. “А, тот, высокий!” — вспоминаешь.

Конечно, когда я увидела обгоревшие комбинезоны, обгоревшие руки, обгоревшие лица... Я... Это удивительно... Я потеряла слезы... Дар слез, женский дар... Танкисты выскакивают из горящих машин, на них все горит. Дымит. У них часто были перебиты руки или ноги. Это — очень тяжелые раненые. Он лежит и про-

сит: умру — напиши моей маме, напиши моей жене... А я не умела. Я не знала, как это кому-то рассказать о смерти...

Когда танкисты саму меня подобрали с покалеченными ногами и привезли в украинское село, это было на Кировоградчине, хозяйка хаты, где размещался медсанвзвод, запричитала:

— Яки ж молоденький хлопчик!..

Танкисты смеются:

— Яки ж то хлопчик, бабка, то ж дивка!

Она села возле меня и разглядывает:

— Яка ж то дивка? Яка ж то дивка? То ж хлопчик молоденький...

Я стриженная, в комбинезоне, в танкошлеме — хлопчик. Она на полатях мне место уступила и даже поросенка зарезала, чтобы я быстрее поправилась. И все жалела:

— Неужто мужиков не хватило, что дитэй таких побрали... Дивчаток...

От ее слов, от ее слез... На какое-то время меня покинуло всякое мужество, стало так себя жалко, и маму жалко. Ну, что я тут делаю среди мужчин? Я — девчонка. А если вернусь без ног? Были разные мысли... Да, были... Я не скрываю...

В восемнадцать лет на Курской Дуге меня наградили медалью “За боевые заслуги” и орденом Красной Звезды, в девятнадцать лет — орденом Отечественной войны второй степени. Когда прибывало новое пополнение, ребята были все молодые, конечно, они удивлялись. Им тоже по восемнадцать-девятнадцать лет, и они с насмешкой спрашивали: “А за что ты получила свои медали?” или “А была ли ты в бою?”. Пристают с шуточками: “А пули пробивают броню танка?”.

Одного такого я потом перевязывала на поле боя, под обстрелом, я и фамилию его запомнила — Щеголевых. У него была перебита нога. Я ему шину накладываю, а он у меня прощения просит:

— Сестричка, прости, что я тебя тогда обидел. Ты мне понравилась, если честно.

Что мы знали тогда про любовь? Если что было, то школьная любовь, а школьная любовь еще детская. Я помню, как мы попали в окружение... Руками врывались в землю, больше ничего у нас не было. Ни лопат... Ничего... Нас со всех сторон жмут и жмут. Мы уже решаем: ночью или прорвемся, или погибнем. Думалось, что, вернее всего, погибнем... Не знаю, рассказывать это или не рассказывать? Не знаю...

Замаскировались. Сидим. Ждем ночи, чтобы все-таки сделать попытку прорваться. И лейтенант Миша Т., комбат был ранен, и он выполнял обязанности комбата, лет ему было двадцать, стал вспоминать, как он любил танцевать, играть на гитаре. Потом спрашивает:

— Ты хоть пробовала?

— Чего? Что пробовала? — А есть хотелось страшно.

— Не чего, а кого... Бабу!

А до войны пирожные такие были. С таким названием.

— Не-е-ет...

— И я тоже еще не пробовал. Вот умрешь и не узнаешь, что такое любовь... Убьют нас ночью...

— Да пошел ты, дурак! — До меня дошло, о чем он.

Умирали за жизнь, еще не зная, что такое жизнь. Обо всем еще только в книгах читали. Я кино про любовь любила...

Санструкторы в танковых частях гибли быстро. Для нас место в танке не предусмотрено, вцепишься поверх брони, и только об одном мысль, чтобы не затянуло ноги в гусеницы. И надо следить, где танк загорится... Соскочить и туда бежать, ползти... На фронте нас было пятеро подружек: Люба Ясинская, Шура Киселева, Тоня Бобкова, Зина Латыш и я. Конаковские девчата — звали нас танкисты. И все девчонки погибли...

Перед боем, в котором Любу Ясинскую убили, мы с ней сидели вечером, обнявшись. Разговаривали. Это был сорок третий год... Дивизия наша подошла к Днепру. Она мне вдруг говорит: «Ты знаешь, я в этом бою погибну. Вот есть у меня какое-то предчувствие. Ходила к старшине, просила дать новое белье, а он пожалел: “Ты же недавно получила”. Пойдем утром попросим вдвоем». Я ее успокаиваю: «Мы уже два года с тобой воюем, нас теперь пули боятся». Но утром она меня все-таки уговорила пойти к старшине, выпросили мы у него пару нового белья. И вот у нее эта новая рубашка нижняя. Белоснежная, тут с завязочками такая... Она вся была залита кровью... Вот это сочетание белого с красным, с алой кровью, — до сего времени у меня в памяти. Она себе так это и представляла...

Мы несли ее вчетвером на плащ-палатке, она такая тяжелая сделалась. У нас в том бою много людей погибло. Вырыли большую братскую могилу. Положили всех, положили каждого без гроба, как всегда, а Любу сверху. До меня никак не доходило, что ее уже нет, и я ее больше не увижу. Думаю: хоть что-нибудь возьму у нее на память. А у нее на руке было колечко, какое оно, золотое или простое, — не знаю. Я его взяла. Хотя ребята меня останавливали: не смей, мол, брать, плохая примета. И вот когда уже прощаться, каждый по обычаю бросает горсть земли, я тоже бросила, и это колечко у меня слетело туда же, в могилу... К Любе... И я тогда вспомнила, что она очень любила это колечко... У них в семье отец всю войну прошел, живой вернулся. И брат с войны пришел. Мужчины вернулись... А Люба погибла...

Шура Киселева... Она была у нас самая красивая. Как актриса. Сгорела. Она прятала тяжелораненых в скирдах соломы, начался обстрел, солома загорелась. Шура могла сама спастись, но для этого надо было бросить раненых... Она сгорела вместе с ними...

Только недавно узнала я подробности гибели Тони Бобковой. Она заслонила от осколка мины любимого человека. Осколки летят — это какие-то доли секунды... Как она успела? Она спасла лейтенанта Петю Бойчевского, она его любила. И он остался жить.

Через тридцать лет Петя Бойчевский приехал из Краснодара. Нашел меня. И все это мне рассказал. Мы съездили с ним в Борисов и разыскали ту поляну, где Тоня погибла. Он взял землю с ее могилы... Нес и целовал...

Было нас пять, конаковских девчонок... А одна я вернулась к маме...»

Неожиданно для меня переходит на стихи:

Девчонка смелая вскочила на броню
И защищает Родину свою.
Ей нипочем ни пули, ни осколки —
Сердце горит у той девчонки.
Запомни, друг, ее неброскую красу,
Когда на плащ-палатке понесут...

Признается, что сочинила их на фронте. Я уже знаю, что многие из них там писали стихи. Они и теперь старательно переписываются, хранятся в семейных архивах — неумелые и трогательные. Из-за них фронтовые альбомы, а мне их показывают в каждом доме, часто напоминают девичьи любовные альбомы. Только там — про любовь, а здесь — про смерть.

«У меня дружная семья. Хорошая. Дети, внуки... Но я живу на войне, я все время там... Десять лет назад своего друга Ваню Позднякова разыскала. Мы думали: он погиб, а он, оказывается, жив. Его танк — он был командиром — два немецких танка под Прохоровкой уничтожил, и их подожгли. Экипаж погиб, один Ваня остался — без глаз, весь обожженный. Отправили его в госпиталь, но не думали, что будет жить. На нем живого кусочка не было. Вся кожа... вся... Кусками сла-

зила... Пленочкой... Я нашла его адрес через тридцать лет... Через полжизни... Помню, поднимаюсь по лестнице, ноги подкашиваются: он — не он? Дверь открыл сам и руками меня трогает, узнает: “Нинка, ты? Нинка, ты?”. Через столько лет узнал...

Мать его совсем старенькая, он с ней жил, сидит с нами за столом и плачет. Я удивляюсь:

— Чего ж вы плачете? Радоваться надо, что однополчане встретились.

Она мне отвечает:

— У меня три сына на войну ушло. Два погибли, а Ваня живой домой вернулся.

А у Вани обоих глаз нет. Она всю жизнь его за руку водит.

Я у него спросила:

— Ваня, последнее, что ты видел — это прохоровское поле, танковый бой... Что ты вспоминаешь о том дне?

И знаете, что он мне ответил?

— Об одном только жалею, что рано дал команду экипажу покинуть горевшую машину. Все равно ребята погибли. А мы могли еще один немецкий танк подбить...

Вот о чем он жалеет... До сего времени...

А мы с ним на войне были счастливые... Не было еще никаких слов между нами. Ничего. Но я помню...

Почему я осталась живая? Для чего? Я думаю... Я так понимаю, чтобы об этом рассказывать...»

Наша встреча с Ниной Яковлевной имела продолжение, но уже письменное. Переписав рассказ с магнитофонной ленты и выбрав то, что меня больше всего удивило и потрясло, я, как и обещала, переслала ей один экземпляр. Через несколько недель из Москвы приходит тяжелая заказная бандероль. Раскрываю: газетные вырезки, статьи, официальные отчеты о военно-патриотической работе, которую ведет в московских школах ветеран войны Нина Яковлевна Вишневская. Возвращен и посланный мной материал, от него мало что осталось — весь

исчерканный: выброшены веселые строки о поварах, которые в котлах моются, и даже безобидное: «Дяденька, а дяденька, мне дяденька велел вам отдать вот это...». А на страницах с историей про лейтенанта Мишу Т. стояли возмущенные вопросительные знаки и пометки на полях: «Я для своего сына — героиня. Божество! Что он подумает обо мне после этого?».

Потом я не раз сталкивалась с этими двумя правдами, живущими в одном человеке: собственной правдой, загнанной в подполье, и общей, пропитанной духом времени. Запахом газет. Первая редко могла устоять перед тотальным натиском второй. Если в квартире, например, кроме рассказчицы оказывался еще кто-то из родных или знакомых, соседей (особенно мужчин), она была менее искренна и доверительна, чем если бы мы остались с ней вдвоем. Это был уже разговор на публику. Для зрителя. Пробриться к ее личным впечатлениям становилось невозможно, я тут же обнаруживала крепкую внутреннюю защиту. Самоконтроль. Корректировка происходила постоянная. И даже определилась закономерность: чем больше слушателей, тем бесстрастнее и стерильнее рассказ. С оглядкой на то, как надо. Страшное уже выглядело великим, а непонятное и темное в человеке — мгновенно объясненным. Я попадала в пустыню прошлого, где были только памятники. Подвиги. Гордые и непроницаемые. Вот так же, как и с Ниной Яковлевной: одну войну она вспоминала для меня — «как дочке, чтобы ты поняла, что нам, совсем девочкам, пришлось пережить», другая предназначалась для большой аудитории — «как другие рассказывают и как в газетах пишут — о героях и подвигах, чтобы воспитывать молодежь на высоких примерах». Всякий раз меня поражало это недоверие к простому и человеческому, это желание подменить жизнь идеалом. Обыкновенное тепло — холодным сиянием.

А я не могла забыть, как мы пили чай по-домашнему, на кухне. И обе плакали.

«В НАШЕМ ДОМЕ ДВЕ ВОЙНЫ ЖИВУТ...»



Серый панельный дом на улице Каховской в Минске, полгорода у нас застроено этими безликими, с каждым годом все более мрачнейшими многоэтажками. Но этот дом все-таки особенный. «Тут у нас в одной квартире две войны живет», — услышу я, когда мне откроют дверь. Воевала в морской части на Балтике старшина первой статьи Ольга Васильевна Подвышенская. В пехоте сержантом был ее муж Саул Генрихович.

Все повторяется... Я опять долго рассматриваю семейные фотоальбомы, тщательно и любовно оформленные и всегда лежащие на видном месте для гостей. Да и для себя тоже. У каждого из этих альбомов есть название: «Наш род», «Война», «Свадьба», «Дети», «Внуки». И мне нравится это уважение к собственной жизни, задокументированная любовь к бывшему и прожитому. К родным лицам. Довольно редко встречаюсь с таким чувством дома, с тем, чтобы люди вглядывались в свой род, в свою нить, хотя посетила уже сотни квартир, была в разных семьях — интеллигентных и простых. Городских и сельских. Наверное, частые войны и революции отучили нас держать связь с прошлым, бережно ткать паутину рода. Оглядываться далеко назад. Гордиться. Торопились забыть, стереть следы, потому что сбереженные свидетельства могли стать уликой, часто стоили жизни. Дальше бабушки и дедушки никто ничего не знает и не ищет корней. Творили историю, но жили днем. Короткой памятью.

А здесь по-другому...

— Неужели это я? — смеется Ольга Васильевна и садится рядом со мной на диване, берет в руки снимок, где она в матросской форме, с боевыми наградами. — Сколько смотрю на эти фотографии, столько удивляюсь. Саул показал нашей шестилетней внучке, она спросила: «Бабушка, ты раньше была мальчиком, да?».

— Ольга Васильевна, вы сразу ушли на фронт?

— Война моя началась с эвакуации... Я оставила свой дом, свою юность. Всю дорогу по составу стреляли, бомбили, самолеты летали низко-низко. Я помню, как из вагона выскочила группа мальчишек из ремесленного училища, они все были в черных шинелях. Это такая мишень! Их всех расстреляли — самолеты шли над самой землей. Было такое чувство, что расстреливали и считали... Представляете?

Мы работали на заводе, там кормили, нам было неплохо. Но сердце пламенело... И я писала письма в военкомат. Одно — второе — третье... В июне сорок второго получила повестку. Нас через Ладогу на открытых баржах под обстрелом переправили в блокадный Ленинград. В первый же день в Ленинграде я запомнила белые ночи и отряд моряков, идут в черном. Обстановка чувствуется напряженная, прохожих никого нет, только работают прожектора, и идут матросы, как в гражданскую войну, опоясанные лентами. Представляете? Что-то из кино...

Город был кругом обложен. Фронт очень близко. На третьем номере трамвая можно было доехать до завода Кирова, а там уже начиналась линия фронта. Как погода ясная, так и артобстрел. Причем били прямой наводкой. Били, били, били... Большие корабли стояли у пирса, их, конечно, замаскировали, но все равно не исключалась возможность поражения. Мы стали дымозавесчиками. Был организован Отдельный отряд дымомаскировки, которым командовал бывший командир дивизиона торпедных катеров капитан-

лейтенант Александр Богданов. Девушки, в основном со средне-техническим образованием или после первых курсов института. Наша задача — уберечь корабли, прикрывать их дымом. Начнется обстрел, моряки ждут: «Скорей бы девчата дым повесили. С ним поспокойнее». Выезжали на машинах со специальной смесью, а все в это время прятались в бомбоубежище. Мы же, как говорится, вызывали огонь на себя. Немцы ведь били по этой дымовой завесе...

У нас питание, знаете, блокадное, но как-то выдерживали. Ну, во-первых, молодость, это важно, а во-вторых, мы удивлялись самим ленинградцам. Нас же хотя бы чем-то обеспечивали, кормежка имелась, пусть минимальная, а там же люди шли и от голода падали. На ходу умирали. К нам приходили оттуда дети, и мы их подкармливали из своих скудных пайков. Это были не дети, это были какие-то маленькие старички. Мумии. Они нам рассказывали о блокадном меню, если можно так выразиться: суп из кожаных ремней или кожаных новых ботинок, заливное из столярного клея, блинчики из горчицы... В городе съели всех котов и собак. Исчезли воробьи, сороки. Даже крыс и мышей ловили, чтобы съесть... На чем-то их там жарили... Потом дети перестали приходиться, а мы их долго ждали. Наверное, умерли. Я так думаю... А зимой, когда Ленинград остался без топлива, нас отправили ломать дома в один из районов города, где еще стояли деревянные постройки. Самый тяжелый момент — когдаходишь к дому... Дом стоит хороший, там вымерли люди или уехали, но чаще всего умерли. Чувствовалось это по оставленной на столе посуде, по вещам. Наверное, полчаса никто не мог поднять лом. Представляете? Все стояли и чего-то ждали. Только когда командир подойдет и всадит лом, тогда мы начинали валить.

Были на лесозаготовках, таскали ящики с боеприпасами. Помню, тащила один ящик, так и грохнулась, он тяжелее меня. Это — одно. А второе — как это трудно

было для нас как для женщин. Я потом стала командиром отделения. Все отделение из молодых мальчишек. Мы целый день на катере. Катер небольшой, там нет никаких галюнов. Ребятам по необходимости можно через борт, и все. Ну, а как мне? Пару раз я до того дотерпелась, что прыгнула прямо за борт и плаваю. Они кричат: «Старшина за бортом!» Вытащат. Вот такая элементарная мелочь... Но какая это мелочь? Я потом лечилась... Представляете? А сам вес оружия? Это для женщины тоже тяжело. Нам сначала дали винтовки, а винтовки были выше нас самих. Девчонки идут, а штыки над ними на полметра.

Мужчине было легче ко всему приспособиться. К этому аскетическому быту... К этим отношениям... А мы тосковали, страшно тосковали по дому, по маме, по уюту. У нас была одна москвичка, Наташка Жилина, ее наградили медалью «За отвагу» и как поощрение — отпустили домой на несколько дней. Так когда она приехала, мы ее обнюхивали. Ну, буквально становились в очередь и обнюхивали, говорили, что она домом пахнет. Такая тоска была до дому... Такая радость от одного вида конверта с письмом... От папиного почерка... Если выпадала минута отдыха, что-то вышивали, какие-то платочки. Дадут нам портянки, а мы из них шарфики придумаем, обвяжем. Хотелось заняться чем-то женским. Вот этого женского нам не хватало, просто неумоготу было. Ищешь любой предлог, чтобы иголку в руки взять, зашить что-нибудь, хотя бы на какое-то время приобрести свой естественный вид. Конечно, и смеялись, и радовались, но все это было не так, как до войны. Какое-то особое состояние...

Магнитофон записывает слова, сохраняет интонацию. Паузы. Плач и растерянность. Я понимаю, что когда человек говорит, происходит нечто большее, чем остается потом на бумаге. Все время жалею, что не могу «записать» глаза, руки. Их жизнь во время разговора, их собственную жизнь. Отдельную. Их «тексты».

— У нас две войны... Это точно... — вступает в разговор Саул Генрихович. — Начнем вспоминать, и я чувствую: она свою войну запомнила, а я свою. Вот и у меня что-то такое было, как она вам о доме рассказывала, или как они выстраивались в очередь и обнюхивали девчонку, вернувшуюся из дому. Но я этого не помню... Прокочило мимо... Тогда это казалось мелочью. Чепухой. А еще она вам о бескозырках не рассказала. Оля, как же ты такое забыла?

— Не забыла. Это из самого-самого... Всегда боюсь доставать из памяти эту историю. Каждый раз... А было так — на рассвете наши катера ушли в море. Несколько десятков катеров... Скоро мы услышали, как начался бой. Мы ждали... Прислушивались... Бой длился много часов, и был момент, когда он приблизился к самому городу. Но где-то невдалеке затих. Перед сумерками я вышла на берег: по Морскому каналу плыли бескозырки. Одна за другой. Бескозырки и большие красные пятна на волнах... Щепки какие-то... Это наших ребят где-то сбросили в воду... Сколько я стояла, столько эти бескозырки плыли. Я сначала считала, а потом перестала. И не могла уйти, и не могла смотреть. Морской канал стал братской могилой...

Саул, где мой носовой платок? Я только что его в руках держала... Ну, где же он?

— Я многое из ее рассказов запомнил и, как теперь говорят, «усек» для внуков. Часто им не свою, а ее войну рассказываю. Им она интереснее, вот что я заметил, — продолжает свою мысль Саул Генрихович. — У меня больше конкретного военного знания, а у нее чувства. А чувства всегда ярче, они всегда сильнее фактов. У нас тоже в пехоте были девушки. Стоило хотя бы одной из них появиться среди нас, как мы подтягивались. Вы себе не представляете... Не представляете! — И тут же: — Это словечко я тоже у нее подхватил. Вы себе представить не можете, как хорош женский смех на войне! Женский голос.

Была ли на войне любовь? Была! И те женщины, которых мы встретили там, прекрасные жены. Верные подруги. Кто женился на войне, это самые счастливые люди, самые счастливые пары. Вот мы тоже полюбили друг друга на фронте. Среди огня и смерти. Это — прочная связь. Не буду отрицать, что было и другое, потому что долгая была война, и много нас было на войне. Но я больше помню светлого. Благородного.

На войне я стал лучше... Несомненно! Как человек я стал там лучше, потому что там много страдания. Я видел много страдания, и сам много страдал. И там неглавное в жизни сразу отмечается, оно лишнее. Там это понимаешь... Но война нам отомстила. Но... В этом мы сами себе боимся признаться... Она догнала нас... Не у всех наших дочерей сложились личные судьбы. И вот почему: их мамы, фронтовички, воспитали так, как они сами воспитывались на фронте. И папы тоже. По той морали. А на фронте человек, я вам уже сказал, сразу был виден: какой он, чего стоит. Там не спрячешься. Их девочки представления не имели о том, что в жизни может быть по-иному, чем в их доме. Их не предупредили о жестокой изнанке мира. Эти девочки, выходя замуж, легко попадали в руки проходимцев, те их обманывали, потому что обмануть их ничего не стоило. Так случилось со многими детьми наших фронтовых друзей. И с нашей дочерью тоже...

— Детям мы о войне почему-то не рассказывали. Наверное, боялись и жалели их. Правы ли мы были? — задумывается Ольга Васильевна. — Я и орденские колодки не носила. Был случай, когда сорвала их и больше не прикалывала. После войны я работала директором хлебозавода. Прихожу на совещание, и начальник треста, тоже женщина, увидела мои колодки и при всех высказала: «Что ты их нацепила, как мужчина?». У самой был трудовой орден, он всегда у нее на пиджаке, а мои военные награды ей почему-то не нравились. Когда мы остались одни в кабинете, я все ей высказала

по-морскому, ей было неудобно, но у меня-то пропала охота носить награды. И теперь не прикалываю. Хотя горжусь.

Только через десятки лет известная журналистка Вера Ткаченко написала в центральной газете «Правда» о нас, о том, что мы тоже были на войне. И что есть женщины-фронтовички, которые остались одинокими, не устроили свою жизнь и до сих пор не имеют квартир. А мы перед этими святыми женщинами в долгу. И тогда как-то понемножку стали на женщин-фронтовичек обращать внимание. Им было по сорок-пятьдесят лет, они жили в общежитиях. Наконец им стали давать отдельные квартиры. Моя подруга... Не буду называть ее фамилии, вдруг обидится... Военфельдшер... Трижды ранена. Кончилась война, поступила в медицинский институт. Никого из родных она не нашла, все погибли. Страшно бедствовала, мыла по ночам подъезды, чтобы прокормиться. Но никому не признавалась, что инвалид войны и имеет льготы, все документы порвала. Я спрашиваю: «Зачем ты порвала?». Она плачет: «А кто бы меня замуж взял?» — «Ну, что же, — говорю, — правильно сделала». Еще громче плачет: «Мне бы эти бумажки теперьгодились. Болею тяжело». Представляете? Плачет.

На празднование тридцатипятилетия Победы первый раз в Севастополь, город морской русской славы, пригласили сто моряков — ветеранов Великой Отечественной войны со всех флотов, в их числе — три женщины. Две из них — это мы с подругой. И адмирал флота каждой из нас поклонился, всенародно спасибо сказал и руку поцеловал. Как забыть?!

— А хотелось забыть войну?

— Забыть? Забыть... — переспрашивает Ольга Васильевна.

— Мы не способны ее забыть. Не в наших силах, — нарушает затянувшуюся паузу Саул Генрихович. — В День Победы, помнишь, Оля, как встретили мы старенькую-

старенькую мать, и висел у нее на шее такой же старенький плакатик: «Ищу Кульнева Томаса Владимировича, пропал без вести в 1942 году в блокадном Ленинграде». По лицу видно, что ей давно за восемьдесят. Это же сколько лет она его ищет? И до последнего своего часа будет искать. Так и мы.

— А я хотела бы забыть. Я хочу... — медленно, почти шепотом выговаривает Ольга Васильевна. — Я хочу хотя бы один день прожить без войны. Без нашей памяти о ней... Хотя бы один такой день...

Они запоминаются мне вдвоем, как и на фронтовых снимках, один из них дарят мне. Там они молодые, намного младше меня. Все сразу обретает другой смысл. Приближается. Я смотрю на эти молодые снимки и уже по-другому слышу то, что только что слышала и записывала. Между нами исчезает время.

«ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА НЕ СТРЕЛЯЕТ...»



Встречают и рассказывают по-разному...

Одни начинают рассказывать сразу, уже по телефону: «Я помню... Я все-все держу в памяти, как будто это было вчера...». Другие долго откладывают встречу и разговор: «Надо собраться... Не хочу опять попасть в тот ад...». Валентина Павловна Чудаева из тех, кто долго боится, неохотно впускает в свой потревоженный мир, несколько месяцев я время от времени ей звонила, но однажды мы проговорили по телефону два часа и, наконец, решили встретиться. Тут же — на следующий день.

И вот я — пришла...

— Будем есть пироги. С утра хлопочу, — весело обнимает меня у порога хозяйка. — А с разговором успею. Еще наплачусь... Я давно живу со своей печалью... Первым делом — пироги. С черемухой. Как у нас в Сибири. Давай, проходи.

Прости, что сразу на ты. Это фронтовое: «А ну, девчонки! Давай, девчонки!». А мы все такие, ты уже знаешь... Слышала... Хрусталя, видишь, не нажили. Все, что скопили с мужем, в жестяной коробке из-под конфет храним: пара орденов да медали. Лежат в серванте, потом покажу. — Проводит в комнату. — Мебель, видишь, тоже старая. Жалко менять. Если вещи долго живут в доме, то у них появляется душа. Я верю.

Знакомит со своей подругой Александрой Федоровной Зенченко, комсомольским работником в блокадном Ленинграде.

Я сажусь за накрытый стол: ну что ж, пироги так пироги, тем более сибирские, с черемухой, которые я никогда не пробовала.

Три женщины. Горячие пироги. А разговор сразу же — о войне.

— Вы ее только не перебивайте вопросами, — предупреждает Александра Федоровна. — Если остановится, плакать начнет. А после слез замолчит... Не перебивайте...

Валентина Павловна Чудаева, сержант,
командир зенитного орудия:

«Я — из Сибири... Что побудило меня, девчонку из далекой Сибири, пойти на фронт? С конца света, что называется. А насчет конца света мне на одной встрече французский журналист задал вопрос. Как-то он ко мне пристально присматривался в музее, я даже начала смущаться. Что он хочет? Почему так смотрит? В конце он подошел и через переводчика попросил, чтобы госпожа Чудаева дала интервью. Я, конечно, очень разволновалась. Думаю: ну, что он хочет? Он же меня в музее слушал? Но его, видно, не это интересовало. Первым делом я услышала от него комплимент: “Вы сегодня так молодо выглядите... Как это вы могли пройти войну?”. Я ему отвечаю: “Это доказательство того, как вы понимаете, что мы очень юными пошли на фронт”. А его другое волновало: как это я попала на фронт из Сибири — это же конец света! “Нет, — догадалась я, — вас, видно, все-таки волнует, не было ли у нас тотальной мобилизации, почему я, школьница, пошла на фронт?” Тут он кивает головой, что, мол, да. “Хорошо, — говорю, — я вам отвечу на этот вопрос”. И я ему рассказала всю свою жизнь, как и тебе сейчас расскажу. Он плакал... Француз плакал... В конце признался: “Вы не обижайтесь на меня, госпожа Чудаева.

Для нас, французов, Первая мировая война была более сильным потрясением, чем Вторая мировая. И мы о ней помним — везде могилы и памятники. А о вас мы мало знаем. Многие сегодня думают, что это одна Америка победила Гитлера, особенно молодые люди. О той цене, которую советские люди заплатили за победу — двадцать миллионов человеческих жизней за четыре года — мало известно. И о ваших страданиях. Безмерных. Спасибо вам — вы потрясли мое сердце”.

...Я не помню своей матери. Она рано погибла. Отец был уполномоченным Новосибирского укома, в двадцать пятом году его направили в деревню, откуда он родом, за хлебом. Страна очень нуждалась, а кулаки прятали хлеб, гноили. Мне было тогда девять месяцев. Мать захотела на родину вместе с отцом, и он ее взял. Она меня прихватила и сестричку, не было куда нас деть. Папа там когда-то батрачил, у того кулака, которому вечером на собрании пригрозил: мы знаем, где хлеб лежит, если сами не отдадите, найдем и заберем силой. Заберем во имя дела революции.

Кончилось собрание, все родные собрались, а у папы было пять братьев, все они потом не вернулись с Великой Отечественной войны, как и отец. Ну, значит, сели они в застолье — традиционные сибирские пельмени. Лавки вдоль окон стоят... И мать попала в простенок, одним плечом — к окну, другим — к отцу, а отец сидел, где как раз не было окна. Апрель месяц... В Сибири в это время еще заморозки бывают. Матери, видно, холодно стало. Я это уже потом, взрослой поняла. Она встала, накинула кожух отца и начала меня кормить грудью. В это время раздался выстрел из обреза. Стреляли-то в отца, по кожуху метили... Мать успела только сказать: “Па...” и выронила меня на горячие пельмени... Было ей двадцать четыре года...

И в этой же деревне потом председателем сельсовета был мой дедушка. Его отравили стрихнином, в воду насыпали. У меня фотография сохранилась, как дедушку

хоронят. Полотнище над гробом, и на нем написано: “Погиб от руки классового врага”.

Отец мой — герой гражданской войны, командир бронепоезда, действовавшего против мятежа чехословацкого корпуса. В тридцать первом году он был награжден орденом Красного Знамени. В то время этот орден имели единицы, особенно у нас, в Сибири. Это был большой почет, большое уважение. У отца на теле девятнадцать ран, не было живого места. Мать рассказывала — не мне, конечно, а родным, — что отца белочехи приговорили к двадцати годам каторги. Она попросила свидания с ним и была в это время на последнем месяце беременности Тасей, моей старшей сестрой. Там, в тюрьме, был такой длинный коридор, ей не дали пойти к отцу, ей сказали: “Большевицкая сволочь! Ползи...”. И она за несколько дней до родов ползла по этому длинному цементному коридору. Вот как ей сделали свидание. Она отца не узнала, у него вся голова поседела. Седой старик. А ему было тридцать лет.

Могла я равнодушно сидеть, когда враг снова пришел на мою землю, если я росла в такой семье, с таким отцом? Я же его кровь... Кровинушка... Ему много пришлось пережить... На него донос был в тридцать седьмом году, его хотели оклеветать. Сделать из него врага народа. Ну, эти страшные сталинские чистки... Ежовщина... Как сказал товарищ Сталин, лес рубят, щепки летят. Была объявлена новая классовая борьба, чтобы страна не переставала жить в страхе. В покорности. Но отец добился приема у Калинина, и его доброе имя восстановили. Отца знали все.

Но об этом мне потом родные рассказали...

И вот — сорок первый год... У меня последний школьный звонок. У нас у всех были какие-то планы, свои мечты, ну, девчонки ведь. После выпускного вечера мы поехали по Оби на остров. Такие веселые, счастливые... Еще, как говорится, нецелованные, у меня еще даже мальчика не было. Возвращаемся, рассвет на

острове встретили... Город весь бурлит, люди плачут. Крутом: “Война! Война!”. Везде радио включено. До нас ничего не доходило. Какая война? Мы такие счастливые, у нас такие грандиозные планы: кто куда пойдет учиться, кто кем станет. И вдруг война! Взрослые плакали, а мы не испугались, мы уверяли друг друга, что не пройдет и месяца, как “дадим по мозгам фашистам”. Пели довоенные песни. Конечно, наша армия разобьет врага на его территории. Ни тени сомнения... Ну ни крошечки...

Начали все понимать, когда в дома стали приходиться похорошки. Я просто заболела: “Как же так, значит, все враки?”. Немцы уже готовились к параду на Красной площади...

Отца моего на фронт не брали. Но он упорно ходил в военкомат. Потом отец ушел. Это при его здоровье, при его седой голове, при его легких: у него был застарелый туберкулез. Чуть подлеченный. И возраст какой? Но он ушел. Записался в Стальную, или, как ее называли, Сталинскую дивизию, там было много сибиряков. Нам тоже казалось, что без нас война не война, мы тоже должны воевать. Тут же оружие нам давай! Побежали всем классом в военкомат. И десятого февраля я ушла на фронт. Мачеха очень плакала: “Валя, не уходи. Что ты делаешь? Ты такая слабая, такая худая, ну какой из тебя вояка?”. Я была рахитичная, долго, очень долго. Это после того, как маму убили. Я до пяти лет не ходила... А тут откуда силы взялись!

Два месяца нас везли в теплушках. Две тысячи девушек, целый эшелон. Сибирский эшелон. Что мы видели, когда подъезжали к фронту? Я помню один момент... Никогда не забуду: разбитая станция, а по перрону прыгают на руках матросы. У них нет ни ног, ни костылей. Они ходят на руках... Их целый перрон... И они еще курят... Увидели нас — смеются. Шутят. Сердце тук-тук... Тук-тук... Куда мы собрались? Едем? Куда? Для храбрости пели, много пели.

С нами были командиры, они нас учили. Поддерживали. Мы изучали связь. Приехали на Украину, и нас там первый раз бомбили. А мы были как раз в это время в санпропускнике, в бане. Когда мы шли мыться, там дядечка дежурил, он за баней смотрел. Мы его стеснялись, ну, девчонки, совсем молоденькие. А как стали бомбить, мы все вместе к тому дядечке, только бы спастись. Кое-как оделись, я завернула голову полотенцем, у меня красное полотенце было, выскочили. Старший лейтенант, тоже мальчишка, кричит:

— Девушка, в бомбоубежище! Бросьте полотенце! Демаскируете...

А я от него убегаю:

— Ничего не демаскирую! Мне мама не велела с сырой головой ходить.

Он потом после бомбежки меня нашел:

— Почему меня не слушаешься? Я твой командир.

Я ему не поверила:

— Еще не хватало, что ты мой командир...

Ругаюсь с ним, как с мальчишкой. Ровесники.

Шинели нам дали большие, толстые, мы в них, как снопы, не ходим, а валяемся. Сначала даже сапог на нас не шили. Сапоги есть, но размеры-то все мужские. Потом заменили нам сапоги, дали другие — головка сапог красная, а голенища — кирза черная. Это уже мы форсировали! Все худые, мужские гимнастерки висят на нас. Кто умел шить, немного на себя подогнали. А нам же еще что-то нужно. Девчонки ведь! Ну, старшина начал нам обмер делать. И смех и грех. Приезжает комбат: “Ну что, старшина все ваши женские штучки выдал?”. Старшина говорит: “Обмерял. Будут”.

И стала я в зенитной части связистка. На капэ дежурила, на связи, и, может быть, так бы и до конца войны осталась связисткой, если б не получила извещение, что погиб отец. Нет у меня больше моего любимого папы. Самого родного мне человека. Единственного. Я начала просить: “Хочу мстить. Хочу рассчитаться за смерть

моего отца”. Хотела убивать... Стрелять хотела... Хотя мне доказывали, что телефон в артиллерии — это очень важно. Но телефонная трубка сама не стреляет... Я написала рапорт командиру полка. Он отказал. Я тогда, не долго думая, обратилась к командиру дивизии. Приезжает к нам полковник Красных, выстроил всех и спрашивает: “Где тут та, что хочет стать командиром орудия?”. Я вышла из строя: шея худая, тонкая, а на этой шее автомат висит, автомат тяжелый, семьдесят один патрон. И, видно, такой у меня был жалкий вид, что он даже улыбнулся. Второй вопрос: “Ну, что ты хочешь?”. А я ему говорю: “Стрелять хочу”. Не знаю, что он там себе подумал. Долго молчал. Ни слова. Потом повернулся круто и ушел. Ну, думаю, все, откажет. Прибегает командир: “Разрешил полковник...”.

Тебе это понятно? Это можно понять сейчас? Я хочу, чтобы ты мои чувства поняла... Без ненависти стрелять не будешь. Это — война, а не охота. Я помню, как на политзанятиях нам читали статью Ильи Эренбурга “Убей его!”. Сколько раз встретишь немца, столько раз его убей. Знаменитая статья, ее тогда все читали, заучивали наизусть. На меня она произвела сильное впечатление, у меня в сумке всю войну лежала эта статья и папина “похоронка”... Стрелять! Стрелять! Я должна мстить...

Окончила краткосрочные курсы, очень краткосрочные — три месяца училась. Училась стрелять. И вот я командир орудия. И, значит, меня — в тысяча триста пятьдесят седьмой зенитный полк. Первое время из носа и ушей кровь шла, расстройство желудка наступало полное... Горло пересыхало до рвоты... Ночью еще не так страшно, а днем очень страшно. Кажется, что самолет прямо на тебя летит, именно на твое орудие. На тебя таранит! Это один миг... Сейчас он всю, всю тебя превратит ни во что. Все — конец! Это не для девчонки... Не для ее ушей, не для ее глаз... У нас сначала “восьмидесятипятки” были, они себя хорошо под Москвой показали,

они пошли потом против танков, нам дали “тридцатисемимиллиметровки”. Это на Ржевском направлении... Там такие бои шли... Весной лед тронулся на Волге... И что мы видели? Мы видели, как плывет красно-черная льдина и на льдине два-три немца и один русский солдат. Это они так погибали, вцепившись друг в друга. Они вмерзли в эту льдину, и эта льдина вся в крови. Вся матушка Волга была в крови...»

И вдруг остановилась: «Надо передохнуть... А то рыдать начну, встречу нашу испорчу...». Отвернулась к окну, чтобы справиться с собой. Через минуту уже улыбалась: «Честно говоря, не люблю плакать. С детства училась не плакать...».

«А я блокадный Ленинград вспомнила, слушая Валу, — вступила в разговор молчавшая до этого Александра Федоровна Зенченко. — Особенно один случай, который всех нас потряс. Нам рассказали, что какая-то пожилая женщина каждый день открывает окно и из ковшика выплескивает на улицу воду, и с каждым разом это у нее получается все дальше и дальше. Сначала подумали: ну, наверное, сумасшедшая, чего только мы в блокаду не насмотрелись, — и пошли к ней выяснить, в чем дело. Послушайте, что она нам сказала: “Если придут в Ленинград фашисты, ступят на мою улицу, я буду их — шпарить кипятком. Я старая, ни на что больше не способна, так я буду их шпарить кипятком”. И она тренировалась... Каждый день... Блокада только началась, еще была горячая вода... Это была очень интеллигентная женщина. Я даже помню ее лицо.

Она избрала способ борьбы, на который у нее доставало сил. Надо представить себе тот момент... Враг уже был рядом с городом, бои шли возле Нарвских ворот. Обстреливались цеха Кировского завода... Каждый думал, что он может сделать для защиты города. Умереть было слишком просто, надо было еще что-то сделать. Какой-то поступок. Тысячи людей так думали...»

«Я хочу найти слова... Как мне выразить все? — спрашивает то ли нас, то ли себя Валентина Павловна. — С войны я вернулась калекой. Меня ранило осколком в спину. Рана была небольшая, но меня отбросило далеко в сугроб. А я что-то несколько дней не сушила валенки, то ли дров не было, то ли моя очередь сушить за ночь не подошла, печка маленькая, а нас вокруг нее много. И пока меня нашли, я сильно отморозила ноги. Меня, видимо, снегом забросало, но я дышала, и образовалось в снегу отверстие... Такая трубка... Нашли меня санитарные собаки. Разрыли снег и шапку-ушанку мою принесли. Там у меня был паспорт смерти, у каждого были такие паспорта: какие родные, куда сообщать. Меня откопали, положили на плащ-палатку, был полный полубок крови... Но никто не обратил внимания на мои ноги...

Шесть месяцев я лежала в госпитале. Хотели ампутировать ногу, ампутировать выше колена, потому что начиналась гангрена. И я тут немножко смалодушничала, не хотела оставаться жить калекой. Зачем мне жить? Кому я нужна? Ни отца, ни матери. Обуза в жизни. Ну кому я нужна, обрубок! Задушусь... И я попросила у санитарки вместо маленького полотенца большое... А меня в госпитале все дразнили: «А здесь бабушка... Бабушка старая лежит». Потому что, когда начальник госпиталя увидел меня первый раз, спросил: «Ну а сколько же тебе лет?». Я ему скоренько: «Девятнадцать. Девятнадцать скоро будет». Он засмеялся: «О! Старая, старая, это уже возраст». И санитарка тетя Маша меня так дразнила. Она мне говорит: «Я дам полотенце, поскольку тебя к операции готовят. Но буду за тобой смотреть. Что-то не нравятся, девка, мне твои глаза. Не надумала ли ты чего плохого?». Я молчу... Но вижу, что и правда: готовят к операции. Я хотя и не знала, что такое операция, ни разу не резанная, это теперь географическая карта на теле, но догадалась. Спрятала большое полотенце под подушку и жду, ког-

да все затихнут. Заснут. А кровати были железные, думаю: завяжу полотенце за кровать и задушусь. Только бы сил хватило... Но тетя Маша не отошла от меня всю ночь. Сберегла она меня, молодую. Не заснула... Сберегла глупую...

А мой палатный врач, молодой лейтенант ходит за начальником госпиталя и просит: “Дайте я попробую. Дайте я попробую...”. А тот ему: “Что ты попробуешь? У нее уже один палец черный. Девчонке девятнадцать лет. Из-за нас с тобой погибнет”. Оказывается, мой палатный врач был против операции, он предлагал другой способ, новый по тем временам. Специальной иглой вводить под кожу кислород. Кислород питает... Ну, я точно не скажу как, я не медик... И он, этот молодой лейтенант, уговорил начальника госпиталя. Не стали они мне ногу резать. Стали лечить этим способом. И через два месяца я уже начала ходить. На костылях, конечно, ноги, как тряпки, нет никакой опоры. Я их не чувствовала, я их только видела. Потом научилась ходить без костылей. Меня поздравляли: родилась во второй раз. После госпиталя был положен отдых. А какой отдых? Куда? К кому? Поехала я в свою часть, на свое орудие. Вступила там в партию. В девятнадцать лет...

День Победы встретила в Восточной Пруссии. Уже пару дней было затишье, никто не стрелял, а среди ночи вдруг сигнал: “Воздух!”. Мы все вскочили. И тут кричат: “Победа! Капитуляция!” Капитуляция — это ладно, а вот победа — это до нас дошло: “Война кончилась! Война кончилась!”. Все начали стрелять, кто из чего, у кого что было: автомат, пистолет... Из орудий стреляли... Один слезы вытирает, второй пляшет: “Я — живой. Я — живой!”. Третий упал на землю и обнимает, обнимает песок, камни. В радости... А я стою, и до меня доходит: раз кончилась война, то мой папа не вернется домой уже никогда. Война кончилась... Командир потом грозил: “Ну что ж, демобилизации не будет, пока за снаряды

не заплатите. Что вы натворили? Сколько вы снарядов выпустили?”. Нам казалось, что на земле будет всегда мир, что никто никогда не захочет войны, все снаряды должны быть уничтожены. Зачем они? Мы устали ненавидеть. Устали стрелять.

А как захотелось домой! Пусть там и папы не было, и мамы не было. Дом — это что-то такое, что больше людей, которые в нем живут, и больше самого дома. Это что-то такое... У человека должен быть дом... Земной поклон моей мачехе, она меня как мать встретила. Я ее после мамой звала. Она меня ждала, очень ждала. Хотя начальник госпиталя успел написать, что мне ампутируют ногу, привезут к ней калеку. Чтобы она приготовилась. Обещал, что я немного у нее поживу, а потом меня заберут... Но она хотела, чтобы я вернулась домой...

Она меня ждала... Я была очень похожа на папу...

Мы в восемнадцать-двадцать лет ушли на фронт, а вернулись в двадцать — двадцать четыре. Сначала радость, а потом страшно: а что мы будем делать на гражданке? Страх перед мирной жизнью... Подружки институты успели окончить, а кто мы? Ни к чему не приспособленные, без специальности. Все, что знаем — война, все, что умеем, — война. Хотелось скорее отделаться от войны. Из шинели быстренько сшила себе пальто, пуговицы перешила. На базаре продала кирзовые сапоги и купила туфельки. Надела первый раз платье, слезами обливалась. Сама себя в зеркале не узнала, мы же четыре года — в брюках. Кому я могла сказать, что я раненая, контуженая. Попробуй скажи, а кто тебя потом на работу примет, кто замуж возьмет? Мы молчали, как рыбы. Никому не признавались, что воевали на фронте. Так между собой связь держали, переписывались. Это потом чествовать нас стали, через тридцать лет... Приглашать на встречи... А первое время мы таились, даже награды не носили. Мужчины носили, а женщины нет. Мужчины — по-

бедители, герои, женихи, у них была война, а на нас смотрели совсем другими глазами. Совсем другими... У нас, скажу я вам, забрали победу. Тихонько выменяли ее на обычное женское счастье. Победу с нами не разделили. И было обидно... Непонятно... Потому что на фронте мужчины относились к нам изумительно, всегда оберегали, я не встречала в мирной жизни, чтобы они так относились к женщинам. Когда отступали, ляжем отдохнуть — земля голая, они сами останутся в гимнастерках, а нам отдадут свои шинели: “Девчонки... Девочек надо укрыть...”. Найдут где-то кусочек ваты, бинта: “На, возьми, тебе пригодится...”. Сухарик последний поделают. Кроме добра, кроме тепла мы ничего другого на войне не видели. Не знали. А после войны? Я молчу... Молчу... Что мешает нам вспоминать? Непереносимость воспоминаний...

Приехали с мужем в Минск. У нас ничего нет: ни простыни, ни кружки, ни вилки... Две шинели, две гимнастерки. Нашли карту, она хорошая была, на бязи, мы ее отмачивали... Большая карта... Вот эта бязевая простыня — первая простыня у нас была. Потом, когда дочка родилась, на пеленки ее пустили. Карту эту... Как сейчас помню, политическая карта мира... А спала дочка в чемодане... Фанерный чемодан, с которым муж вернулся с фронта, служил вместо люльки. Кроме любви, ничего в доме не было. Так скажу... Муж как-то пришел: “Пойдем, я видел выброшенный старый диван...”. И мы пошли за тем диваном — ночью, чтобы никто не видел. Как мы радовались этому дивану!

Все-таки мы были счастливые. У меня появилось столько подруг! Время трудное, но мы не унывали. Отovarим карточки и звоним друг другу: “Приходи, я сахар получила. Будем чай пить”. Ничего над нами не было, ничего под нами не было, ни у кого еще этих ковров, хрусталя... Ничего... И мы были счастливы. Счастливы, потому что остались живы. Говорим, смеемся. Ходим по улицам... Я все время любовалась, хотя любоваться

не было чем — вокруг разбитый камень, даже деревья покалечены. Но нас грело чувство любви. Как-то нужен был человек человеку, все очень нуждались друг в друге. Это потом мы разбежались, каждый к себе, в свой дом, в свою семью, а тогда еще были вместе. Плечо к плечу, как в окопе на фронте...

Теперь меня часто приглашают на встречи в военный музей... Просят провести экскурсию. Теперь — да. Через сорок лет! Сорок! Недавно я выступала перед молодыми итальянцами. Они долго расспрашивали: у какого врача я лечилась? Чем болела? Почему-то они выясняли, не обращалась ли я к психиатру? И какие сны мне снятся? Снится ли война? Мол, русская женщина, которая воевала с оружием, для них — загадка. Что это за женщина, которая не только спасала, перевязывала раны, но сама стреляла, подрывала... Убивала мужчин... Их интересовало: вышла ли я замуж? Они были уверены, что нет. Одинокая. А я смеялась: "Все трофеи везли с войны, а я везла мужа. Есть у меня дочка. Теперь внуки растут". Я о любви тебе не рассказала... Уже не смогу, потому что сердца не хватит. В другой раз... Была любовь! Была! Разве без любви человек может жить? Может выжить? На фронте влюбился в меня наш комбат... Всю войну берег, никого не подпускал, а демобилизовался и разыскал в госпитале. Тогда признался... Ну, о любви потом... Ты приходи, обязательно приходи. Второй дочкой будешь. Конечно, я мечтала иметь много детей, я люблю детей. Но одна у меня дочка... Доченька... Не было здоровья, не было сил. И учиться я не смогла — часто болела. Мои ноги, все — мои ноги... Они меня подводят... Работала до пенсии лаборанткой в Политехническом институте, но меня все любили. Профессора и студенты. Потому что во мне самой было много любви, много радости. Я так понимала жизнь, я только так хотела жить после войны. Бог не создал человека для того, чтобы он стрелял, он создал его для любви. Как ты думаешь?

Два года назад гостил у меня наш начальник штаба Иван Михайлович Гринько. Он уже давно на пенсии. За этим же столом сидел. Я тоже пирогов напекла. Беседуют они с мужем, вспоминают... О девчонках наших заговорили... А я как зареву: "Почет, говорите, уважение. А девчонки-то почти все одинокие. Незамужние. Живут в коммуналках. Кто их пожалел? Защитил? Куда вы подевались все после войны? Предатели!". Одним словом, праздничное настроение я им испортила...

Начальник штаба вот на твоём месте сидел. "Ты мне покажи, — стучал кулаком по столу, — кто тебя обижал. Ты мне его только покажи!". Прощения просил: "Валя, я ничего тебе не могу сказать, кроме слез". А не надо нас жалеть. Мы — гордые. Пусть десять раз историю перепишут. Со Сталиным или без Сталина. Но это останется — мы победили! И наши страдания. То, что мы пережили. Это — не рухлядь и не пепел. Это — наша жизнь.

Ни слова больше...».

Перед уходом мне вручают пакет с пирогами: «Это сибирские. Особенные. В магазине таких не сыщешь...» Я получаю еще один длинный список с адресами и телефонами: «Все тебе будут рады. Ждут. Я тебе объясню: страшно вспоминать, но куда страшнее не вспоминать».

Теперь я понимаю, почему они все-таки говорят...

«НАС НАГРАЖДАЛИ МАЛЕНЬКИМИ



МЕДАЛЯМИ...»



Открываю по утрам свой почтовый ящик...

Моя личная почта все больше напоминает почту военкомата или музея: «Привет от летчиц авиаполка Марины Расковой», «Пишу Вам по поручению партизанок бригады “Железняк”», «Поздравляют... минские подпольщицы... Желаем успеха в начатой работе...», «Обращаются рядовые полевого банно-прачечного отряда...». За все время поисков было всего несколько отчаянных отказов: «Нет, это как страшный сон... Не могу! Не буду!». Или: «Не хочу вспоминать! Не хочу! Долго забывала...».

Запомнила еще одно письмо, без обратного адреса:

«Мой муж, кавалер орденов Славы, после войны получил десять лет лагерей... Так родина встречала своих героев. Победителей! Написал в письме своему товарищу по университету, что ему трудно гордиться нашей победой — свою и чужую землю завалили русскими трупами. Залили кровью. Его тут же арестовали... Сняли погоны...

Вернулся из Казахстана после смерти Сталина... Больной. Детей у нас нет. Мне не надо вспоминать о войне, я воюю всю жизнь...»

Написать свои воспоминания решаются не все, да и не у всех получается — доверить бумаге свои чувства и мысли. «Слезы мешают...» (А. Буракова, сержант, ра-

дистка). И переписка, против ожидания, дает только адреса и новые имена.

«Металла во мне хватает... Осколок от ранения под Витебском ношу в легком в трех сантиметрах от сердца. Второй осколок — в правом легком. Два — в области живота...

Вот мой адрес... Приезжайте. Не могу дальше писать, ничего не вижу из-за слез...»

*В. Громова,
санинструктор*

«Наград больших не имею, одни медали. Не знаю, будет ли интересна вам моя жизнь, но хотелось бы кому-нибудь ее рассказать...»

*В. Воронова,
телефонистка*

«...Жили мы с мужем на Крайнем Севере, в Магадане. Муж работал шофером, я — контролером. Как только началась война, мы оба попросились на фронт. Нам ответили, что работайте там, где вы нужны. Тогда мы послали телеграмму на имя товарища Сталина, что внесим пятьдесят тысяч рублей (по тем временам большие деньги, это все, что у нас было) на построение танка и желаем вдвоем идти на фронт. Нам пришла благодарность от правительства. И в сорок третьем году меня с мужем направили в Челябинское танко-техническое училище, которое мы окончили экстерном.

Там же получили танк. Мы оба были старшими механиками-водителями, а в танке должен быть только один механик-водитель. Командование решило назначить меня командиром танка "ИС-122", а мужа — старшим механиком-водителем. И так мы дошли до Германии. Оба ранены. Имеем награды.

Было немало девушек-танкисток на средних танках, а вот на тяжелом — я одна. Иногда думаю: записать бы

кому-нибудь из писателей мою жизнь. Сама я не умею, как следует...»

А. Бойко, младший лейтенант, танкист

«Сорок второй год... Меня назначили командиром дивизиона. Комиссар полка предупредил: “Учтите, капитан: вы принимаете не обычный, а “девичий” дивизион. В нем половина состава девушки, и они требуют особого подхода, особого внимания и заботы”. Я, конечно, знал, что в армии служат девушки, но плохо себе это представлял. Мы, кадровые офицеры, несколько настороженно наблюдали, как “слабый пол” овладевает военным делом, которое испокон веков считалось мужским. Ну, скажем, медицинские сестры — это привычно. Они хорошо себя зарекомендовали еще в первую мировую войну, затем в гражданскую. А что будут делать девушки в зенитной артиллерии, где надо таскать пудовые снаряды? Как разместить их на батарее, где всего одна землянка, а в состав расчетов входят и мужчины? Им придется часами сидеть на приборах, а те железные, сиденья на орудиях тоже железные, а это же девушки, им нельзя. Где они будут, наконец, мыть и сушить волосы? Возникла масса вопросов, такое это было необычное дело...

Стал ходить на батареи, присматриваться. Признаюсь, что малость не по себе было: девушка на посту с винтовкой, девушка на вышке с биноклем — я ведь с передовой пришел, с фронта. И такие разные они — застенчивые, боязливые, жеманные и решительные, с огоньком. Подчиняться военной дисциплине умеют не все, женская натура противится армейскому порядку. То она забыла, что ей приказано было сделать, то получила из дому письмо и все утро проплакала. Накажешь, а другой раз отменишь наказание — жалко. Мысли были такие: “Пропал я с этим народом!”. Но скоро мне пришлось отказаться от всех своих сомнений. Девушки стали настоящими солдатами. Прошли

мы с ними жестокий путь. Приезжайте. Будем долго говорить...»

*И.А. Левицкий,
бывший командир пятого дивизиона
семьсот восемьдесят четвертого
зенитно-артиллерийского полка*

Адреса самые разные — Москва, Киев, город Апшеронск Краснодарского края, Витебск, Волгоград, Ялуторовск, Суздаль, Галич, Смоленск... Как охватить? Страна огромная. И тут на помощь приходит случай. Неожиданная подсказка. В один из дней почта приносит приглашение от ветеранов шестьдесят пятой армии генерала П. И. Батова: «Собираемся мы обычно шестнадцатого-семнадцатого мая в Москве на Красной площади. И традиция, и обряд. Приезжают все, кто еще в силах. Едут из Мурманска и Караганды, из Алма-Аты и Омска. Отовсюду. Со всей нашей необъятной Родины... Одним словом, ждем...»

...Гостиница «Москва». Месяц май — месяц Победы. Везде обнимаются, плачут, фотографируются. Не разобрать, где цветы, прижатые к груди, а где ордена и медали. Я вхожу в этот поток, он поднимает и несет меня, тянет за собой неудержимо, и скоро я оказываюсь почти в незнакомом мире. На незнакомом острове. Среди людей, которых узнаю и не узнаю, но одно знаю — я их люблю. Обычно они затеряны среди нас и незаметны, потому что уже уходят, их становится все меньше и меньше, а нас больше, но один раз в году они собираются вместе, чтобы хотя бы на миг уйти в свое время. А их время — это их воспоминания.

На седьмом этаже в пятьдесят второй комнате собрался госпиталь пять тысяч двести пятьдесят седьмой. Во главе стола Александра Ивановна Зайцева, военный врач, капитан. Обрадовалась мне и охотно знакомит со всеми, как будто мы с ней давно знаем друг друга. А я совершенно случайно постучала в эту дверь. Наугад.

Записываю: Галина Ивановна Сазонова, хирург, Елизавета Михайловна Айзенштейн, врач, Валентина Васильевна Лукина, хирургическая медсестра, Анна Игнатьевна Горелик, старшая операционная сестра, и медсестры Надежда Федоровна Потужная, Клавдия Прохорова Бородулина, Елена Павловна Яковлева, Ангелина Николаевна Тимофеева, Софья Камалдиновна Мотренко, Тамара Дмитриевна Морозова, Софья Филимоновна Семенюк, Лариса Тихоновна Дейкун.

О куклах и винтовках

«Эх-эх, девоньки, какая она подлая эта война... Посмотришь на нее нашими глазами. Бабьими... Так она страшнее страшного. Поэтому нас и не спрашивают...»

«Помните, девчата: едем в теплушках... И солдаты смеются, как мы держим винтовки. Держим не так, как оружие держат, а вот так... Сейчас даже и не покажу... Как кукол держим...»

«Люди плачут, кричат... Я слышу слово: “Война!”. И думаю: “Какая война, если у нас завтра в институте экзамен? Экзамен — это так важно. Какая может быть война?»

А через неделю начались бомбежки, мы уже спасали людей. Три курса мединститута — это уже что-то в такое время. Но в первые дни я столько увидела крови, что начала ее бояться. Вот тебе и полврача, вот тебе и “пятерка” по практическим. Но люди вели себя исключительно. И это воодушевляло.

Девочки, я вам рассказывала... Кончилась бомбежка, вижу — земля впереди меня шевелится. Бегу туда и начинаю копать. Руками почувствовала лицо, волосы... Это была женщина... Откопала ее и начала над ней пла-

коть. А она, когда открыла глаза, не спросила, что с ней, она заволновалась:

— Где моя сумочка?

— Что вам сейчас сумочка? Найдется.

— У меня там лежат документы.

Ее мысли были не о том, как она, цела ли, а где ее партбилет и военный билет. Я сразу начала искать ее сумочку. Нашла. Она положила ее себе на грудь и закрыла глаза. Скоро подъехала санитарная машина, и мы ее погрузили. Я еще раз проверила, как ее сумочка.

А вечером прихожу домой, рассказываю маме и говорю, что решила уйти на фронт...»

«Отступали наши... Мы все вышли на дорогу... Проходит мимо пожилой солдат, остановился возле нашей хаты, прямо в ноги кланяется моей матери: “Прости, мать... А девчонку спасай! Ой, спасайте девчонку!”. Мне тогда было шестнадцать лет, у меня коса большая... И вот такие! — ресницы черные...»

«Я помню, как мы ехали на фронт... Полная машина девчонок, большая крытая машина. Была ночь, темно, и ветки стучат по брезенту, и такое напряжение, кажется, что это пули, нас обстреливают... С войной поменялись и слова, и звуки... Война... Эх, да это же теперь всегда рядом! Говоришь “мама”, и это уже совсем другое слово, говоришь “дом”, и это тоже совсем другое слово. Что-то к ним еще добавилось. Добавилось больше любви, больше страха. Что-то еще...»

Но с первого дня я была уверена, что они нас не победят. Такая большая наша страна. Бесконечная...»

«Мамина дочка... Я никогда не выезжала из своего города, не ночевала в чужом доме, и я попала младшим врачом в минометную батарею. Что со мной творилось! Начнут минометы стрелять, я сразу глохну. Меня всю как будто обжигает. Сяду и шепчу: “Мама, мамочка... Мамочка...”. Стояли мы в лесу, утром выйдешь — тихо,

роса висит. Неужели это война? Когда так красиво, когда так хорошо...

Нам сказали одеть все военное, а я метр пятьдесят. Влезла в брюки, и девочки меня наверху ими завязали. И я ходила в своем платье, а от начальства пряталась. Ну, и меня за нарушение военной дисциплины посадили на гауптвахту...»

«Никогда бы не поверила... Я не знала о себе, что смогу спать на ходу. Идешь в строю и спишь, натолкнешься на впереди идущего, проснешься на секунду, дальше спишь. Солдатский сон всюду сладкий. А однажды в темноте меня не вперед, а в сторону качнуло, я и пошла по полю, иду и сплю. Пока в какую-то канаву не упала, тогда проснулась — и бегом догонять своих.

Солдаты сядут на привале — одна самокрутка на троих. Пока первый курит, второй и третий спят. Даже похрапывают...»

«Не забуду: привезли раненого, сняли с носилок... Кто-то взял его руку: “Нет, он мертвый”. Отошли. И тут раненый вздохнул. Я встала на колени перед ним, когда он вздохнул. Реву и кричу: “Врача! Врача!”. Врача поднимают, трясут, а он опять падает, как сноп, так крепко спит. Не смогли его разбудить даже нашатырем. Он перед этим трое суток не спал.

А какие тяжелые раненые зимой... Задубевшие гимнастерки — от крови и снежной воды, кирзовые сапоги в крови со льдом — не разрезать. Все они холодные, как мертвецы.

В окно посмотришь — зима и красота неопишная. Волшебные белые ели. На секунду все забудешь... И снова...»

«Это был лыжный батальон... Там одни десятиклассники... Их из пулемета построчили... Его такого привозят, он плачет. И мы их возраста, но уже старше себя чув-

ствовали. Обнимешь его: “Дитя милое”. А он: “Побывала бы ты там, не сказала бы тогда — дитя”. Он умирает и кричит всю ночь: “Мама! Мама!”. Там было курских два парня, мы их звали “курские соловьи”. Придешь будить, он спит, у него слюна на губах. Совсем махонькие...»

«Сутками стояли у операционного стола... Стоишь, а руки сами падают. Бывает, уткнешься головой прямо в оперируемого. Спать! Спать! Спать! У нас отекали ноги, не вмещались в кирзовые сапоги. До того глаза устанут, что трудно их закрыть...

У моей войны три запаха: крови, хлороформа и йода...»

«О-ох! А раны... Обширные, глубокие, рваные... Можно было сойти с ума... Осколки от пуль, гранат, снарядов в голове, в кишках — во всем теле, вместе с металлом вынимаем из тела солдатские пуговицы, куски шинели, гимнастерки, кожаных ремней. У одного солдата вся грудь разворочена, сердце видно... Еще бьется, но он умирает... Делаю последнюю перевязку и еле держусь, чтобы не заплакать. Скорей, думаю, кончить и где-нибудь забиться в угол и нареветься. А он мне: “Спасибо, сестричка...” и протягивает в руке что-то маленькое, металлическое. Я разглядела: скрещенные сабля и ружье. “Зачем отдаешь?” — спрашиваю. — “Мама сказала, что этот талисман спасет меня. Но он мне уже не нужен. Может, ты счастливее меня?” — сказал так и отвернулся к стенке.

К вечеру кровь в волосах, пробивается через халат к телу, она на шапочках и масках. Черная, тягучая, смешанная со всем, что есть в человеке. С мочой, с калом...

А в другой раз позовет кто-нибудь: “Сестричка, у меня нога заболела”. А ноги нет... Больше всего боялась носить мертвых, ветерок подымет простыню, и он на

тебя смотрит. Не могла нести, если был с открытыми глазами, возьму и прикрою...»

«Привезли раненого... Лежит на носилках полностью забинтованный, у него было ранение в голову, он чуть только виден. Немножко. Но, видно, я ему кого-то напомнила, он ко мне обращается: “Лариса... Лариса... Лорочка...”. По всей видимости, девушку, которую он любил. А это — мое имя, но я знаю, что никогда этого человека не встречала, а он зовет меня. Я подошла, никак не пойму, все присматриваюсь. “Ты пришла? Ты пришла?” Я за руку его взяла, нагнулась... “Я знал, что ты придешь...” Он что-то шепчет, но я не понимаю, что он шепчет. И сейчас не могу спокойно рассказывать, как вспомню этот случай, слезы пробиваются. “Я, — говорит, — когда уходил на фронт, не успел тебя поцеловать. Поцелуй меня...”

И я наклонилась над ним и поцеловала. У него слеза выскочила и поплыла в бинты, спряталась. И все. Он умер....»

О смерти и удивлении перед смертью

«Люди не хотели умирать... Мы на каждый стон отзывались, на каждый крик. Меня один раненый, как почувствовал, что умирает, вот так за плечо обхватил, обнял и не отпускает. Ему казалось, что если кто-то возле него рядом, если сестра рядом, то от него жизнь не уйдет. Он просил: “Еще бы пять минуток пожить. Еще бы две минутки...”. Одни умирали неслышно, потихоньку, другие кричали: “Не хочу умирать!”. Ругались: мать твою... Один вдруг запел... Запел молдавскую песню... Человек умирает, но все равно не думает, не верит, что он умирает. А ты видишь, как из-под волос идет желтый-желтый цвет, как тень сначала движется по лицу, потом под одежду... Он лежит мертвый, и на лице какое-то удивле-

ние, будто он лежит и думает: как это я умер? Неужели я умер?

Пока он слышит... До последнего момента говоришь ему, что нет-нет, разве можно умереть. Целуешь его, обнимаешь: что ты, что ты? Он уже мертвый, глаза в потолок, а я ему что-то еще шепчу... Успокаиваю... Фамилии вот стерлись, ушли из памяти, а лица остались...»

«Несут раненых... Они плачут... Плачут не от боли, а от бессилия. Первый день, как их привезли на фронт, некоторые ни разу не выстрелили. Им не успели выдать винтовки, потому что оружие в первые годы было на вес золота. А у немцев танки, минометы, авиация. Товарищи падали, они подбирали их винтовки. Гранаты. С голыми руками пошли в бой... Как в драку...

И наскочили сразу на танки...»

«Когда они умирали... Как они смотрели... Как они...»

«Мой первый раненый... Пуля попала ему в горло, он жил еще несколько дней, но ничего не говорил...

Отрезают руку или ногу, крови нет... А есть белое чистое мясо, кровь потом. Я и сейчас не могу разделять курицу, если белое чистое мясо. У меня солено-солено во рту делается...»

«В плен военных женщин немцы не брали... Сразу расстреливали. Или водили перед строем своих солдат и показывали: вот, мол, не женщины, а уроды. И мы всегда два патрона для себя держали, два — на случай осечки.

У нас попала в плен медсестра... Через день, когда мы отбили ту деревню, везде валялись мертвые лошади, мотоциклы, бронетранспортеры. Нашли ее: глаза выколоты, грудь отрезана... Ее посадили на кол... Мороз, и она белая-белая, и волосы все седые. Ей было девятнадцать лет.

В рюкзаке у нее мы нашли письма из дома и резиновую зеленую птичку. Детскую игрушку...»

«Мы отступаем... Нас бомбят. Первый год отступали и отступали. Фашистские самолеты летали близко-близко, гонялись за каждым человеком. А всегда кажется — за тобой. Я бегу... Я вижу и слышу, что самолет направляется на меня... Вижу летчика, его лицо, и он видит, что девчонки... Санитарный обоз... Строчит вдоль повозок, и еще улыбается. Он забавлялся... Такая дерзкая, страшная улыбка... И красивое лицо...

Я не выдерживаю... Я кричу... Бегу в кукурузу — он туда, я к лесу — он меня прижимает к земле. Уже — кусты... Вскочила в лес, в какие-то старые листья. У меня течет кровь из носа от страха, не знаю: жива я или не жива? Да нет, жива... С того времени очень боялась самолетов. Он еще где-то, а я уже боюсь, я уже ни о чем не думаю, а одно только, что он летит, где мне спрятаться, куда мне забиться, чтобы не видеть и не слышать. И до сих пор звука самолета не переношу. Не летаю...»

«Эх-эх, девоньки...»

«Перед войной я собиралась замуж... За своего учителя музыки. Сумасшедшая история. Я серьезно влюбилась... И он... Но мама не пустила: “Малая еще!”.

Скоро началась война. Я попросилась на фронт. Хотела уехать из дому, стать взрослой. Дома плакали и собирали меня в дорогу. Теплые носки, белье...

Первого убитого я увидела в первый день... Случайно во двор школы, где расположился госпиталь, залетел осколок и смертельно ранил нашего фельдшера. И я подумала: для замужества, мама решила, я маленькая, а для войны нет... Моя любимая мама...»

«Только остановимся... Поставим госпиталь, загрузят нас ранеными, и тут — приказ: эвакуироваться. Ране-

ных кого погрузим, а кого — нет. Не хватает машин. Нас торопят: “Оставляйте. Уходите сами”. Ты собираешься, они на тебя смотрят. Провожают глазами. В их взглядах все: смирение, обида... Просят: “Братцы! Сестрички! Не оставляйте нас немцам. Пристрелите”. Такая печаль! Такая печаль!! Кто может подняться, тот идет с нами. Не может — лежит. И ты никому из них уже не в силах помочь, боишься глаза поднять... Молодая была, плачу-плачу...

Когда уже наступали, мы ни одного нашего раненого не оставляли. Даже немецких раненых подбирали. И я одно время с ними работала. Привыкну, перевязываю, как будто ничего. А как вспомню сорок первый год, как своих раненых оставляли и что они с ними... Как они с ними... Мы видели... Кажется, ни к одному больше не подойду... А завтра иду и перевязываю...»

«Мы спасали... Но многие жалели, что они медики и могут только перевязывать, а не идут с оружием. Не стреляют. Я помню... Я помню это чувство. Помню, что на снегу запах крови особенно сильный... Убитые... Они лежали на полях. Птицы повытягивали им глаза, поклевали лицо, руки. Ой, невозможная жизнь...»

«В конце войны... Я боялась писать домой письма. Не буду, думаю, писать, а то вдруг меня убьют, и мама будет плакать, что война кончилась, а я погибла перед самой Победой. Никто об этом не говорил, но все об этом думали. Уже мы чувствовали, что скоро победим. Уже весна началась.

Я вдруг увидела, что небо синее...»

«Что мне запомнилось... Что врезалось в память? Это тишина, необыкновенная тишина в палатах, где лежали тяжелые раненые... Самые тяжелые... Они не говорили между собой. Никого не звали. Многие в беспамятстве.

А чаще лежит и молчит. Думает. Куда-то в сторону смотрит и думает. Окликнешь — не слышит.

О чем они думали?»

О лошадях и птицах

«А мы ехали, ехали...

Стоят на станции рядом два состава... Один с ранеными и другой — с лошадьми. И вот началась бомбежка. Составы загорелись... Мы стали открывать двери, спасать раненых, чтобы они уходили, а они все бросились спасать горящих лошадей. Когда раненые люди кричат, страшно, но нет ничего страшнее, когда ржут раненые лошади. Они же ни в чем не виноваты, они за людские дела не отвечают. И никто не побежал в лес, а все бросились спасать лошадей. Все, кто мог. Все!

Я хочу сказать... Я хочу сказать, что фашистские самолеты летали рядом с землей. Низко — низко. Я потом думала: немецкие летчики все видели, неужели им не было стыдно? Что они думали...»

«Я помню один случай... Пришли мы в поселок, а там возле леса лежат убитые партизаны. Как над ними издевались, я пересказать не смогу, сердце не выдержит. Их резали по кусочкам... Кишки выпотрошили, как у свиней... Они лежат... А недалеко лошади пасутся. Видно, лошади партизанские, даже с седлами. Или они удрали от немцев и вернулись, или их не успели забрать, — непонятно. Они далеко не отошли. Травы много. И тоже мысль: как это люди такое при лошадях творили? При животных. Лошади на них смотрели...»

«Горело поле и лес... Дымил луг. Я видела сгоревших коров и собак... Запах непривычный. Незнакомый. Я видела... Сгоревшие бочки с помидорами, с капустой. Птицы горели. Кони... Много... Много всего черного

валялось на дорогах. К этому запаху тоже надо было привыкнуть...

Я тогда поняла, что гореть может все... Даже кровь горит...»

«Во время бомбежки прибилась к нам коза. С нами легла. Просто рядом легла и кричит. Перестали бомбить, она с нами идет и все жметя к людям, ну, живое, тоже боится. Дошли до какой-то деревни и говорим одной женщине: “Возьмите, жалко”. Хотелось спасти...»

«В моей палате лежали двое... Лежали — немец и наш обожженный танкист. Я захожу к ним:

— Как себя чувствуете?

— Я хорошо, — отвечает наш танкист. — А этот плохо.

— Это же фашист...

— Нет, я ничего, а ему плохо.

Уже они не враги, а люди, просто два раненых человека рядом лежат. Между ними появляется человеческое. Не раз наблюдала, как это быстро происходило...»

«Это как же... Ну, как... Помните... Летят поздней осенью птицы... Длинные-длинные стаи. Артиллерия наша и немецкая бьет, а они летят. Как им крикнуть? Как их предупредить: “Сюда нельзя! Тут стреляют!”. Как?! Птицы падают, падают на землю...»

«А нам привезли на перевязку эсэсовцев... Эсэсовских офицеров. Подходит ко мне сестричка:

— Как мы их будем перевязывать? Рвать или нормально?

— Нормально. Это раненые...

И мы их перевязывали нормально. Двое потом убежали. Их поймали, и чтобы они не убежали еще раз, я им пуговицы срезала на кальсонах...»

«Когда мне сказали... Вот эти слова: “Кончилась война!..” Я взяла и села на стерильный стол. Мы с врачом

договорились, что, когда объявят: “Кончилась война!”, мы сядем на стерильный стол. Что-то такое сделаем, невероятное. Я же никого не подпускала к столу, не подпускала на пушечный выстрел. У меня перчатки, я в маске, на мне стерильный халат, и я сама подавала всем, что надо: тампоны, инструменты... А тут взяла и села на этот стол...

О чем мы мечтали? Первое, конечно, — победить, второе — остаться живыми. Одна — “Кончится война, и я нарожаю кучу детей”, другая — “Я поступлю в институт”, а кто-то — “А я из парикмахерской не буду вылезать. Стану красиво наряжаться, за собой смотреть”. Или: “Куплю красивые духи. Шарфик куплю и брошечку”.

И вот это время наступило. Все вдруг притихли...»

«Отбили деревню... Ищем, где набрать воды. Вошли во двор, в котором заметили колодезный журавль. Резной деревянный колодец... Лежит во дворе расстрелянный хозяин... А возле него сидит его собака. Увидела нас, начала поскуливать. Не сразу до нас дошло, а она звала. Повела нас в хату... Пошли за ней. На пороге лежит жена и трое деток...

Собака села возле них и плачет. По-настоящему плачет. По-человечески...»

«Мы входили в наши села... Там одни печи стояли — и все. Одни печи! На Украине мы освобождали места, где ничего не осталось, одни арбузы росли, люди ели только эти арбузы, и больше ничего у них не было. Они встречали нас и несли арбузы... Вместо цветов...

Я вернулась домой. В землянке — мать, трое детей, собачонка у нас вареную лебеду ела. Наварят лебеды, сами едят, дадут этой собачонке. И она ела... У нас до войны столько соловьев было, а после войны два года их никто не слышал, вся земля была перевернута, под-

няли, как говорится, дедовский навоз. Перепахали. Соловьи на третий год только появились. Где они были? Никто не знает. На свои места они вернулись через три года.

Люди дома поставили, тогда соловьи прилетели...»

«Как увижу полевые цветы — войну вспоминаю. Тогда мы цветов не рвали. А если собирали букеты, то только тогда, когда хоронили... Когда прощались...»

«Эх-эх, девоньки, какая она подлая... Эта война... Помянем наших подруг...»

«ЭТО БЫЛА НЕ Я...»



Что больше всего запоминается?

Запоминается тихий, часто недоумевающий голос человека. Человек испытывает удивление перед самим собой, перед тем, что с ним было. Прошлое исчезло, ослепило горячим вихрем и скрылось, а он остался. Остался среди обычной жизни. Все вокруг обыкновенно, кроме его памяти. И я тоже становлюсь свидетелем. Свидетелем того, что люди вспоминают и как вспоминают, о чем хотят говорить, а что пытаются забыть или отодвинуть в самый дальний угол памяти. Зашторить. Как они отчаиваются в поисках слов, но хотят восстановить исчезнувшее в надежде, что на расстоянии смогут обрести его полный смысл. Увидеть и понять то, что не увидели и не поняли тогда. Там. Разглядывают сами себя, встречаются наново с собой. Чаще всего это уже два человека — тот человек и этот, молодой и старый. Человек на войне и человек после войны. Давно после войны. Меня все время не покидает чувство, что я слышу одновременно два голоса...

Там же, в Москве, в День Победы, я встретила Ольгу Яковлевну Омельченко. Все женщины были в весенних платьях, светлых косынках, а она — в военной форме и военном берете. Высокая, сильная. Не говорила и не плакала. Все время молчала, но это было какое-то особое молчание, в нем подозревалось больше сказанного, чем в словах. Она как будто все время говорила сама с собой. Никто ей уже не был нужен.

Мы познакомились, а потом я приехала к ней в Полоцк.

Передо мной развернулась еще одна страница войны, перед которой присмирет любая фантазия...

Ольга Яковлевна Омельченко, санинструктор
стрелковой роты:

«Мамин талисман... Мама хотела, чтобы я эвакуировалась вместе с ней, она знала, что я рвусь на фронт, и привязала меня к подводе, на которой везли наши вещи. Но я тихонько отвязалась и ушла, обрывок этой веревки у меня на руке и остался...

Все едут... Бегут... Куда деться? И как добраться до фронта? В дороге встретила с группой девушек. Одна из них говорит: «Тут моя мама рядом, пойдем ко мне». Пришли мы ночью, постучали. Открывает ее мать, как глянула на нас, а мы грязные, оборванные, — приказала: «Стойте на пороге». Мы стоим. Она притащила огромные чугуны, с нас все снимала. Вымыли мы головы золой (мыла уже не было) и полезли на печку, и я сильно уснула. Утром мать этой девушки сварила щи, хлеб испекла из отрубей с картошкой. Каким вкусным показался нам этот хлеб и щи такими сладкими! И так пробыли мы там четыре дня, она нас подкармливала. Давала понемножку, а то, боялась, объедемся и умрем. На пятый день она нам сказала: «Идите». А перед этим пришла соседка, мы сидели на печке. Мать показала нам пальцем, чтобы молчали. Даже соседям она не призналась, что дочь дома, все знали — дочь ее на фронте. А эта девочка у нее одна-единственная, и она ее не жалела, не могла простить позора, что та вернулась. Не воюет.

Ночью она нас подняла, дала узелки с едой. Обняла каждую и каждой сказала: «Идите...».

— И даже не пыталась удержать свою дочь?

— Нет, она ее поцеловала со словами: “Отец воюет, и ты иди воюй”.

Уже по дороге эта девушка мне рассказала, что она медсестра, попала в окружение...

Долго меня мотало по разным местам, и наконец попала я в город Тамбов, устроилась в госпиталь. В госпитале было хорошо, я после голодовки поправилась, такая полненькая стала. И вот когда мне исполнилось шестнадцать лет, мне сказали, что я могу, как и все медсестры, врачи, сдавать кровь. Начала я сдавать кровь каждый месяц. В госпитале постоянно требовались сотни литров, не хватало. Сдавала сразу по пятьсот кубиков, по поллитра крови два раза в месяц. Получала донорский паек: килограмм сахара, килограмм манки, килограмм колбасы, чтобы восстановить силы. Я дружила с нянечкой тетей Нюрой, у нее было семь детей, а муж погиб в начале войны. Старший мальчик, которому одиннадцать лет, пошел за продуктами и потерял карточки, так я свой донорский паек отдавала им. Один раз врач мне говорит: “Давай напишем твой адрес, вдруг объявится тот, кому вольют твою кровь”. Мы написали адрес и пристегнули эту бумажку к бутылочке.

И вот через какое-то время, месяца два прошло, не больше, я сменилась после дежурства и пошла, спать легла. Тормошат меня:

— Вставай! Вставай, к тебе брат приехал.

— Какой брат? Нет у меня брата.

Наше общежитие было на последнем этаже, я спустилась вниз, смотрю: стоит лейтенант молодой, красивый. Спрашиваю:

— Кто тут звал Омельченко?

Он отвечает:

— Я звал. — И показывает мне записку, которую мы с врачом написали. — Вот... Я твой брат по крови...

Привез мне два яблока, кулечек конфет, тогда конфет нигде невозможно купить. Боже! Какие это были вкусные конфеты! Пошла к начальнику госпиталя: “Брат

приехал!”. Пустили меня в увольнение. Он пригласил: “Пойдем в театр”. А я еще ни разу в жизни не была в театре, а тут в театр да еще с парнем. Парень красивый. Офицер!

Через несколько дней он уезжал, у него было направление на Воронежский фронт. Когда он пришел попрощаться, я открыла окно и помахала ему рукой. В увольнение меня не пустили: как раз привезли много раненых.

Ни от кого писем не получала, даже не имела представления, что это такое — получить письмо. И вдруг мне вручают треугольничек, распечатала, а там написано: “Ваш друг, командир пулеметного взвода... погиб смертью храбрых...”. Это тот, мой брат по крови. Он сам детдомовский, и, видимо, единственный адрес, который у него был, — это мой. Мой адрес... Уезжая, он очень просил, чтобы я оставалась в этом госпитале, после войны ему легче будет меня найти. “На войне, — боялся, — легко потеряться”. И через месяц я получаю вот это письмо, что он погиб... И мне так стало страшно. Меня ударило в сердце... Я решила всеми силами уйти на фронт и отомстить за свою кровь, я знала, что где-то пролилась моя кровь...

Но на фронт уйти не так просто. Три рапорта написала начальнику госпиталя, а на четвертый раз пришла к нему на прием:

— Если вы меня не отпустите на фронт, то я убегу.

— Ну, хорошо. Я тебе дам направление, раз ты такая упрямая.

Самое страшное, конечно, первый бой. Ну, потому, что еще ничего не знаешь... Небо гудит, земля гудит, кажется, сердце разорвется, кожа на тебе вот-вот лопнет. Не думала, что земля может трещать. Все трещало, все гремело. Колыхалось... Вся земля... Я просто не могла... Как мне все это пережить... Я думала, что не выдержку. Мне так сильно страшно стало, и вот я решила: чтобы не струсить, достала свой комсомоль-

ский билет, макнула в кровь раненого и положила себе в карманчик возле сердца, застегнула. И вот этим самым я дала себе клятву, что должна выдержать, самое главное — не струсить, потому что если я струшу в первом бою, то уже дальше не ступлю и шага. Меня заберут с передовой, отправят в медсанбат. А я хотела быть только на передовой, я хотела когда-нибудь увидеть хотя бы одного фашиста в лицо... Лично... И мы наступали, шли по траве, а трава выросла в пояс. Там уже несколько лет не сеяли. Идти было очень тяжело. Это на Курской дуге...

После боя вызвал меня начальник штаба. Какая-то избенка разрушенная, там ничего нет. Стоит один стул, и он стоит. Посадил меня на этот стул:

— Ну вот смотрю я на тебя и думаю: что заставило тебя пойти в это пекло? Убьют, как муху. Ведь это же война! Мясорубка! Давай переведу хотя бы в санчасть. Ну, хорошо, если убьют, а если останешься без глаз, без рук? Ты подумала об этом?

А я отвечаю:

— Товарищ полковник, я подумала. И об одном прошу: не трогайте меня из роты.

— Ладно, иди! — как крикнет на меня, я даже испугалась. И отвернулся к окну...

Бои тяжелые. В рукопашной была... Это ужас... Это не для человека... Бьют, колют штыком, душат за горло друг друга. Ломают кости. Вой стоит, крик. Стон. И этот хруст... Этот хруст! Его не забыть. Хруст костей... Ты слышишь, как череп трещит. Раскалывается... Для войны это и то кошмар, ничего человеческого там нет. Никому не поверю, если скажет, что на войне не страшно. Вот немцы поднялись и идут, они идут всегда с закатанными по локоть рукавами, еще пять-десять минут и атака. Тебя начинает трясти. Озноб. Но это до первого выстрела... А там... Как услышишь команду, уже ничего не помнишь, вместе со всеми поднимаешься и бежишь. И уже не думаешь о страхе. А вот на второй день ты уже

не спишь, тебе уже страшно. Все вспоминаешь, все подробности, и до твоего сознания доходит, что тебя могли убить, и становится безумно страшно. Сразу после атаки лучше не смотреть на лица, это какие-то совсем другие лица, не такие, как обычно у людей. Они и сами не могут друг на друга глаза поднять. Даже на деревья не смотрят. Подойдешь к нему, а он: “Ух-ходи! Ух...”. Я не могу выразить, что это такое. Кажется, что все немножко ненормальные, и даже что-то звериное мелькает. Лучше не видеть. Я до сих пор не верю, что живая осталась. Живая... И раненая, и контуженая, но целая, не верю...

Глаза закрою, все снова перед собой вижу...

Снаряд попал в склад с боеприпасами, вспыхнул огонь. Солдат стоял рядом, охранял, его опалило. Это уже был черный кусок мяса.... Он только прыгает... Подскакивает на одном месте... А все смотрят из окопчиков, и никто с места не сдвинется, все растерялись. Схватила я простыню, подбежала, накрыла этого солдата и сразу легла на него. Прижала к земле. Земля холодная... Вот так... Он кидался, пока не разорвалось сердце, и затих...

Я в крови вся... Кто-то из старых солдат подошел, обнял, слышу — говорит: “Кончится война, и если она останется жива, из нее человека все равно уже не будет, ей теперь все”. Мол, что я среди такого ужаса, и пережить его, да еще в таком молодом возрасте! Меня трясло, как в припадке, отвели под руки в землянку. Ноги не держали... Трясло, будто через меня ток пропустили... Непередаваемое чувство...

А тут снова бой начался... Под Севском немцы атаковали нас по семь-восемь раз в день. И я еще в этот день выносила раненых с их оружием. К последнему подползла, а у него рука совсем перебита. Болтается на кусочках... На жилах... В кровище весь... Ему нужно срочно отрезать руку, чтобы перевязать. Иначе никак. А у меня нет ни ножа, ни ножниц. Сумка телепалась-

телепалась на боку, и они выпали. Что делать? И я зубами грызла эту мякоть. Перегрызла, забинтовала... Бинтую, а раненый: "Скорей, сестра. Я еще повоюю". В горячке...

Через несколько дней, когда на нас пошли танки, двое струсили. Они побежали... И вся цепь дрогнула... Погибло много наших товарищей. Раненые, которых я стащила в воронку, попали в плен. За ними должна была прийти машина... А когда эти двое струсили, началась паника. И раненых бросили. Мы пришли потом на то место, где они лежали: кто с выколотыми глазами, кто с животом распоротым... Я, как это увидела, за ночь почернела. Это же я их в одно место собрала... Я... Мне так сильно страшно стало...

Утром построили весь батальон, вывели этих трусов, поставили впереди. Зачитали, что расстрел им. И надо семь человек, чтобы привести приговор в исполнение. Три человека вышли, остальные стоят. Я взяла автомат и вышла. Как я вышла... Девчонка... Все за мной... Нельзя было их простить. Из-за них такие ребята погибли!

И мы привели приговор в исполнение... Опустила автомат, и мне стало страшно. Подошла к ним... Они лежали... У одного на лице живая улыбка...

Не знаю, простила бы я их сейчас? Не скажу... Не буду говорить неправду. В другой раз хочу поплакать. Не получается...

Я на войне все забыла. Свою прежнюю жизнь. Все... И любовь забыла...

Влюбился в меня командир роты разведчиков. Записочки через своих солдат пересылал. Я пришла к нему один раз на свидание. "Нет, — говорю. — Я люблю человека, которого уже давно нет в живых". Он вот так близко ко мне придвинулся, прямо в глаза посмотрел, развернулся и пошел. Стреляли, а он шел и даже не пригибался... Потом — это уже на Украине было — освободили мы большое село. Я думаю: "Дай пройду, посмо-

трю”. Погода стояла светлая, хатки белые. И за селом — могилки, земля свежая... Тех, кто в бою за это село погиб, там похоронили. Сама не знаю, ну как потянуло меня. А там фотография на дощечке и фамилия. На каждой могилке... И вдруг смотрю — знакомое лицо... Командир роты разведчиков, который мне в любви признался. И фамилия его... И так мне не по себе стало. Страх такой силы... Будто он меня видит, будто он живой... В это время идут к могиле его ребята, из его роты. Они все меня знали, они записочки мне носили. Ни один на меня не посмотрел, как будто меня не было. Я — невидимая. Потом, когда я их встречала, мне кажется... Вот я так думаю... Они хотели, чтобы и я погибла. Им тяжело было видеть, что я... живая... Вот я чувствовала... Будто я перед ними виновата...И перед ним...

Вернулась я с войны и тяжело заболела. Долго по больницам скиталась, пока не попала к старому профессору. Он стал меня лечить... Лечил меня больше словами, чем лекарствами, он объяснил мне мою болезнь. Говорил, что если бы я ушла на фронт в восемнадцать-девятнадцать лет, организм был бы окрепший, а так как я попала в шестнадцать — это очень ранний возраст — меня сильно травмировало. “Конечно, лекарство — это одно, — объяснял он, — можно подлечиться, но, если хотите восстановить здоровье, хотите жить, мой единственный совет: нужно выйти замуж и как можно больше иметь детей. Только это может спасти. С каждым ребенком организм будет возрождаться”.

— А сколько вам было лет?

— Как кончилась война, шел двадцатый год. Конечно, я и замуж-то не думала выходить.

— Почему?

— Я чувствовала себя очень уставшей, намного старше своих сверстников, даже старой. Подружки танцуют, веселятся, а я не могу, я смотрела на жизнь старыми глазами. Из другого мира... Старуха! За мной молодые ре-

бята ухаживали. Пацаны. Но они не видели мою душу, что там внутри у меня творится. Вот я вам рассказала один день... О боях под Севском. Всего один день... После которого ночью из ушей у меня хлынула кровь. Утром проснулась, как после тяжелой болезни. Подушка в крови...

А в госпитале? У нас стояло за ширмой в операционной большое корыто, куда мы складывали отрезанные руки, ноги... С передовой приехал капитан, привез своего раненого товарища. Как он там оказался, не знаю, но он увидел это корыто и... упал в обморок.

Могу вспоминать и вспоминать. Не остановиться... А что самое главное?

Я помню звуки войны. Все вокруг гудит, лязгает, трещит от огня... У человека на войне стареет душа. После войны я уже никогда не была молодой... Вот — главное. Моя мысль...

— Замуж вышли?

— Вышла замуж. Родила и воспитала пятерых сыновей. Пятерых мальчиков. Девочек Бог не дал. Для меня самое удивительное, что после такого сильного страха и ужаса я смогла родить красивых детей. И хорошая мама оказалась, и хорошая бабушка.

Я теперь вспоминаю все, и мне кажется, что это была не я, а какая-то другая девчонка...»

Я возвращалась домой, везла четыре кассеты (два дня разговора) с «еще одной войной», испытывая разные чувства: потрясение и страх, недоумение и восхищение. Любопытство и растерянность, нежность. Дома пересказывала некоторые эпизоды друзьям. Неожиданно для меня все реагировали одинаково: «Слишком страшно. Как она выдержала? Не сошла с ума?». Или: «Мы привыкли читать о другой войне. На этой войне есть четкая граница: они-мы, добро-зло. А здесь?». Но у всех я замечала слезы на глазах, и все задумывались. Наверное, о том же, о чем и я. Вот уже были на земле ты-

сячи войн (недавно прочла, что их насчитали более трех тысяч — больших и маленьких), но война как была, может быть, одной из главных человеческих тайн, так ею и осталась. Ничего не изменилось. Я пытаюсь большую историю уменьшить до человека, чтобы что-то понять. Обрести слова. Но на этой, казалось бы, уже небольшой и удобной для обзора территории — пространстве одной человеческой души — все еще непонятнее, менее предсказуемо, чем в истории. Потому что передо мной — живые слезы, живые чувства. Живое человеческое лицо, по которому во время разговора пробегают тени боли и страха. Иногда даже закрадывается крамольная догадка о еле уловимой красоте человеческого страдания. Тогда я пугаюсь самой себя...

Путь только один — полюбить человека. Понять его любовью.

«Я ЭТИ ГЛАЗА И СЕЙЧАС ПОМНЮ...»



Поиск продолжается... Но на этот раз мне не надо далеко ехать...

Улица, на которой я живу в Минске, носит имя Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа — участника гражданской войны, героя боев в Испании, партизанского комбрига в Великую Отечественную. Каждый белорус читал книгу о нем, хотя бы в школе, или видел кинофильм. Белорусская легенда. Сотни раз оставляя его имя на конвертах и бланках телеграмм, я никогда не думала о нем как о реальном человеке. Миф уже давно заменил когда-то живого человека. Стал его двойником. Но на этот раз я шла по знакомой улице с новым чувством: полчаса езды на троллейбусе в другой конец города, и я увижу его дочерей — обе они воевали на фронте, — увижу его жену. На моих глазах легенда оживет и превратится в человеческую жизнь, спустится на землю. Большое станет малым. Как бы я ни любила смотреть на небо или на море, все равно больше меня завораживает песчинка под микроскопом. Мир одной капли. Та большая и невероятная жизнь, которую я там открываю. Как назвать малое малым, а большое большим, когда то и другое так бесконечно? Я уже давно их не различаю. Для меня один человек — это так много. В нем есть все — можно затеряться.

Нахожу нужный адрес, это — опять массивная и неуклюжая многоэтажка. Вот и третий подъезд, нажимаю в лифте кнопку седьмого этажа...

Дверь открыла младшая из сестер — Зинаида Васильевна. Те же широкие темные брови и упрямо-открытый взгляд, как и у отца на фотографиях.

— Мы все собрались. Утром сестра Оля приехала из Москвы. Она там живет. Преподает в Университете имени Патриса Лумумбы. И мама наша здесь. Вот, благодаря вам, и встретились.

Обе сестры, Ольга Васильевна и Зинаида Васильевна Корж, были санинструкторами в кавалерийских эскадронах. Сели рядышком и посмотрели на мать — Феодосию Алексеевну.

Она и начала:

— Горит все... Сказали нам эвакуироваться... Долго ехали. Доехали до Сталинградской области. Женщины с детьми в тыл движутся, а мужчины оттуда. Комбайнеры, трактористы, все едут. Целые полуторки. Один, помню, встал с досок и кричит: «Мамаши, сестрички! Уезжайте в тыл, убирайте хлеб, чтобы мы победили врага!». И вот они все свои шапки поснимали и смотрят на нас. А мы — всё, что успели с собой взять, — это своих детей. Держим их. Кто на руках, кто за руки. Он просит: «Мамаши, сестрички! Уезжайте в тыл, убирайте хлеб...».

Больше за все время нашего разговора она не проронит ни слова. А дочки будут иногда тихонько гладить ее руки, успокаивая.

Зинаида Васильевна:

— Жили мы в Пинске... Мне было четырнадцать с половиной лет, Оле — шестнадцать, а брату Лене — тринадцать. Олю мы как раз в эти дни отправили в детский санаторий, а с нами отец хотел ехать в деревню. К его родным... Но в ту ночь он фактически дома не ночевал. Он работал в обкоме партии, ночью его вызвали, а вернулся домой только утром. Забежал на кухню, перекусил что-то и говорит:

— Дети, началась война. Никуда не уходите. Ждите меня.

Ночью мы уезжали. У отца была самая дорогая для него память об Испании — охотничье ружье, очень богатое, с патронташем. Это была награда за храбрость. Он бросил ружье брату:

— Ты самый старший теперь, ты мужчина, должен смотреть маму, сестренку...

Это ружье мы берегли всю войну. Все, что было у нас из хороших вещей, продали или обменяли на хлеб, а ружье сберегли. Не могли с ним расстаться. Это была наша память об отце. Еще он бросил нам на машину большой такой козух, это у него была самая теплая вещь.

На станции пересели на поезд, но не доезжая до Гомеля, попали под сильный обстрел. Команда: «Из вагонов, по кустам — ложись!». Когда обстрел кончился... Сначала тишина, а потом крики... Все бегом... Мама с братишкой успели вскочить в вагон, а я осталась. Очень испугалась... Очень! Я никогда одна не оставалась. А тут — одна. Мне кажется, что я на какое-то время даже потеряла речь... Я онемела... Кто-то у меня что-то спрашивал, а я молчала... Потом прилепилась к какой-то женщине, помогала ей перевязывать раненых — она была врач. Ее называли: «товарищ капитан». И я поехала дальше с ее санитарной частью. Они приласкали, накормили меня, но скоро спохватились:

— А сколько тебе лет?

Я поняла, что если скажу правду, отправят меня в какой-нибудь детский дом. Вот это с ходу сообразила. Ну, а я уже не хотела терять этих сильных людей. Я хотела, как и они, воевать. Нам же все время внушали, и отец говорил, что воевать мы будем на чужой территории, это все временно, война скоро кончится победой. И как это без меня? Такие у меня были детские мысли. Я сказала, что мне шестнадцать лет, и меня оставили. Вскоре отправили на курсы. Месяца четыре я училась на этих

курсах. Училась и все время ухаживала за ранеными. Привыкала к войне... Конечно, надо было привыкать... Училась не в училище, а тут же, в медсанбате. Мы отступали, раненых везли с собой.

Дорогами мы не шли, дороги бомбили, обстреливали. Шли по болотам, по обочинам. Шли вразброд. Разные части. Где-то концентрировались, где-то, значит, давали бои. И вот так шли, шли и шли. По полям шли. Какой там урожай! Шли, рожь топтали. А урожай в тот год был небывалый, хлеба стояли высокие-высокие. Зеленая трава, солнце такое, а убитые лежат, кровь... Убитые люди и животные. Деревья черные... Разрушенные станции... На черных вагонах висят сгоревшие люди... Дошли мы так до Ростова. Там при бомбежке я была ранена. Пришла в сознание в поезде, слышу — пожилой солдат-украинец лает молодого: «Жинка твоя так нэ плакала, когда рожала, как ты плачешь». А мне, когда увидел, что я глаза открыла, говорит: «А ты покричи, милая, покричи. Легче станет. Тебе можно». Я маму вспомнила и заплакала...

После госпиталя мне был положен какой-то отпуск, и я попыталась разыскать свою маму. А мама меня искала, и сестра Оля нас искала. О чудо! Мы нашли все через одних знакомых в Москве. Все на их адрес написали и так нашли. Чудо! Мама жила под Сталинградом в колхозе. И я туда поехала.

Это был конец сорок первого года...

Как они жили? Брат на тракторе работал, еще совсем ребенок, тринадцать лет. Сначала он был прицепщиком, а когда забрали на фронт всех трактористов, стал трактористом. И днем, и ночью работал. Мама шла за трактором или сидела рядом, она боялась, как бы он не заснул и не свалился. Они вдвоем на полу у кого-то спали... Не раздевались, потому что нечем было накрыться. Вот такая их жизнь... Скоро приехала Оля, ее устроили счетоводом. Но она писала в военкомат, просилась на фронт, а ей все время приходил отказ. И мы решили — я

уже была вояка, — поедem вдвоем в Сталинград и там найдем какую-нибудь часть. Маму мы успокоили, обманули, что поедem на Кубань, в богатые места, там у отца были знакомые...

У меня старая шинель, гимнастерка, две пары брюк. Отдала одни Оле, у нее совсем ничего нет. И сапоги у нас тоже одни на двоих. Мама нам связала из овечьей шерсти не то носки, не то что-то похожее на тапки, что-то теплое. Мы шли шестьдесят километров пешком, до самого Сталинграда: одна сапоги натянет, другая — в маминых тапках, потом менялись. По морозу шли, февраль месяц, обмерзли, голодали. Что мама нам сварила в дорогу? Из костей каких-то холодец и несколько лепешек. И мы такие голодные-голодные... Если засыпали и снились сны, то только с какой-нибудь едой. Во сне буханки хлеба надо мной летали.

Добрались до Сталинграда, а там не до нас. Никто нас слушать не хочет. Тогда мы решаем ехать, как мама нас посылала, на Кубань, по папиному адресу. Влезли в какой-то товарняк: я надену шинель, сижу, а Оля в это время под полками. Потом мы переодеваемся, и уже я лезу под полки, Оля сидит. Военных не трогали. А у нас же денег никаких...

Попали на Кубань... Каким-то чудом... Нашли знакомых. И там мы узнали, что формируется добровольческий казачий корпус. Это был четвертый кавалерийский казачий корпус, потом он стал гвардейский. Он формировался только из добровольцев. Там были люди всех возрастов: и казаки, которых когда-то Буденный, Ворошилов в атаки водили, и молодежь. Нас взяли. До сих пор не знаю — почему? Наверное, потому, что мы много раз просились. И нам некуда было деться. Зачислили в один эскадрон. Дали нам каждой обмундирование и лошадь. Лошадь свою надо было кормить, поить, ухаживать, все полностью. Хорошо, что у нас в детстве была лошадь, и я привыкла к ней, полюбила. И когда дали мне лошадь, села — и ничего страшного. Не сразу

все получилось, но я не боялась. У меня была маленькая лошаденка, хвост до земли, но быстрая, послушная, и я как-то быстро научилась ездить. Даже форсила... Потом уже скакала на венгерских, на румынских лошадях. И настолько я полюбила лошадей, настолько узнала, что и сейчас мимо лошади равнодушно не пройду. Обниму ее. Мы под ногами у них спали, она тихонько ножку передвинет, но человека не заденет. Она на мертвого никогда не наступит, а от живого человека, если он только ранен, никогда не уйдет и не бросит. Очень умное животное. Для кавалериста лошадь — это друг. Преданный друг.

Первое боевое крещение... Это когда наш корпус под станицей Куцевская участвовал в отражении танков. После Куцевской битвы — это была знаменитая конная атака кубанских казаков — корпусу присвоили звание гвардейского. Бой был страшный... А для нас с Олей самый страшный, потому что мы еще очень боялись. Я, хотя уже считала, что воевала и знала, что это такое... Но вот... Когда кавалеристы пошли лавиной — черкески развеваются, сабли вынуты, кони храпят, а конь, когда летит, он такую силу имеет... Вот эта вся лавина пошла на танки, на артиллерию — это было как в загробном сне. В нереальности... А фашистов было много, их было больше, они шли с автоматами наперевес, рядом с танками шли — и они не выдержали, понимаете, они не выдержали этой лавины. Они бросали автоматы... Бросали орудия и бежали... Вот такая картина...

Ольга Васильевна о том бое:

— Я перевязывала раненых... Рядом лежал фашист, я думала, он мертвый, и не обратила на него внимания, а он раненый... И он хотел меня убить... Я как почувствовала, как кто-то меня толкнул, и к нему повернулась. Успела выбить ногой автомат. Я его не убила, но и не перевязала, ушла. У него было ранение в живот...

Зинаида Васильевна продолжает:

— А я веду раненого и вдруг вижу: два немца из-за танкетки выходят. Танкетку подбили, а они, видно, успели выскочить. Одна секунда! Если бы я не успела очередь дать, они бы меня с раненым расстреляли. Так неожиданно все произошло. Я после боя подошла к ним, они лежали с открытыми глазами. Я эти глаза и сейчас помню... Один такой красивый, молодой немец... Было жалко, хотя это был фашист, но все равно... Как-то долго это чувство не покидало: не хочется убивать, понимаете. В душе такая ненависть: зачем они пришли на нашу землю? Но попробуй сама убить, и это страшно. Вот нет другого слова... Очень страшно. Когда сама...

Бой кончился. Казачьи сотни снимаются со своих мест, а Оли нет. Я еду за всеми, еду последняя, все оглядываюсь. Уже вечер. А Оли нет... Передают по цепочке, что они — она и еще несколько человек — остались подбирать раненых. Я ничего не могла делать, я только ее ждала. Отстану от своей сотни, подожду, потом опять всех нагоняю. Плачу: неужели в первом бою потеряла сестру? Где она? Что с ней? Может, где-нибудь умирает, зовет меня...

Оля... Оля тоже вся в слезах... Нашла меня ночью... Все казаки плакали, когда увидели, как мы встретились. Повисли на шее одна у другой, не можем оторваться. И тогда мы поняли, что нельзя нам, невыносимо быть вместе. Лучше расстаться. Сердце не выдержит, если одна погибнет на глазах у другой. Решили, что я должна проситься в другой эскадрон. А как расстаться... Как?

Но дальше воевали отдельно, сначала в разных эскадронах, затем даже в разных дивизиях. Только привет передашь, если случай подвернется, узнаешь, живали... Смерть на каждом шагу стерегла. Поджидала... Я помню, как под Араратом... Мы стояли в песках. Арарат был взят немцами. И было Рождество, немцы празд-

новали. Из нас отобрали эскадрон и батарею сорокамиллиметровую. Где-то часов в пять мы двинулись, всю ночь шли. И на рассвете встретили наших разведчиков, разведчики вышли раньше.

Село лежало внизу... Как в чаше... Немцы никогда не думали, что мы в таких песках сможем пройти, и оборону выставили малую. Мы пробрались через их тылы очень даже тихо. Спустились с горы — сразу взяли часовых и вошли в это село, влетели. Немцы выскакивали совершенно голые, только автоматы в руках. Там у них стояли елки... Они все пьяные... А в каждом дворе было не меньше двух-трех танков. Танкетки стояли, бронетранспортеры... Вся техника. Мы тут же на месте ее подрывали, и это такая стрельба, такой грохот, такая паника... Все металось... Там обстановка была такая, что в своего каждый боялся попасть. Все горело... И горели рождественские елки...

У меня восемь раненых... Подняла их вверх, на гору... Но мы, видно, совершили одну оплошность: не перерезали связь. И немецкая артиллерия накрыла нас огнем — и минометным, и дальнобойным. Я своих раненых скорей на санитарную повозку посадила, и они поехали... И на моих глазах снаряд попал в эту бричку, и все разлетелось. Когда я посмотрела, там только один человек живой остался. А тут уже немцы поднимаются на гору... Раненый просит: «Оставь меня, сестра... Оставь меня, сестра... Я уже умираю...». У него живот разворотило... Ну, кишки... Все это... Он сам собирает их и назад заталкивает...

Думала, что лошадь моя от этого раненого вся в крови, а посмотрела: она тоже ранена в бок, пакет индивидуальный весь вошел туда. Достала, было у меня несколько кусочков сахара, дала ей этот сахар. Уже со всех сторон стреляют, не поймешь: где немец, а где наши? Метров десять проедешь и натыкаешься на раненых... Думаю: надо бричку искать, подобрать всех. Еду и вижу спуск, а внизу — три дороги: и туда дорога, и туда до-

рога, и прямо дорога. Я растерялась... Куда ехать? А я держала повод крепко. Лошадь шла туда, куда я направляла. Ну, а тут, не знаю, какой-то инстинкт мне подсказал, где-то я слышала, что лошади чуют дорогу, и, не доезжая этой развилки, я повод опустила, и лошадь пошла совсем в другом направлении, чем я сама бы поехала. Пошла, пошла и пошла.

Я уже сижу без сил, мне уже все равно, куда она пойдет. Что будет, то будет. Она так шла-шла, а потом веселей-веселей, мотает головой, я уже и повод подняла, держу. Нагнусь и ей рану придержу рукой. Она веселей, веселей, потом: и-и-и... заржала так, услышала кого-то. У меня опасения: вдруг это немцы. Решила пустить сначала лошадь, но уже сама увидела свежий след: лошади натоптали, от тачанки колесо — прошло не менее пятидесяти человек. И метров через двести-триста лошадь уткнулась прямо в повозку. На повозке были раненые, тут я увидела остатки нашего эскадрона.

Но к нам уже шла помощь, брички, тачанки... Был приказ: забрать всех. Под пулями, под обстрелом собирали своих, всех до единого забрали — и раненых, и убитых. Я тоже поехала на тачанке. Всех там нашла, и того раненого в живот, всех их вывезла. Только лошади расстрелянные остались. Уже хорошо рассвело, едешь и видишь — табун целый лежит. Красивые, крепкие лошади... Ветер развевает их гривы...

Вся стена в большой комнате, где мы сидим, занята увеличенными довоенными и фронтовыми фотографиями сестер. Вот они еще школьницы — в шляпках, с цветами. Снимок сделан за две недели до начала войны. Обычные детские лица, смешливые, чуть усмиренные важностью момента и желанием казаться взрослыми. А вот они уже в казачьих черкесках, кавалерийских бурках. Сфотографировались в сорок втором году. По времени год разницы, а лицо уже другое, человек другой. А этот снимок Зинаида Васильев-

на прислала матери с фронта: на гимнастерке первая медаль «За отвагу». На этом — обе сфотографированы в День Победы... Запоминаю движение лица: от мягких детских черт — к уверенному женскому взгляду, даже некоторой жесткости, суровости. Трудно поверить, что эта перемена происходила в считанные месяцы, годы. Обычное время совершает эту работу куда медленнее и незаметнее. Долго лепится человеческое лицо. Медленно вырисовывается на нем душа.

А война быстро создавала свой образ людей. Писала свои портреты.

Ольга Васильевна:

— Мы заняли большую деревню. Дворов триста. И там был оставлен немецкий госпиталь. В здании местной больницы. Первое, что я увидела: во дворе вырыта большая яма, и часть больных лежит расстрелянная — перед уходом немцы сами расстреляли своих раненых. Они, видно, решили, что мы это будем делать. Поступим так, как они поступали с нашими ранеными. Только одна палата осталась, до этих, видно, не дошли, не успели, а может, бросили, потому что они все были без ног.

Когда мы вошли к ним в палату, они с ненавистью смотрели на нас: видно, думали, что пришли их убивать. Переводчик сказал, что мы раненых не убиваем, а лечим. Тогда один даже стал требовать: мол, они три дня ничего не ели, их три дня не перевязывали. Я посмотрела — действительно, это был ужас. Их давно не смотрел врач. Раны загноились, бинты вросли в тело.

— И вам их было жалко?

— Я не могу назвать то, что испытывала тогда, жалостью, жалость — это все-таки сочувствие. Его я не испытывала. Это другое... У нас был такой случай... Один солдат ударил пленного... Так вот мне это казалось невозможным, и я заступилась, хотя я понимала... Это у него крик души... Он меня знал, он был, конечно,

старше, выругался. Но не стал больше бить... А крыл меня матом: «Ты забыла, ё... мать! Ты забыла, как они... ё... мать...». Я ничего не забыла, я помнила те сапоги... Когда немцы выставили перед своими траншеями ряды сапог с отрезанными ногами. Это было зимой, они стояли, как колья... Эти сапоги... Все, что мы увидели от наших товарищей... Что осталось...

Помню, как пришли к нам на помощь моряки... И многие из них подорвались на минах, мы наткнулись на большие минные поля. Эти моряки, они лежали долго. Лежали на солнце... Трупы вздулись, и из-за тельняшек казалось, что это арбузы. Большие арбузы на большом поле. Гигантские.

Я не забыла, я ничего не забыла. Но я не могла бы ударить пленного, хотя бы потому, что он уже беззащитен. Вот это каждый решал для себя, и это было важно.

Зинаида Васильевна:

— В бою под Будапештом. Это была зима... И я тащила, значит, сержанта раненого, командира пулеметного расчета. Сама я была одета в брюки и телогрейку, на мне шапка-ушанка. Тащу и вижу: черный снег такой... Обугленный... Я поняла, что это глубокая воронка, то, что мне и надо. Спускаюсь в эту воронку, а там кто-то живой — я чувствую, что живой, и скрежет какого-то железа... Поворачиваюсь, а там немецкий офицер раненый, в ноги раненый, лежит, и автомат на меня наставил. А у меня волосы из-под шапки выбились, сумка санитарная через плечо, и на ней красный крест. Когда я повернулась, он увидел мое лицо, понял, что — это девушка и вот так: «Ха-а-а!». У него, значит, нервное напряжение спало, и он этот автомат отбросил. Ему безразлично стало...

И мы втроем в одной воронке — наш раненый, я и этот немец. Воронка маленькая, ноги у нас вместе. Я вся в их крови, кровь наша смешалась. У нем-

ца огромные такие глаза, и он смотрит на меня этими глазами: что я буду делать? Фашист проклятый! Автомат он отбросил сразу, понимаете? Эту сцену... Наш раненый не соображает, в чем дело, за пистолет хватается... То тянется и задушить немца хочет... А тот на меня смотрит... Я эти глаза и сейчас помню... Перевязываю нашего, а тот лежит в крови, он истекает кровью, одна нога у него перебита совсем. Еще немного, и он умрет. Хорошо это понимаю. И, не окончив перевязывать нашего раненого, разрываю ему, этому немцу, одежду, перевязываю его и накладываю жгут. А потом уже опять возвращаюсь к своему. Немец говорит: «Гут. Гут». Только это слово повторяет. Наш раненый, пока не потерял сознание, что-то мне кричал... Грозил... Я гладила его, успокаивала. Пришла санитарная линейка, вытащила их обоих... И погрузила. Немца тоже. Понимаете?

Ольга Васильевна:

— Если мужчины видели женщину на передовой, у них лица становились другими, даже звук женского голоса их преображал. Как-то ночью я села возле землянки и тихонько запела. Я думала, что все спят, никто меня не слышит, а утром мне командир сказал: «Мы не спали. Такая тоска по женскому голосу...».

Перевязываю танкиста... Бой идет, грохот. Он спрашивает: «Девушка, как вас зовут?». Даже комплимент какой-то. Мне так странно было произносить в этом грохоте, в этом ужасе свое имя — Оля. Всегда я старалась быть подтянутой, стройной. И мне часто говорили: «Господи, разве она была в бою, такая чистенькая». Я очень боялась, что если меня убьют, то буду лежать некрасивая. Я видела много убитых девочек... В грязи, в воде... Ну... Как это... Мне не хотелось так умереть... Другой раз прядешься от обстрела и не столько думаешь о том, как бы тебя не убило, а прядешь лицо. Руки. Мне кажется, все наши девчонки об этом думали. А мужчи-

ны над нами смеялись, им это казалось забавным. Мол, не о смерти думают, а черт-те о чем, о глупом. О женской чепухе.

Зинаида Васильевна:

— Смерть нельзя приручить... Нет... Привыкнуть к ней... Мы уходили от немцев в горы. И оставалось пять тяжелораненых брюшников. У них раны у всех в живот, это раны смертельные, день, два — и они умрут. А забрать их не могли, не на чем было везти. Меня и другого санинструктора Оксаночку оставили с ними в сарае, пообещав: «Через два дня вернемся, заберем вас». Пришли за нами через три дня. Трое суток мы были с этими ранеными. Они в полном сознании, сильные мужчины. Не хотели умирать... А у нас только какие-то порошки, больше ничего нет... Все время они просили пить, а им пить нельзя. Одни понимали, а другие матюгались. Стоял мат-перемат. Кто-то кружкой запустил, другой сапогом... Это было три самых страшных дня в моей жизни. Умирали они на наших глазах, один за другим, а мы только смотрели...

Первая награда... Меня представили к медали «За отвагу». Но я ее получать не пошла. Я обиделась. Смешно, ей-богу! Понимаете, как? Мою подругу наградили медалью «За боевые заслуги», а меня медалью «За отвагу». А она только в одном бою была, а я уже под станцией Кущевская и в других операциях участвовала. И мне стало обидно: у нее за один бой уже «боевые заслуги», много заслуг, а у меня, получается, только «за отвагу», как бы один раз я себя проявила. Приехал командир, ну и смеялся, когда узнал, в чем дело. Объяснил мне, что медаль «За отвагу» — самая большая медаль, это почти орден.

Под Макеевкой, в Донбассе, меня ранило, ранило в бедро. Влез вот такой осколочек, как камушек, сидит. Чувствую — кровь, я индивидуальный пакет сложила и туда. И дальше бегаю, перевязываю. Стыдно кому ска-

зять, ранило девчонку, да куда — в ягодицу. В попу... В шестнадцать лет это стыдно кому-нибудь сказать. Неудобно признаться. Ну, и так я бегала, перевязывала, пока не потеряла сознание от потери крови. Полные сапоги натекло...

Наши посмотрели, решили, видно: убита. Придут санитары, подберут. Бой пошел дальше. Еще немного, и я погибла бы. Но шли в разведку танкисты и заметили — девушка на поле боя. Я без шапки лежала, шапка откатилась. Они увидели: кровь из-под меня течет, значит, живая. Привезли в медсанбат. Оттуда меня в госпиталь, в один, потом в другой. А-а-а... Скоро кончилась моя война... Через полгода меня комиссовали по состоянию здоровья. Мне восемнадцать лет... А здоровья уже нет: три ранения, тяжелая контузия. Но я же девчонка, и я, конечно, это скрывала, про ранения говорила, а контузию скрывала. И она дала о себе знать. Меня опять положили в госпиталь. Мне дали инвалидность... Ну, и я? Я эти документы порвала и выбросила, даже деньги какие-то не стала получать. Там надо было ходить на комиссии, перекомиссовываться. Рассказывать о себе: когда контузило, когда ранило. Куда?

В госпитале пришли меня навещать командир эскадрона и старшина. Командир эскадрона мне очень нравился во время войны, но там он меня не замечал. Красивый мужчина, ему очень шла форма. Мужчинам всем форма идет. А женщины как выглядели? В брюках, косы — не положено, у всех стрижка под мальчика. Это уже под конец войны нам прически иногда разрешали носить, не стричься. В госпитале у меня волосы совсем отросли, я уже заплетала длинную косу, поправились, и они... Смешно, ей-богу! Оба влюбились в меня... С ходу! Всю войну вместе прошли, ничего такого не было, а тут вдвоем: и командир эскадрона, и старшина сделали мне предложение. Любовь! Любовь... Как нам всем хотелось любви! Счастья!

Это был конец сорок пятого года...

После войны хотелось скорее забыть войну. Нам с сестрой отец помог. Папа был мудрый человек. Он взял наши медали, ордена, благодарности от командования, спрятал и говорит:

— Была война, воевали. А теперь забудьте. То была война, а сейчас началась другая жизнь. Туфельки надейте. Вы у меня красивые девчонки. Надо учиться, надо замуж выходить.

Оля как-то не могла сразу к другой жизни привыкнуть, она гордая была. Не хотела снимать солдатскую шинель. И я помню, как отец говорил матери: «Это я виноват, что девчонки такие малые на войну пошли. Как бы она их не сломала... Тогда провоюют всю жизнь».

Дали мне за мои ордена и медали какие-то такие специальные талоны, чтобы я могла пойти в военторг и купить что-нибудь. Я купила себе сапожки резиновые, тогда самые модные, купила пальто, платье, ботинки. Шинель решила продать. Иду на рынок... Я пришла в летнем, светлом платье... С заколкой в волосах... И что я там увидела? Молодые ребята без рук, без ног... Весь народ воевавший... С орденами, с медалями... У кого руки целые, ложки самодельные продает. Женские бюстгальтеры, трусики. А другой... Без рук, без ног... Сидит и слезами умывается. Копеечку просит... Никаких инвалидных колясок у них не было, они ездили на самодельных досках, толкая их руками, у кого они были. Пьяные. Пели «Позабыт, позаброшен». Вот такие сцены... Я ушла, я не продала свою шинель. И сколько я жила в Москве, лет пять, наверное, я не могла ходить на рынок. Я боялась, что кто-нибудь из этих калек меня узнает и крикнет: «Зачем ты меня тогда из-под огня вытащила? Зачем спасла?». Я вспоминала одного молодого лейтенанта... У него ноги... Одна отрезана осколком, другая еще на чем-то висела... Я его перевязывала... Под бомбами... А он

кричал мне: «Не тяни! Добей! Добей... Я тебе приказываю...». Понимаете? И вот я все время боялась встретить этого лейтенанта...

А когда я в госпитале лежала, там все знали молодого красивого парня. Танкист Миша... Никто не знал его фамилии, все знали его имя... Ему ноги ампутировали, правую руку, одна левая осталась. У него была высокая ампутация, ноги отрезали по тазобедренный сустав, так что протезы невозможно носить. Его возили на коляске. Сделали специально для него высокую коляску и возили все, каждый, кто мог. Приходило в госпиталь много гражданского населения, помогали ухаживать, особенно за такими тяжелыми ранеными, как Миша. И женщины, и школьники. Даже дети. Этого Мишу на руках носили. И он не унывал. Он так хотел жить! Ему только девятнадцать лет, он совсем еще не жил. Не помню, имел ли он кого из родных, но он знал — его в беде не оставят, он верил — его не забудут. Хотя, конечно, война прошла по нашей земле, везде разруха. Когда мы освобождали деревни, они все сожженные. Только земля у людей осталась. Одна земля.

Мы с сестрой не стали врачами, хотя до войны обе мечтали. Могли поступить в мединститут без всяких экзаменов, у нас были такие права, как у фронтовичек. Но столько насмотрелись, как страдали, как умирали люди, что больше видеть это не могли. Даже вообразить. И уже через тридцать лет я свою дочь отговорила поступать в медицинский, хотя она очень хотела. Через десятки лет... Только закрою глаза — вижу... Весна... Мы идем по какому-то полю, где только что бой прошел, ищем раненых. Поле истоптано. Натыкаюсь на двух убитых — молодой наш солдат и молодой немец. В молодой пшенице лежат и в небо смотрят... На них еще даже смерти не заметно. Просто в небо смотрят... Я эти глаза до сих пор помню...

Ольга Васильевна:

— А мне из последних дней на войне вот что запомнилось. Едем мы — и вдруг откуда-то музыка. Скрипка... Вот в этот день для меня кончилась война... Это было такое чудо: вдруг музыка. Другие звуки... Я как проснулась... Нам всем казалось, что после войны, после такого моря слез будет прекрасная жизнь. Красивая. После Победы... После этого дня... Нам казалось, что все люди будут очень добрые, будут только любить друг друга. Все станут братьями и сестрами. Как мы ждали этот день...

«МЫ НЕ СТРЕЛЯЛИ...»



Много людей на войне... И много дел на войне...

Много труда не только вокруг смерти, но и вокруг жизни. Там не только стреляют и расстреливают, минируют и разминируют, бомбят и взрывают, кидаются в рукопашную — там еще стирают белье, варят кашу, пекут хлеб, чистят кухонные котлы, ухаживают за лошадьми, ремонтируют машины, строгают и заколачивают гробы, разносят почту, подбивают сапоги, привозят табак. Даже на войне жизнь больше чем наполовину состоит из банальной жизни. И из пустяков тоже. Непривычно так думать, да? «Там горы нашей обыкновенной бабьей работы», — вспоминает санитарка Александра Иосифовна Мишутина. Армия шла впереди, а за ней «второй фронт» — прачки, повара, автослесари, почтальоны...

Кто-то из них написал мне: «Мы — не герои, мы были за кулисами». Что же там, за кулисами?

О ботиночках и проклятой деревяшке

«Шагаем по грязи, лошади в этой грязи тонут или падают замертво. Полуторки захлебываются... Солдаты на себе волокут орудия. Тянут повозки с хлебом и бельем. Ящики махорки. Я вижу, как один ящик махорки летит в грязь, за ним — трехэтажный русский мат... Берегут снаряды, берегут махорку...

Муж мне говорит, все время повторяет: “Смотри во все глаза! Это — эпос! Эпос!”»

*Татьяна Аркадьевна Смелянская,
военный журналист*

«До войны я жила счастливо... С папой, с мамой. Папа у меня с финской вернулся. Он пришел без одного пальца на правой руке, и я у него спрашивала: “Папа, зачем война?”».

А война скоро пришла, я еще не подросла как надо. Из Минска эвакуировалась. Привезли нас в Саратов. Там я в колхозе работала. Вызывает меня председатель сельсовета:

— Я думаю о тебе, девочка, все время.

Я удивилась:

— А что вы, дяденька, думаете?

— Если б не эта проклятая деревяшка! Все это проклятая деревяшка...

Стою, ничего не соображаю. Он говорит:

— Прислали бумагу, надо двоих на фронт, а мне некого послать. Сам бы пошел, да эта проклятая деревяшка. А тебя нельзя: ты эвакуированная. А может, пойдешь? Две девчонки у меня: ты да Мария Уткина.

Мария была такая высокая, девка что надо, а я не очень. Я — так себе.

— Пойдешь?

— А мне обмотки дадут?

Мы были оборванные: что мы там успели с собой взять!

— Ты такая хорошенькая, тебе ботиночки там дадут. И я согласилась.

...Сгрузили нас с эшелона, за нами прибыл дядька, здоровый, усатый, но никто с ним не поехал. Не знаю почему, я не спрашивала, я была не активистка, первая никуда не лезла. Не понравился нам этот дядька. Потом приезжает красивый офицер. Кукла! Он уговорил, и мы поехали. Приехали в часть, а там этот усатый

дядька, смеется: “Ну, что, курносые, со мной не поехали?”.

Майор вызывал нас по одной и спрашивал: “Что ты умеешь?”.

Одна отвечает: “Коров доить”. Другая: “Картошку дома варила, маме помогала”.

Вызывает меня:

— А ты?

— Стирать умею.

— Вижу, девка хорошая. Если бы ты варить умела.

— Умею.

Целый день варю еду, а приду ночью — солдатам постирать надо. На посту стояла. Мне кричат: “Часовой! Часовой!” — а я ответить не могу — сил нет. Сил нет даже подать голос...»

*Ирина Николаевна Зинина,
рядовая, повар*

«Ездила я на санпоезде... Помню, первую неделю проплакала: ну, во-первых, без мамы, а во-вторых, оказалась на третьей полке, где теперь багаж кладут. Там была моя “комната”.

— В каком возрасте вы ушли на фронт?

— Я училась в восьмом классе, но до конца года не дотянула. Убежала на фронт. Все девчонки на санпоезде моего возраста.

— А что вы там делали?

— Мы ухаживали за ранеными, поили, кормили, подать судно — это все наша работа. Со мной вместе одна девушка постарше дежурила, она меня первое время щадила: “Если будут утку просить, ты меня зови”. Раненые тяжелые: у кого руки, у кого ноги нет. Я первый день звала ее, а потом — она же не может весь день со мной быть и всю ночь — осталась я одна. И вот меня зовет раненый: “Сестричка, утку!”.

Я протягиваю ему утку и вижу, что он ее не берет. Смотрю: у него нет рук. В мозгу где-то пронеслось,

как-то я сообразила, что надо делать, но несколько минут стояла и не знала, как быть. Вы меня понимаете? Я должна была помочь... А я не знала, что это такое, я еще этого не видела. Этому даже на курсах нас не учили...»

*Светлана Николаевна Любич,
сандружинница*

«Я не стреляла... Кашу солдатам варила. За это дали медаль. Я о ней и не вспоминаю: разве я воевала? Кашу варила, солдатский суп. Тягала котлы, баки. Тяжелые-тяжелые... Командир, помню, сердился: “Я бы пострелял эти баки... Как ты рожать после войны будешь?”. Однажды взял — и все баки пострелял. Пришлось в каком-то поселке искать баки поменьше.

Придут солдатики с передовой, отдых им дадут. Бедненькие, все грязные, измученные, ноги, руки — все обмороженное. Особенно боялись морозов узбеки, таджики. У них же солнце всегда, тепло, а тут тридцать-сорок градусов мороза. Не может отогреться, кормишь его. Он сам ложки не поднесет ко рту...»

*Александра Семеновна Масаковская,
рядовая, повар*

«Стирала... Через всю войну с корытом прошла. Стирала вручную. Телогрейки, гимнастерки... Белье привезут, оно заношенное, завшивленное. Халаты белые, ну эти, маскировочные, они насквозь в крови, не белые, а красные. Черные от старой крови. В первой воде стирать нельзя — она красная или черная... Гимнастерка без рукава, и дырка на всю грудь, штаны без штанины. Слезами отмываешь и слезами полощешь.

И горы, горы этих гимнастерок... Ватников... Как вспомню, руки и теперь болят. Зимой ватники тяжелые, кровь на них замерзшая. Я часто их и теперь во сне вижу... Лежит черная гора...»

Мария Степановна Детко, рядовая, прачка

«На войне было столько чудес... Я вам расскажу...

Лежит на траве Аня Кабурова... Наша связистка. Она умирает — пуля попала в сердце. В это время над нами пролетает клин журавлей. Все подняли головы к небу, и она открыла глаза. Посмотрела: “Как жаль, девочки”. Потом помолчала и улыбнулась нам: “Девочки, неужели я умру?”. В это время бежит наш почтальон, наша Клава, она кричит: “Не умирай! Не умирай! Тебе письмо из дома...”. Аня не закрывает глаза, она ждет...

Наша Клава села возле нее, распечатала конверт. Письмо от мамы: “Дорогая моя, любимая доченька...”. Возле меня стоит врач, он говорит: “Это — чудо. Чудо! Она живет вопреки всем законам медицины...”. Дочитали письмо... И только тогда Аня закрыла глаза...»

*Мария Николаевна Василевская,
сержант, связистка*

«Моя специальность... Моя специальность — мужская стрижка...

Приходит девушка... Я не знаю, как ее стричь. У нее роскошные волосы, они вьются. Заходит в землянку командир:

— Стричь “под мужчину”.

— Но она — женщина.

— Нет, она солдат. Женщиной она снова станет после войны.

Все равно... Все равно чуть волосы отрастут, и я девчонок ночью накручивала. Вместо бигудей у нас были шишки... Еловые сухие шишки... Ну, хотя бы хохолок накрутить...»

*Василиса Южнина,
рядовая, парикмахер*

«Книжек я мало читала... И рассказывать красиво я не умею... Мы одевали солдат, обстирывали, обглаживали — вот какое наше геройство. На лошадях ехали, мало где поездом, лошади измученные, можно

сказать, пешком до самого Берлина дошли. И если так вспомнить, то все, что надо, делали: раненых помогали таскать, на Днепре снаряды подносили, потому что нельзя было подвезти, на руках доставляли за несколько километров. Землянки копали, мосты мостили...

Попали в окружение, бежала, стреляла, как все. Убила или не убила, не скажу. Бежала и стреляла, как все.

Мне кажется, я очень мало вспомнила. А сколько всего у меня было! Я вспомню... Приди еще раз...»

*Анна Захаровна Горлач,
рядовая, прачка*

«История у меня маленькая...

Старшина спрашивает:

— Девочка, тебе сколько лет?

— Шестнадцать, а что?

— А то, — говорит, — нам несовершеннолетних не надо.

— Что хотите, буду делать. Хоть хлеб печь.

Взяли...»

*Наталья Мухаметдинова,
рядовая, пекарь*

«Я числилась писарем... Уговорили меня пойти в штаб таким образом... Мне сказали: мы знаем, что до войны вы работали фотографом, будете и у нас фотографом.

Что я хорошо помню, так это то, что я не хотела фотографировать смерть. Убитых. Снимала, когда солдаты отдыхали — курили, смеялись, когда вручали награды. Жалко, тогда не было у меня цветной пленки, одна черно-белая. Вынос знамени полка... Я могла бы это красиво снять...

А сегодня... Приходят ко мне журналисты и спрашивают: «Вы снимали убитых? Поле боя...». Я стала ис-

кать... У меня мало фотографий смерти... Если кто-то погибал, меня ребята просили: "А есть ли у тебя он живой?". Мы искали его живого... Чтобы он улыбался....»

*Елена Виленская,
сержант, писарь*

«Мы строили... Строили железные дороги, мосты понтонные, блиндажи. Фронт рядом. Копали землю ночью, чтобы нас не заметили.

Лес валили. В основном девчонки у меня в отделении, все молоденькие. Мужчин несколько, кто не строевые. Дерево как выносили? Беремся все за это дерево и несем. Одно дерево целым отделением. Кровавые мозоли на руках... На плечах...»

*Зоя Лукьяновна Вержбицкая, командир
отделения строительного батальона*

«Окончила педучилище... Диплом получила, когда война уже шла. Раз война, направление нам не дали, а отправили домой. Приехала домой, через несколько дней вызвали в военкомат. Мама меня не пускала, конечно, молодая еще, только восемнадцать лет: "Отправлю тебя к брату, скажу, дома нет". Я говорю: "Я же комсомолка". В военкомате собрали нас, так и так, мол, требуются женщины для фронтовых хлебопекарен.

Труд этот очень тяжелый. У нас было восемь железных печей. Приезжаем в разрушенный поселок или город, ставим их. Поставили печи, надо дрова, двадцать-тридцать ведер воды, пять мешков муки. Восемнадцатилетние девчонки, мы таскали мешки с мукой по семьдесят килограммов. Ухватимся вдвоем и несем. Или сорок булок хлеба на носилки положат. Я, например, не могла поднять. День и ночь у печи, день и ночь. Одни корыта замесили, другие уже надо. Бомбят, а мы хлеб печем...»

*Мария Семеновна Кулакова,
рядовая, пекарь*

«А я все четыре года войны на колесах... Ездил, согласно указателям: “Хозяйство Щукина”, “Хозяйство Кожуро”. Получим на базе табак, папиросы, кремни — все, без чего бойцу не обойтись на передовой, — и в путь. Где на машинах, где на повозках, а чаще пешком с одним или двумя солдатами. На своем горбу тянем. До траншеи на лошадях не проедешь, немцы услышат скрип. Все на себе. На своем горбу, моя миленькая...»

*Елена Никифоровна Иевская,
рядовая, снабженец*

«К началу войны... Было мне девятнадцать лет... Я жила в городе Муроме Владимирской области. В октябре сорок первого нас, комсомольцев, послали строить автодорогу Муром — Горький — Кулебаки. Когда мы вернулись с трудфронта, нас мобилизовали.

Я была направлена в школу связи в Горький на курсы почтовых работников. Окончив курсы, попала в действующую армию — в шестидесятую стрелковую дивизию. Служила офицером в полковой почте. Своими глазами видела, как люди плакали, целовали конверты, получив письмо на передовой. А у многих родные погибли или жили на территории, захваченной врагом. Не могли написать. Тогда мы писали письма от Незнакомой: “Дорогой солдат, пишет тебе Незнакомая девушка. Как ты бьешь врага? Когда вернешься с Победой?” Ночами сидели и сочиняли... Я за войну сотни таких писем написала...»

*Мария Алексеевна Ремнева,
младший лейтенант,
почтовый работник*

О специальном мыле «К» и гауптвахте

«Первого мая я вышла замуж... А двадцать второго июня началась война. Налетели первые немецкие самолеты. Я работала в детском доме для испанских детей, которых привезли к нам в Киев. Это — тридцать седьмой год... Гражданская война в Испании... Мы не знали, что делать, а испанские дети стали рыть во дворе окопы. Они уже все знали... Детей отправили в тыл, а я выехала в Пензенскую область. Мне дали задание — организовать курсы медсестер. К концу сорок первого года я сама принимала экзамены на этих курсах, потому что все врачи ушли на фронт. Выдала документы и тоже попросилась на фронт. Направили под Сталинград, в армейский полевой госпиталь. Оказалась среди девчонок самая старшая. Моей подруге Соне Удруговой, мы и сейчас с ней дружим, тогда было шестнадцать лет, она окончила только девять классов — и вот эти медицинские курсы. Три дня прошло, как мы уже на фронте, и вот Соня сидит в лесу и плачет. Подхожу:

— Сонечка, ну чего же ты плачешь?

— Как ты не поймешь? Я три дня маму не видела.

Сейчас ей этот случай напомним, так она смеется.

На Курской дуге меня перевели из госпиталя в полевой прачечный отряд замполитом. Прачки были вольнонаемные. Вот, бывало, едем мы на подводах: лежат тазы, торчат корыта, самовары — греть воду, а сверху сидят девчата в красных, зеленых, синих, серых юбках. Ну, и все смеялись: “Вон поехало прачечное войско!” А меня звали “прачкин комиссар”. Это уже потом мои девчата оделись попримечнее, как говорится, “прибарахлились”.

Работали очень тяжело. Никаких стиральных машин и в помине не было. Ручками... Все женскими ручками... Вот мы приходим, дают нам одну какую-нибудь хату или землянку. Мы стираем там белье, прежде чем сушить, пропитываем его специальным

мылом “К”, для того чтобы не было вшей. Был дуст, но дуст не помогал, пользовались мылом “К”, очень вонючее, запах ужасный. Там, в этом помещении, где стираем, мы и сушим это белье, и тут же мы спим. Давали нам двадцать-двадцать пять граммов мыла — на одного солдата постирать белье. А оно черное, как земля. И у многих девушек от стирки, от тяжестей, от напряжения были грыжи, экземы рук от мыла “К”, слазили ногти, думали, что никогда уже не смогут они расти. Но все равно день-два отдохнут — и нужно было опять стирать.

Девчонки слушались меня...

Приезжаем мы один раз туда, где стоят летчики, целая часть. Представляете, увидели нас, а мы все в грязном, заношенном, и эти хлопцы с пренебрежением: “Подумаешь, прачки...”. Мои девчата чуть не плачут:

— Замполит, смотрите...

— Ничего, мы им отомстим.

И мы договорились. Вечером надевают мои девчата, что у них было лучшее, идут на лужайку. Одна наша девчонка им играет на гармошке, и они танцуют. Уговор: ни с одним летчиком не танцевать. Те подходят, а они ни с кем не идут. Весь вечер друг с дружкой танцевали. Наконец те взмолились: “Один дурак сказал, а вы на всех обиделись”.

Вообще было не положено вольнонаемных сажать на гауптвахту, но что ты сделаешь, когда сто девчат вместе? У нас в одиннадцать отбой — и никаких. Они старались удрать — ну, девчата есть девчата. Я сажала их на гауптвахту. Как-то раз приехало начальство из соседней части, а у меня двое сидят.

— Как это так? Вольнонаемных сажают на гауптвахту? — спрашивают у меня.

Я спокойно отвечаю:

— Пишите, товарищ полковник, рапорт командованию. Ваше дело. Но я должна бороться за дисциплину. И у меня образцовый порядок.

С тем они и уехали.

Дисциплина была крепкая. Как-то встретила одного капитана — проходил мимо моего дома, и я выхожу. Он даже остановился:

— Боже мой! Вы вышли отсюда, а вы знаете, кто тут живет?

— Знаю.

— Здесь же замполит живет. Вы знаете, какая она злая?

Я говорю, что такого никогда не слышала.

— Боже мой! Она никогда не улыбается, она такая сердитая.

— А вы хотели бы с ней познакомиться?

— Боже мой! Нет!

Ну, и тут я призналась:

— Так будем знакомы, я замполит!

— Нет, не может быть! Про нее мне рассказывали...

Я берегла своих девчат. У нас была такая красивая Валя. Вызвали меня как-то на десять дней в штаб. Приезжаю, мне говорят, что Валя все эти дни поздно приходила, что была она с каким-то капитаном. Была, ну была, дело прошедшее. Два месяца проходит, я узнаю, что Валя беременная. Вызываю ее: “Валя, как это могло случиться? Куда ты поедешь? Твоя мачеха (у нее не мать, а мачеха была) в землянке живет”. Она плачет: “Это вы виноваты, если бы вы не уехали, ничего бы не случилось”. Они со мной — как с матерью, старшей сестрой.

У нее какое-то пальтишко легкое, а уже холодно, отдала я ей свою шинель. Поехала моя Валя...

Восьмое марта сорок пятого года. Мы устроили себе праздник. Чай. Какие-то конфеты раздобыли. Выходят мои девчата на улицу и вдруг видят: идут из леса два немца. Волокут за собой автоматы... Раненые... Мои девчата окружили их. Ну и я, как замполит, конечно, написала в донесении, что сегодня, восьмого марта, прачки взяли в плен двух немцев.

Назавтра у нас было совещание командиров, начальник политотдела первым делом объявляет:

— Ну, товарищи, я хочу вас обрадовать: скоро конец войне. Вчера прачки из двадцать первого полевого прачечного отряда взяли в плен двух немцев.

Все захопала.

Когда шла война, нас не награждали, а когда кончилась, мне сказали: “Наградите двух человек”. Я возмутилась. Взяла слово, выступила, что я замполит прачечного отряда, и какой это тяжелый труд прачек, что у многих из них грыжи, экземы рук и так далее, что девчонки молодые, работали больше машин, как тягачи. У меня спрашивают: “Можете к завтрашнему дню представить наградной материал? Мы еще наградим”. И мы с командиром отряда ночь сидели над списками. Многие девчата получили медали “За отвагу”, “За боевые заслуги”, а одну прачку наградили орденом Красной Звезды. Самая лучшая прачка, она не отходила от корыта: бывало, все уже без сил, падают, а она стирает. Это была пожилая женщина, у нее вся семья погибла.

Когда мне надо было отправлять девушек домой, мне хотелось что-то им дать. Они все из Белоруссии и Украины были, а там все разрушено, разбито. Как ты их отпустишь с пустыми руками? А мы стояли в какой-то немецкой деревне, там была швейная мастерская. Я пошла посмотреть: машинки стояли, на мое счастье, целые. И вот каждой девчонке, которая уезжала, мы преподнесли подарок. Я была так рада, так счастлива. Это все, что я могла сделать для своих девчат.

Все хотели домой и боялись возвращаться. Никто не знал, что нас там ждет...»

*Валентина Кузьминична Братчикова-Борщевская,
лейтенант, замполит
полевого прачечного отряда*

«Мой папа... Мой любимый папа был коммунист, святой человек. Я не встречала в жизни человека лучше, чем он. Он меня воспитывал: “Ну, кто бы я был без советской власти. Бедняк. Батрачил бы у кулака. Советская власть дала мне все, я получил образование. Стал инженером, строю мосты. Я всем этим обязан нашей родной власти”.

Я любила советскую власть. Любила Сталина. И Ворошилова. Всех наших вождей любила. Так меня научил папа.

Шла война, я подрастала. По вечерам мы с папой пели “Интернационал” и “Священную войну”. Папа аккомпанировал на аккордеоне. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, он вместе со мной пошел в военкомат...

Из армии я написала домой письмо, что строю и охраняю мосты. Какая это была радость в нашей семье! Папа нас всех влюбил в мосты, мы любили их с детства. Когда я видела разрушенный мост — его разбомбили или подорвали — отношение у меня к нему было, как к живому существу, а не стратегическому объекту. Я плакала... Я встречала на пути сотни разрушенных мостов, больших и маленьких, их разрушали в войну в первую очередь. Мишень номер один. Когда мы проезжали мимо руин, я всегда думала: сколько же понадобится лет, чтобы все это построить заново? Война убивает время, драгоценное человеческое время. Я хорошо помнила, что каждый мост папа строил несколько лет. Ночами сидел над чертежами, даже в выходные дни. Больше всего на войне мне было жалко время. Папино время...

Папы давно нет, но я его продолжаю любить. Не верю, когда о таких, как он, говорят, что они были глупые и слепые — верили в Сталина. Боялись Сталина. Верили в ленинские идеи. Думали одинаково. Поверьте мне, они были хорошие и честные люди, они верили не в Сталина и Ленина, а в коммунистическую идею. В социализм с человеческим лицом, как потом это назовут.

В счастье для всех. Для каждого. Мечтатели, идеалисты — да, слепцы — нет. Никогда не соглашусь. Ни за что! В середине войны у нас появились отличные танки и самолеты, хорошее оружие, но все равно без веры такого страшного врага, как гитлеровская армия — мощная, дисциплинированная, покорившая всю Европу, мы никогда бы не одолели. Не переломили бы ей хребет. Главным нашим оружием была вера, а не страх, даю вам честное партийное слово (я на войне вступила в партию и до сих пор коммунистка). Я не стыжусь своего партбилета и не отказалась от него. Моя вера не поменялась с сорок первого...»

*Тамара Лукьяновна Тороп, рядовая,
инженер-строитель*

«Под Воронежем немецкие войска остановили... Они долго не могли взять город. Бомбили и бомбили. Самолеты летали через наше село Московка. Я еще не видела врага, я видела только его самолеты. Но очень скоро я узнала, что такое война...

В наш госпиталь сообщили, что под самым Воронежем разбомбили состав, мы приехали на место — увидели... Что мы увидели? Только фарш... Выговорить не могу... Ой-ой-ой! Первым опомнился наш главврач. Он громко крикнул: “Носилки!”. Я была моложе всех, мне только шестнадцать лет исполнилось, и все смотрели на меня, чтобы я не упала в обморок. Мы ходили по рельсам, лазили по вагонам. На носилки некого было положить: вагоны горели, не слышалось ни стонов, ни криков. Людей целых не было. Я держалась за свое сердце, у меня от страха закрывались глаза. Когда мы вернулись в госпиталь, все повалились кто где: кто на стол голову положил, кто на стулья — и так уснули.

Я отдежурила и пошла домой. Пришла вся заплаканная, легла на койку и только закрою глаза — все снова вижу... Вернулась с работы мама, и пришел дядя Митя. Слышу мамин голос:

— Не знаю, что с Леной будет. Ты посмотри, какое у нее лицо стало за то время, как она в госпиталь пошла. Она не похожа сама на себя, молчит, ни с кем не разговаривает и во сне вскрикивает. И куда делась улыбка и куда делся смех? А ты сам знаешь, какая она была веселая. А теперь она никогда не шутит.

Я слушаю маму, и у меня слезы текут.

...Когда в сорок третьем году освободили Воронеж, я пошла в военизированной охрану. Там одни девушки. Всем им было по семнадцать-двадцать лет. Молодые, красивые, никогда я столько красивых девушек вместе не видела. Первую я узнала Марусю Прохорову, она дружила с Таней Федоровой. Они — из одной деревни. Таня была серьезная, любила чистоту, порядок, а Маруся любила петь, плясать. Пела озорные частушки. А больше всего любила краситься, сядет перед зеркалом и сидит часами. Таня ругала ее: “Чем красоту наводить, лучше погладь свою форму и убери как следует койку”. Была еще у нас Паша Литаврина, очень отчаянная девчонка. Дружила она с Шурой Батищевой. Та была стеснительная и скромная, самая спокойная из нас. А Люся Лихачева любила накручивать локоны, накрутит — и сразу за гитару. Она с гитарой ложилась спать и с гитарой вставала. Старше всех нас была Полина Неверова, у нее муж погиб на фронте, и она была всегда грустная.

Ходили мы все в военной форме. Когда мама первый раз увидела меня в форме, она сделалась белая:

— Ты решила в армию пойти?

Я ее успокоила.

— Да нет, мама. Я же тебе говорила, что охраняю мосты.

Мама заплакала:

— Скоро война кончится. И ты сразу снимешь шинель.

Я тоже так думала.

Через два дня после того, как мы узнали, что кончилась война, у нас было собрание в красном уголке. Выступил на нем начальник охраны товарищ Наумов.

— Дорогие мои бойцы, — сказал он, — война кончилась. Но вчера я получил приказ, что на Западную дорогу требуются бойцы военизированной охраны.

Кто-то из зала крикнул:

— Да там же бендеровцы!..

Наумов замолчал, а потом сказал:

— Да, девушки, там бендеровцы. Они воюют с Красной Армией. Но приказ есть приказ, его надо выполнять. Кто хочет поехать, прошу подать заявление начальнику караула. Поедут добровольцы.

Мы вернулись в казарму, и каждая легла на свою койку. Стало тихо-тихо. Никому не хотелось уезжать далеко от родных мест. И никому не хотелось умирать после войны. На следующий день нас опять собрали. Я сидела за столом президиума, стол накрыли красной скатертью. И я думала, что последний раз сижу за этим столом.

Начальник охраны произнес речь:

— Я знал, Бабина, что ты поедешь первая. И вы все, девчонки, молодцы, не побоялись. Кончилась война, можно вернуться домой, а вы едете защищать свою Родину.

Через два дня мы уезжали. Подали нам товарный состав, на полу было сено, и пахло травой.

Никогда раньше я не слышала, что есть такой город Стрый, теперь это было место нашей службы. Город мне не понравился — маленький и страшный, каждый день играла музыка и кого-нибудь хоронили: то милиционера, то коммуниста, то комсомольца. Опять мы увидели смерть. Сдружилась с Галей Коробкиной. Она там погибла. Еще с одной девочкой... Ее тоже ночью зарезали... И я там совсем перестала шутить и смеяться...»

*Елена Ивановна Бабина,
боец военизированной охраны*

О расплавленных подшипниках и русском мате

«Вся я в отца... Его дочка...

Отец мой, Мирон Ленков, прошел путь от безграмотного паренька до командира взвода в гражданскую войну. Был настоящий коммунист. Когда он умер, мы остались с мамой жить в Ленинграде, всем лучшим в себе я обязана этому городу. Моей страстью были книги. Рыдала над романами Лидии Чарской, зачитывалась Тургеневым. Любила поэзию...

Летом сорок первого... В конце июня мы поехали к бабушке на Дон. Война застала нас в дороге. По степи сразу стали носиться — аллюр три креста — коннонарочные с военкоматскими повестками. Пели, пили и плакали навзрыд казачки, провожая казаков на войну. Я пошла в станицу Боковскую в райвоенкомат. Сказали коротко и жестко:

— Детей на фронт не берем. Комсомолка? Вот и прекрасно. Помогай колхозу.

Лопатили хлеб, чтобы не перегорел в буртах. Потом убирали овощи. Мозоли на руках стали твердыми, губы потрескались, лицо покрылось степным загаром. И если я чем-то отличалась от хуторских девочек, то только тем, что знала множество стихов и могла читать их наизусть всю длинную дорогу с поля домой.

А война приближалась. Семнадцатого октября фашисты оккупировали Таганрог. Люди уходили в эвакуацию. Бабушка осталась, а нас с сестрой отправила: «Вы молодые. Спасайтесь». До станции Обливская шли пять суток. Сандалии пришлось выкинуть, в станицу входили босиком. Начальник станции всех предупреждал: «Не ждите крытых вагонов, садитесь на площадки. Сейчас подадим паровоз и отправим вас на Сталинград». Нам повезло — мы забрались на площадку с овсом. Погрузили в зерно босые ноги, укрылись платком... Тесно прижались друг к дружке и задремали... Хлеб у нас давно

кончился, мед тоже. В последние дни нас прикармливали казачки. Мы стеснялись брать, заплатить было нечем, а они уговаривали: “Ешьте, жалюшки. Всем сейчас худо, помогать надо друг дружке”. Я давала себе зарок никогда не забыть этой людской доброты. Никогда! Ни за что! И не забыла.

Из Сталинграда пароходом, затем снова поездом добрались в два часа ночи до станции Медведицкое. Людской волной нас выплеснуло на перрон. А так как сами, превратившись в две сосульки, мы не могли двигаться, то стояли, придерживая друг друга, чтобы не упасть. Не рассыпаться на осколки, как на моих глазах рассыпалась однажды лягушка, извлеченная из сжиженного кислорода и брошенная на пол. К счастью кто-то, с кем мы вместе ехали, о нас вспомнил. Подкатила наполненная людьми бричка, нас привязали сзади. Надели ватники. Сказали: “Идите, иначе вы замерзнете. Не отогреетесь. Вас нельзя везти”. Мы сначала падали, но шли, потом даже бежали. И так шестнадцать километров...

Село Франк — колхоз “1-го мая”. Председатель колхоза очень обрадовался, когда узнал, что я из Ленинграда и успела окончить девять классов:

— Вот и хорошо. Будешь мне тут помогать. За бухгалтера.

На какой-то момент я даже обрадовалась. Но тут увидела висевший за председательской спиной плакат “Девушки, за руль!”.

— Не буду сидеть в конторе, — ответила председателю. — Если меня научат, я смогу водить трактор.

Тракторы стояли, занесенные снегом. Мы откапывали их, разбирали, обжигая руки о металл, оставляя на нем куски кожи. Проржавевшие, туго затянутые болты казались приваренными. Когда не удавалось стронуть их с места против часовой стрелки, пытались открутить по ее ходу. Как на грех... Именно в этот момент... Будто из-под земли, выросал бригадир Иван Иванович Ни-

китин, единственный настоящий тракторист и наш наставник. Он хватался за голову и не мог удержаться от русского мата. Эх, ты! Мать твою... Ругань его была как стон. Но все равно один раз я заплакала...

В поле выехала задним ходом: в коробке скоростей моего СТЗ большинство шестерен были “беззубыми”. Расчет был прост: за двадцать километров какой-нибудь трактор выйдет из строя и тогда с него переставят коробку скоростей на мой. Так и случилось. Такая же, как я, трактористка Сарочка Гозенбук, не заметив, что из радиатора вытекла вода, запорола мотор. Эх, ты! Мать твою...

Я до войны на велосипеде не научилась ездить, а тут — трактор. Подолгу разогревали моторы в нарушение всех правил — открытым огнем. Узнала я и что такое перетяжка. И как заводить трактор после такой процедуры — вкруговую не покрутишь, вполоборота не заведешь... Смазочные материалы и горючее — по нормам военного времени. За каждую каплю отвечаешь головой, так же как и за расплавленный подшипник. Эх, ты! Мать твою... За каждую каплю...

В тот день... Перед выходом в поле открыла краник картера — проверить масло. Пошла какая-то сыворотка. Кричу бригадиру, что автол новый надо залить, он подошел, каплю в руках растер, понюхал зачем-то и говорит: “Не бойсь! Еще день поработать можно”. Спорю: “Нельзя, сами говорили...”. Он заводится с полоборота: “Наговорил на свою голову — спасу от вас нет. Куклы городские! Грамотные больно. Эх, ты! Мать твою...”. Езжай, так твою разэтак... Поехала. Жарко, трактор дымит, дышать нечем, но все это ерунда: как подшипники? Кажется мне, что постукивают. Остановлюсь — вроде нет. Дам нагрузку — стучат! И вдруг — под самое сиденье — тук, тук, тук!

Глушу мотор, подбегаю к смотровым люкам — два шатунных подшипника расплавила вчистую! Опустилась на землю, обняла колесо и во второй раз за вой-

ну заплакала. Сама виновата: видела же, какое масло! Мата испугалась. Его бы отmaterить в ответ, так нет, гнилая интеллигенция.

Обернулась на какие-то звуки. Ну и ну! Председатель колхоза, директор МТС, начальник политотдела и, конечно, наш бригадир. Из-за него все!

А он стоит и двинуться не может. Все понял. Молчит. Эх, ты! Мать твою...

Директор МТС тоже все понял:

— Сколько?

— Два, — отвечаю.

По законам военного времени — это надо идти под суд. Статья: халатность и вредительство.

Начальник политотдела поворачивается к бригадиру:

— Что ж ты своих девчонок не бережешь? Как я могу это дитя отдать под суд!

Как-то оно и обошлось. Разговорами. Но — бригадир больше при мне не матерился. А я научилась... Эх, ты! Мать твою... Такое закатывала...

А потом случилось счастье: нашлась наша мама. Она приехала, и у нас опять была семья. Мама вдруг сказала:

— Я думаю: тебе надо идти в школу.

Я не сразу поняла:

— Куда?

— Кто за тебя будет кончать десятый класс?

После всего пережитого было странно оказаться снова за школьной партой, решать задачки, писать сочинения, зубрить немецкие глаголы, вместо того чтобы бить фашистов! И это когда враг вышел к Волге!

Мне нужно было подождать совсем немного: через четыре месяца — семнадцать лет. Не восемнадцать, так хотя бы семнадцать. И уж тогда никто не завернет меня домой! Никто! В райкоме все прошло гладко, а в военкомате пришлось повоевать. Из-за возраста, из-за зрения. Но первое помогло второму... Когда речь зашла о воз-

расте, я обозвала военкома бюрократом... И объявила голодовку... Села с ним рядом и двое суток не сдвинулась с места, отодвигая предлагаемый им кусок хлеба и кружку кипятку. Пригрозила, что умру с голодухи, но сначала напишу записку, кто виноват в моей смерти. Вряд ли он испугался и поверил, но все-таки направил меня на медкомиссию. Все это происходило в одной комнате. Рядом. И когда врач, проверив зрение, развела руками, военком рассмеялся и сказал, что я зря голодала. Пожалел меня. Но я ответила, что это я из-за голодовки ничего не вижу. Отошла к окну, поближе к несчастной таблице, и разревелась. И редела до тех пор... Долго редела... Пока не выучила нижние строки. Потом утерла слезы и сказала, что готова еще раз пройти комиссию. И прошла.

Десятого ноября сорок второго года, запасшись, как было приказано, продуктами на десять суток, мы (человек двадцать пять девчонок) забрались в кузов потрепанного грузовика и запели “Дан приказ”, заменив слова “на гражданскую войну” словами “защищать свою страну”. Из Камышина, где мы приняли присягу, по левому берегу Волги шли пешим маршем до самого Капустина Яра. Там размещался запасной полк. И там, среди тысяч мужчин, даже как-то затерялись. Приезжали “покупатели” из разных частей, набирали пополнение. Нас они старались не замечать. Все время мимо...

В пути я подружилась с Аннушкой Ракшенко и Асей Басиной. Обе они никакой специальности не имели, я же свою считала невоенной. И потому, кого бы ни окликали, мы трое дружно делали три шага вперед, полагая, что на месте любую специальность освоим быстро. Но нас обходили.

Но когда мы шагнули в ответ на команду: “Шофера, трактористы, механики — три шага вперед!”, “покупателю”, а это был молодой старший лейтенант, не удалось пройти мимо. Я сделала не три шага, а пять, и он остановился:

— Почему вы отбираете только мужчин? Я тоже трактористка!

Он удивился:

— Не может быть. А ну — порядок работы трактора.

— Один, три, четыре, два.

— А подшипники плавил?

Я честно призналась, что два шатуна расплавил вчистую.

— Хорошо. Беру. За честность. — И, кивнув, пошел дальше.

Стали со мной и мои подружки. Рядом. Старший лейтенант сделал вид, что так и надо. Эх, ты! Мать твою...

Командир части, знакомясь с пополнением, задал старшему лейтенанту вопрос:

— Ты зачем привез этих девочек?

Тот, смутился и ответил, что ему стало нас жалко: попадут куда-нибудь, перебьют, как куропаток.

Командир вздохнул:

— Хорошо. Одну — на кухню, другую — на склад, кто пограмотнее — в штаб писарем. — Помолчал и добавил: — Жалко, красивые.

Самой “грамотной” была я, но работать писарем! И при чем тут наша красота? Забыв о военной дисциплине, я прямо-таки взвилась:

— Мы — добровольцы! Шли защищать Родину. Пойдем только в боевые подразделения...

Почему-то полковник сразу сдался:

— В боевые так в боевые. Двоих — в летучку, на станки, а эту, языкастую, — на сборку моторов.

Так началась наша служба в сорок четвертой автобронетанковой полевой мастерской. Мы были заводом на колесах. На машинах, их звали летучки, — стояли станки: фрезерные, расточные, шлифовальные, токарные; электростанция, заливка, вулканизация. На станках работали по два человека. Каждый по двенадцать часов, без единой минуты передышки. На

обед, ужин, завтрак подменял напарник. Если подходила очередь кому-то идти в наряд, другой работал двадцать четыре часа. Работали в снегу, в грязи. Под бомбежкой. И уже никто не говорил, что мы — красивые. Но красивых девочек жалели на войне, жалели больше. Это правда. Их жалко было хоронить... Жалко было выписывать маме похоронку... Эх, ты! Мать твою...

Мне часто сейчас снятся сны... Я знаю, что они снятся, но я их редко запоминаю. Но остается ощущение, что я где-то была... И вернулась... Во сне в секунду укладывается то, что в жизни требует годы. А в другой раз перепутаю, где сон, а где реальность... По-моему, это было в Зимовниках, я только пришла прилечь на пару часов, как началась бомбежка. Эх, ты! Мать твою... Лучше пусть меня убьют, чем испорчу себе такую радость, как двухчасовой сон. Где-то рядом сильно рвануло. Дом покачнулся. Но я все равно засыпаю...

У меня страх отсутствовал, не было этого чувства. Даю слово. Только после самых яростных налетов дергал зуб, в котором была дырочка. Да и то недолго. Я бы до сих пор считала себя страшно храброй, если бы спустя несколько лет после войны не была вынуждена из-за постоянных, нестерпимых и совершенно непонятных болей в самых разных точках своего организма обратиться к специалистам. И опытный невропатолог, спросив, сколько мне лет, изумился:

— К двадцати четырем годам разрушить всю свою вегетативную нервную систему! Как же вы жить собираетесь?

Я ответила, что жить собираюсь хорошо. Во-первых, я — жива! Я так мечтала выжить! Да, я осталась жива, но прошло всего несколько месяцев послевоенной жизни, и у меня опухли суставы, отказала и стала страшно болеть правая рука, еще более ухудшилось зрение, опущенной оказалась почка, смещенной — печень и,

как сразу выяснилось, вчистую разрушена вегетативная нервная система. Но я всю войну мечтала, что буду учиться. И университет стал для меня вторым Сталинградом. Я окончила его на год раньше, иначе не хватило бы сил. Четыре года в одной шинели — зимой, весной, осенью — и до белизны вылинявшей гимнастерке... Эх, ты! Мать твою...»

*Антонина Мироновна Ленкова,
автослесарь полевой автобронетанковой
мастерской*

«ТРЕБОВАЛСЯ СОЛДАТ...



А ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ ЕЩЕ КРАСИВОЙ...»



За несколько лет записаны уже сотни рассказов... На книжных полках у меня рассортированы сотни кассет и тысячи печатных страниц. Вслушиваюсь и вчитываюсь...

Мир войны все больше открывается мне с неожиданной стороны. Раньше я не задавала себя вопросов: как можно было, например, годами спать в окопах неполного профиля или у костра на голой земле, ходить в сапогах и шинелях, и наконец — не смеяться, не танцевать? Не носить летние платья? Забыть о туфлях и цветах... Им же было по восемнадцать-двадцать лет! Я привыкла думать, что женской жизни нет места на войне. Она невозможна там, почти запретна. Но я ошибалась... Очень скоро, уже во время первых встреч, заметила: о чем бы женщины ни говорили, даже о смерти, они всегда вспоминали (да!) о красоте, она являлась неистребимой частью их существования: «Она лежала в гробу такая красивая... Как невеста...» (А. Строцева, пехотинец) или: «Мне должны были вручать медаль, а у меня старая гимнастерка. Я подшила себе воротничок марлей. Все-таки белый... Мне казалось, что я такая в эту минуту красивая. А зеркальца не было, я себя не видела. Все у нас разбомбили...» (Н. Ермакова, связистка). Весело и охотно рассказывали они о своих наивных девичьих ухищрениях, маленьких се-

кретах, невидимых знаках, как в «мужском» быте войны и в «мужском» деле войны все-таки хотели остаться самими собой. Не изменить своей природе. Память их на удивление (все-таки сорок лет прошло) сохранила большое количество мелочей военного быта. Деталей, оттенков, красок и звуков. В их мире быт и бытие смыкались, и течение бытия было самоценно, они вспоминали о войне как о времени жизни. Не столько действия, как жизни, я не раз наблюдала, как маленькое в их разговорах побеждало большое, даже историю. «Жалко, что красивая я была только на войне... Там прошли мои лучшие годы. Сгорели. Потом я быстро состарилась...» (Анна Галай, автоматчица).

Через расстояние многих лет одни события вдруг укрупнялись, другие — уменьшались. И укрупнялось человеческое, интимное, оно становилось и мне, и, самое любопытное, даже им самим более интересным и близким. Человеческое побеждало нечеловеческое, только лишь потому, что оно человеческое. «Ты не бойся моих слез. Не жалея. Пусть мне больно, но я тебе благодарна, что вспомнила себя молодую...» (К. С. Тихонович, сержант, зенитчица).

Этой войны я тоже не знала. И даже не подозревала о ней...

О мужских сапогах и женских шляпках

«Жили мы в земле... Как кроты... Но какие-то безделушечки у нас сохранялись. Весной веточку принесешь, поставишь. Радуетесь. А ведь завтра тебя может и не быть, — об этом про себя думали. И запоминаешь, запоминаешь... Девочке одной прислали из дому платье шерстяное. Мы завидовали, хотя носить свое платье не разрешалось. А старшина, это же мужчина, ворчал: “Лучше бы тебе простынку прислали. Полезнее”. У нас простыней не было, подушек тоже. Мы спали на ветках,

на соломе. Но у меня были припрятаны сережки, я ночью надену и сплю с ними...

Когда меня первый раз контузило, я не слышала и не говорила. Сказала себе: если не восстановится голос, брошусь под поезд. Я так пела, и вдруг голоса нет. Но голос вернулся.

Счастливая я, сережки надела. Прихожу на дежурство — кричу от радости:

— Товарищ старший лейтенант, докладывает дежурная такая-то...

— А это что?

— Как что?

— Вон отсюда!

— В чем дело?

— Немедленно выдернуть сережки! Что это за солдат?

Старший лейтенант был очень красивый. Все наши девчонки были в него немножко влюблены. Он нам говорил, что на войне требуются солдаты и только солдаты. Нужен был солдат... А хотелось быть еще красивой... Я всю войну боялась, чтобы ноги не покалечило. У меня красивые были ноги. Мужчине — что? Ему не так страшно, если даже ноги потеряет. Все равно — герой. Жених! А женщину покалечит, так это судьба ее решится. Женская судьба...»

*Мария Николаевна Щелокова, сержант,
командир отделения связи*

«Я всю войну улыбалась... Я считала, что должна улыбаться как можно чаще, потому что женщина должна светить. Перед отправкой на фронт старый профессор нас так учил: “Вы должны каждому раненому говорить, что вы его любите. Самое сильное ваше лекарство — это любовь. Любовь сохраняет, дает силы выжить”. Лежит раненый, ему так больно, что он плачет, а ты ему: “Ну, мой миленький. Ну, мой хорошенький...” — “Ты меня любишь, сестричка?” (Они нас всех, молоденьких,

звали сестричками.) — “Конечно, люблю. Только выздоравливай скорей”. Они могли обижаться, ругаться, а мы никогда. За одно грубое слово у нас наказывали вплоть до гауптвахты.

Трудно... Конечно, трудно... Даже вот в юбке залезть на машину, когда одни мужчины кругом. А грузовики высокие, специальные санитарные машины. Заберись на самую макушку! Попробуй...»

*Вера Владимировна Шевалдышева,
старший лейтенант, хирург*

«Дали нам вагоны... Товарняк... Нас двенадцать девчонок, остальные все мужчины. Десять-пятнадцать километров проедем, и поезд стоит. Десять-пятнадцать километров — и опять нас в тупик. Ни воды, ни туалета... Понятно?

Мужчины разложат костер на остановке, трясут вшей, сушатся. А нам где? Побежим за какое-нибудь укрытие, там и раздеваемся. У меня был свитерочек вязаный, так вши сидели на каждом миллиметре, в каждой петельке. Посмотришь, затошнит. Вши бывают головные, платяные, лобковые... У меня были они все... Но не буду же я вместе с мужчинами.. Не буду вместе вшей этих жарить. Стыдно. Выбросила свитер и осталась в одном платице. На какой-то станции чужая женщина вынесла мне кофточку, туфли старые.

Долго ехали, а потом еще долго шли пешком. Был мороз. Я шла и все время держала зеркальце: не обморозилась ли? К вечеру вижу, что обморозила щеки. До чего глупая была... Слышала, что когда обморозишь щеки, то они белые. А у меня красные-красные. Думаю, что пусть бы они всегда у меня были обмороженные. А назавтра они почернели...»

*Надежда Васильевна Алексеева,
рядовая, телеграфистка*

«У нас было много красивых девчонок... Пошли в баню, а при бане парикмахерская работала. Ну и, друг на друж-

ку глядя, брови все покрасили. Как дал нам командир: “Вы воевать или на бал приехали?”. Всю ночь плакали, оттирали. Утром ходил и повторял каждой: “Мне нужны солдаты, а не дамы. Дамы на войне не выживают”. Очень строгий командир. До войны он был учителем математики...»

*Анастасия Петровна Шелег,
младший сержант, аэростатчица*

«Мне кажется, я две жизни прожила — мужскую и женскую...

Когда попала в училище, там сразу военная дисциплина: и на учении, и в строю, и в казарме — все по уставу. Поблажек нам, как девушкам, никаких. Только и слышалось: “Прекратить разговор!”, “Разговорчики!”. Вечером рвешься посидеть, повышивать... Ну, что-то женское вспомнить... Не разрешалось ни в коем случае. А мы остались без дома, без домашних хлопот, и было как-то не по себе. Давали только час отдыха: сидели в ленинской комнате, писали письма, можно было постоять вольно, поговорить. Но ни смеху, ни громкого крика — это было не положено.

— Песню можно было спеть?

— Нет, нельзя.

— А почему нельзя?

— Не положено. Вот в строю иди, пой, если дадут команду. Команда: “Запевала, запевай!”

— А так нельзя?

— Нельзя. Это не по уставу.

— Трудно было привыкать?

— Мне кажется, я к этому и не привыкла. Только успеешь уснуть, вдруг: “Подъем!”. Как ветром сдувает нас с постелей. Начинаешь одеваться, а у женщин одежды больше, чем у мужчин, то одно летит из рук, то другое. Наконец ремень в руки — и бегом к раздевалке. На ходу хватаешь шинель и мчишься в оружейную комнату. Там надеваешь чехол на лопату, продер-

гиваешь через ремень, надеваешь подсумок на него, кое-как застегиваешься. Хватаешь винтовку, на ходу закрываешь затвор и с четвертого этажа по лестнице буквально скатываешься вниз. В строю приводишь себя в порядок. И на все на это даются считанные минуты.

А это уже на фронте... Сапоги у меня на три размера больше, загнулись, пыль в них въелась. Хозяйка принесла два яйца: "Возьми в дорогу, такая худенькая, что скоро переломишься". А я тихонько, чтобы она не видела, разбила эти два яйца, они маленькие были, и почистила сапоги. Конечно, хотелось есть, но победило женское — быть красивой. Вы не знаете, как шинель трет, какое это все тяжелое, какое это все мужское — и ремень, и все. Особенно я не любила, что шинель шею трет, и еще эти сапоги. Шаг менялся, все менялось...

Я вспоминаю, что мы были грустные. Все время ходили грустные...»

*Станислава Петровна Волкова,
младший лейтенант,
командир саперного взвода*

«Не так легко было сделать из нас солдат... Не так просто...

Получили обмундирование. Старшина построил:

— Выровнять носки.

Мы выравниваем. Носки ровные, а сами-то мы сзади, потому что сапоги сорокового — сорок первого размеров. Он:

— Носочки, носочки!

А потом:

— Курсантки, грудь четвертого человека!

У нас это, конечно, не получается, и он на весь голос:

— Что вы там в карманы гимнастеров положили?

Мы смеемся.

— Отставить смех, — кричит старшина.

Чтобы четко и правильно отработать прием приветствия, все — от стульев до вывешенных плакатов — заставлял приветствовать. Ох, и намучился он с нами.

В каком-то городе привели нас строем в баню. Мужчины — в мужское отделение, а мы — в женское. А там женщины кричат, кто что закрывает: “Солдаты идут!”. Нас не различишь — девчонки мы или мальчишки: мы и подстрижены, и форма на нас военная. А в другой раз пошли в туалет — женщины милиционера привели. Мы ему говорим:

— Так куда нам идти?

Он тогда давай на женщин кричать:

— Это же девчата!

— Какие то девчата, то солдаты...»

*Мария Николаевна Степанова, майор,
начальник связи
в батальоне стрелкового корпуса*

«Помню только дорогу. Дорогу... То вперед, то назад...

Когда мы прибыли на Второй Белорусский фронт, нас хотели в штабе дивизии оставить, мол, вы женщины, зачем вам на передовую. Мы: “Нет, мы — снайперы, нас посылайте куда положено”. Тогда они нам говорят: “Пошлем вас в один полк, там хороший полковник, он девок бережет”. Разные командиры были. Нам так и сказали.

Этот полковник нас встретил такими словами: “Смотрите, девки, приехали воевать, воюйте, а другим делом не занимайтесь. Крутом мужчины, а женщин нет. Черт его знает, как вам еще эту штуку объяснить. Война, девки...”. Он понимал, что мы еще совсем малявки. Первый раз налетели самолеты. Я присела и закрыла голову руками, потом подумала, что руки тоже жалко. Еще не была готова к смерти.

Помню, как в Германии... Ой, смешно! В одном немецком поселке нас разместили на ночь в жилом замке. Много комнат, целые залы. Такие залы! В шкафах полно

красивой одежды. Девочки — каждая платье себе выбрала. Мне желтенькое одно понравилось и еще халат, не передать словами, какой это был красивый халат — длинный, легкий... Пушинка! А уже спать надо ложиться, все устали страшно. Мы надели эти платья и легли спать. Оделись в то, что нам понравилось, и тут же заснули. Я легла в платье и халат еще наверх...

А в другой раз в брошенной шляпной мастерской выбрали себе по шляпке и, чтобы побыть в них хотя бы немного, спали всю ночь сидя. Утром встали... Посмотрели еще раз в зеркало... И все сняли, надели опять свои гимнастерки, брюки. Ничего с собой не брали. В дороге и иголка тяжелая. Ложку за голенище воткнешь, и все...»

*Белла Исааковна Эпштейн,
сержант, снайпер*

«Мужчины... Они такие... Не всегда нас понимали...

Но своего полковника Птицына мы очень любили. Звали “Батей”. Он был не похож на других, понимал нашу женскую душу. Под Москвой, это же отступление, самое тяжелое время, а он нам говорит:

— Девушки, Москва рядом. Я привезу вам парикмахера. Красьте брови, ресницы, завивки делайте. Пусть это не положено, но я хочу, чтобы вы были красивыми. Война длинная... Не скоро кончится...

И привез какую-то парикмахершу. Мы сделали завивки, покрасились. И такие счастливые...»

*Зинаида Прокофьевна Гомарева,
телеграфистка*

«Побежали по льду Ладожского озера... В наступление. Тут же попали под сильный обстрел. Кругом вода, ранят — человек идет сразу ко дну. Я ползаю, перевязываю, подползла к одному, у него ноги перебиты, сознание теряет, но меня отталкивает и в свой “сидор” — мешок, значит, лезет. Свой “НЗ” ищет. По-

есть — хотя бы перед смертью... А мы, когда пошли по льду, получили продукты. Я хочу его перевязать, а он — в мешок лезет и ни в какую: мужчины как-то очень трудно голод переносили. Голод для них был страшнее смерти...

А я о себе вот что запомнила... Сначала боишься смерти... В тебе соседствует и удивление, и любопытство. А потом ни того, ни другого — от усталости. Все время на пределе сил. За пределами. Остается до конца только один страх — быть некрасивой после смерти. Женский страх... Только бы не разорвало на куски рядом... Я знаю, как это... Сама подбирала...»

*Софья Константиновна Дубнякова,
санинструктор*

«Шли и шли дожди... Бежим по грязи, люди падают в эту грязь. Раненые, убитые. Так не хочется погибать в этом болоте. В черном болоте. Ну, как молодой девушке там лежать... А в другой раз, это уже в белорусских... оршанских лесах, там мелкие кусты с черемухой. Подснежники голубые. Весь лужок в голубом цвете. Погибнуть бы вот в таких цветах! Тут лежать... Дурошлеп еще, семнадцать лет... Это я себе так смерть представляла...

Я думала, что умереть — это как будто куда-то улететь. Один раз мы ночью говорили о смерти, но только один раз. Боялись произносить это слово...»

*Любовь Ивановна Осмоловская,
рядовая, разведчица*

«Наш полк был полностью женский... Вылетели на фронт в мае сорок второго года...

Дали нам самолет "По-2". Маленький, тихоходный. Летал он только на малой высоте, часто на бреющем полете. Над самой землей! До войны на нем училась летать молодежь в аэроклубах, но никто не мог и подумать, что его будут использовать в военных целях.

Самолет был деревянной конструкции, сплошь из фанеры, обтянутой перкалью. Вообще-то марлей. Достаточно было одного прямого попадания, как он загорался — и сгорал в воздухе, не долетая до земли. Как спичка. Единственная солидная металлическая деталь — это сам мотор М-II. Потом уже, только под конец войны, нам выдали парашюты и поставили пулемет в кабине штурмана, а до этого не было никакого оружия, четыре бомбодержателя под нижними плоскостями — и все. Сейчас нас назвали бы камикадзе, может быть, мы и были камикадзе. Да! Были! Но победа ценилась выше нашей жизни. Победа!

Вы спрашиваете, как мы выдерживали? Я вам отвечу...

Перед уходом на пенсию я заболела от одной этой мысли: как это я не буду работать? Для чего же после пятидесяти лет закончила второй институт? Стала историком. А так — всю жизнь геолог. Но хороший геолог всегда в поле, а у меня уже силы были не те. Приехал врач, сделали кардиограмму, и меня спрашивают:

— Вы когда перенесли инфаркт?

— Какой инфаркт?

— У вас все сердце в рубцах.

А эти рубцы, видно, с войны. Ты заходишь над целью, тебя всю трясет. Все тело покрывается дрожью, потому что внизу огонь: истребители стреляют, зенитки расстреливают... Несколько девушек вынуждены были уйти из полка, не выдержали. Летали мы в основном ночью. Какое-то время нас попробовали посылать на задания днем, но тут же отказались от этой затеи. Наши "По-2" подстреливали из автомата...

Делали до двенадцати вылетов за ночь. Я видела знаменитого летчика-аса Покрышкина, когда он прилетал из боевого полета. Это был крепкий мужчина, ему не двадцать лет и не двадцать три, как нам: пока самолет заправляли, техник успевал снять с него рубашку и выкрутить. С нее текло, как будто он под дождем побывал.

Теперь можете легко себе представить, что творилось с нами. Прилетишь и не можешь даже из кабины выйти, нас вытаскивали. Не могли уже планшет нести, тянули по земле.

А труд наших девушек-оружейниц! Им надо было четыре бомбы — это четыре сотни килограммов — подвесить к машине вручную. И так всю ночь — один самолет поднялся, второй — сел. Организм до такой степени перестраивался, что мы всю войну не были женщинами. Никаких у нас женских дел... Месячных... Ну, вы сами понимаете... А после войны не все смогли родить.

Мы все курили. И я курила, такое чувство, что ты немножко успокаиваешься. Прилетишь — вся дрожишь, закуришь — успокоишься. Ходили мы в кожанках, брюках, гимнастерке, зимой еще меховая куртка. Поневоле и в походке, и в движениях появлялось что-то мужское. Когда кончилась война, нам сшили платья хаки. Мы вдруг почувствовали, что мы девчонки...»

*Александра Семеновна Попова,
гвардии лейтенант, штурман*

«Вручили мне недавно медаль... От Красного Креста... Золотую международную медаль “Флоренс Найтингейл”. Все поздравляют и удивляются: “Как это вы могли вытащить сто сорок семь раненых? Такая миниатюрная девочка на военных фотографиях”. Да, я их, может, двести вытащила, кто тогда считал. Мне это и в голову не приходило, мы этого не понимали. Идет бой, люди истекают кровью, а я буду сидеть и записывать. Я никогда не дожидалась, когда кончится атака, ползала во время боя и подбирала раненых. Если у него осколочное ранение, а я приползу к нему через час-два, то мне там нечего делать, человек останется без крови.

Три раза раненая и три раза контуженная. На войне кто о чем мечтал: кто домой вернуться, кто дойти до

Берлина, а я об одном загадывала — дожить бы до дня рождения, чтобы мне исполнилось восемнадцать лет. Почему-то мне страшно было умереть раньше, не дожить даже до восемнадцати. Ходила я в брюках, в пилотке, всегда оборванная, потому что всегда на коленках ползешь, да еще под тяжестью раненого. Не верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти. Это мечта была! Приехал как-то командир дивизии, увидел меня и спрашивает: “А что это у вас за подросток? Что вы его держите? Его бы надо послать учиться”.

Помню, не хватает бинтов... Такие страшные пулевые ранения, что кладешь на рану целый пакет. С себя все нижнее разорвала и ребят прошу: “Давайте снимайте кальсоны, нижние рубашки, у меня люди погибают”. Они поснимали, порвали на куски. Я их не стеснялась, вот как будто с братьями, мальчишечкой среди них жила. Идем, держимся втроем за руки, и средний спит час-два. Потом меняемся.

Дошла до Берлина. Расписалась на рейхстаге: “Я, Софья Кунцевич, пришла сюда, чтобы убить войну”.

Увижу братскую могилу, я перед ней на колени становлюсь. Перед каждой братской могилкой... Только на коленях...»

*Софья Адамовна Кунцевич, старшина,
санинструктор стрелковой роты*

О девичьем дисканте и матросских суевериях

«Слышала я... Слова... Яд... Слова, как камни... Мол, это было мужское желание — пойти воевать. Разве может женщина убивать?! Это — ненормальные, не полноценные женщины...»

Нет! Тысячу раз нет! Нет, это было человеческое желание. Шла война, я жила обыкновенной жизнью. Дев-

чоночьей... Но соседка получила письмо — мужа ранило, лежит в госпитале. Я подумала: “Он ранен, а вместо него кто?”. Пришел один без руки — вместо него кто? Второй вернулся без ноги — вместо него кто? Я писала, просила, умоляла взять меня в армию. Так мы воспитывались, что без нас ничего не должно быть в нашей стране. Нас научили ее любить. Восхищаться. Раз началась война, мы обязаны чем-то помочь. Нужны медсестры, значит, надо идти в медсестры. Нужны зенитчицы, значит, надо идти в зенитчицы.

Хотели ли мы на фронте быть похожими на мужчин? Первое время очень хотели: сделали короткие стрижки, даже походки изменили. А потом нет, шиш! Потом так захотелось краситься, сахар не ешь, а бережешь, чтобы челочку им накрахмалить. Мы были счастливы, когда доставали котелок воды вымыть голову. Если долго шли, искали мягкой травы. Рвали ее и ноги... Ну, понимаете, травой смывали... Мы же свои особенности имели, девчонки... Армия об этом не подумала... Ноги у нас зеленые были... Хорошо, если старшина был пожилой человек и все понимал, не забирал из вещмешка лишнее белье, а если молодой, обязательно выбросит лишнее. А какое оно лишнее для девчонок, которым надо бывает два раза в день переодеться. Мы отрывали рукава от нижних рубашек, а их ведь только две. Это только четыре рукава...»

*Клара Семеновна Тихонович,
старший сержант, зенитчица*

«До войны я любила все военное... Мужское... Обращалась в авиационное училище, чтобы прислали правила приема. Мне шла военная форма. Любила строй, четкость, отрывистые слова команды. Из училища ответили: “Окончите сначала десять классов”.

Конечно, когда началась война, с моими настроениями я не могла сидеть дома. Но на фронт меня не брали. Никаким образом, потому что мне шестнадцать лет. Во-

енком говорил, мол, что подумает о нас враг, если война только началась, а мы таких детей берем на фронт, девочек несовершеннолетних.

— Врага бить надо.

— Без вас разобьют.

Я убеждала его, что я высокая, что мне никто не даст шестнадцать лет, а обязательно больше. Стою в кабинете, не уйду: “Напишите восемнадцать, а не шестнадцать лет”. — “Это ты сейчас так говоришь, а потом как меня вспомнишь?”

А после войны я уже не хотела, вот уже как-то не могла пойти ни по одной военной специальности. Скорее бы снять с себя все защитное... А к брюкам у меня до сих пор отвращение, я их не надеваю даже тогда, когда еду в лес. За грибами, за ягодами. Хотелось носить что-то обыкновенное, женское...»

*Клара Васильевна Гончарова,
рядовая, зенитчица*

«Войну мы почувствовали сразу... Окончили училище, и в тот же день у нас появились “покупатели”, так называли тех, кто приезжал из частей, отосланных на переформирование, за новыми людьми. Это были всегда мужчины, очень чувствовалось, что они нас жалеют. Мы на них одними глазами смотрели, они на нас — другими: мы рвались из шеренги вперед, скорей бы нас взяли, заметили, скорей бы нам себя проявить, а они усталые, они на нас смотрели, зная, куда нас отправляют. Все понимали.

...Полк наш был мужской, всего двадцать две женщины. Это восемьсот семидесятый дальнебомбардировочный полк. Взяли дома две-три пары белья, много не наберешь. Разбомбили нас, остались в чем стоим, в чем убежать успели. Мужчины пошли на пересыльный пункт, их там переодели. А нам ничего нет. Дали нам портянки, мы из них трусики, бюстгальтеры пошили. Командир узнал, нас выругал.

Прошло полгода... И от перегрузок мы перестали быть женщинами... У нас прекратился... Сбился биологический цикл... Ясно? Очень страшно! Страшно подумать, что ты уже никогда не будешь женщиной...»

*Мария Нестеровна Кузьменко,
старший сержант, вооружейница*

«Мы стремились... Мы не хотели, чтобы о нас говорили: “Ах, эти женщины!”. И старались больше, чем мужчины, мы еще должны были доказать, что не хуже мужчин. А к нам долго было высокомерное, снисходительное отношение: “Навоюют эти бабы...”.

А как быть мужчиной? Невозможно быть мужчиной. Наши мысли — это одно, а наша природа — это другое. Наша биология...

Идем... Человек двести девушек, а сзади человек двести мужчин. Жара стоит. Марш-бросок — тридцать километров. Тридцать! Мы идём, а после нас красные пятна на песке... Следы красные... Ну, дела эти... Наши... Как ты тут что спрячешь? Солдаты идут следом и делают вид, что ничего не замечают... Не смотрят под ноги... Брюки на нас засыхали, как из стекла становились. Резали. Там раны были, и все время слышался запах крови. Нам же ничего не выдавали... Мы сторожили: когда солдаты повесят на кустах свои рубашки. Пару штук стащим... Они потом уже догадывались, смеялись: “Старшина, дай нам другое белье. Девушки наше забрали”. Ваты и бинтов для раненых не хватало... А не то что... Женское белье, может быть, только через два года появилось. В мужских трусах ходили и майках. Ну, идем... В сапогах! Ноги тоже сжарились. Идем... К переправе, там ждут паромы. Добрались до переправы, и тут нас начали бомбить. Бомбежка страшнейшая, мужчины — кто куда прятаться. Нас зовут... А мы бомбежки не слышим, нам не до бомбежки, мы скорее в речку. К воде... Вода! Вода! И сидели там, пока не отмокли... Под осколками... Вот

оно... Стыд был страшнее смерти. И несколько девчонок в воде поггло....

Может, первый раз тогда я захотела быть мужчиной... Первый раз...

И вот — Победа. Я первое время иду по улице — и не верю, что Победа. Я сяду за стол — и не верю, что Победа. Победа! Наша победа...»

*Мария Семеновна Калиберда, сержант,
связистка*

«Освобождали уже Латвию... Мы стояли под Даугавпилсом. Это ночь, я только прилечь собралась. Слышу, часовой кого-то окликает: “Стой! Кто идет?”. И буквально через десять минут меня зовут к командиру. Захожу в командирскую землянку, там сидят наши товарищи и какой-то мужчина в штатском. Я хорошо запомнила этого человека. Все годы видела мужчин только в военном, в шинелях, а этот был в черном пальто с плюшевым воротником.

— Нужна ваша помощь, — говорит мне этот мужчина. — В двух километрах отсюда рождает моя жена. Она одна, больше в доме никого нет.

Командир спрашивает:

— Это на нейтральной полосе. Сами знаете — небезопасно.

— Рождает женщина. Я должна ей помочь.

Дали мне пять автоматчиков. Напаковала сумку перевязочного материала, недавно выдали мне новые фланелевые портянки, тоже взяла с собой. Пошли. Все время обстреливают — то недолет, то перелет. И лес такой темный, что луны даже не видно. Наконец появился силуэт какого-то строения. Это оказался хутор. Когда мы зашли в дом, я увидела женщину. Она лежала на полу, вся в каких-то старых тряпках. Муж стал сразу завешивать окна. Два автоматчика — на дворе, два — у дверей, один мне фонариком освещает. Женщина еле сдерживала стоны, ей очень больно.

Я все время просила ее:

— Потерпите, родненькая. Нельзя кричать. Терпите.

Это же нейтральная полоса. Если противник заметит что-нибудь, то нас забросают снарядами. Но когда солдаты услышали, что ребенок родился... “Ура! Ура!” Тихо так, почти шепотом. На передовой родился ребенок!

Принесли воды. Кипятить негде было, обтерла ребеночка холодной. Завернула в свои портянки. В доме ничего не найти, только старые тряпки, на которых лежала мать.

И так я пробиралась на этот хутор несколько ночей. Последний раз пришла перед наступлением и прощаюсь:

— Больше я к вам прийти не смогу. Уезжаю.

Женщина о чем-то спросила мужа по-латышски. Он перевел мне:

— Жена спрашивает, как вас зовут?

— Анна.

Женщина опять что-то сказала. И муж снова перевел:

— Она говорит, что очень красивое имя. И в вашу честь мы назовем свою дочь Анной.

Женщина немного приподнялась — встать она еще не могла — и протянула мне красивую перламутровую пудреницу. Это была, видно, ее самая дорогая вещь. Я открыла пудреницу, и этот запах пудры ночью, когда кругом стреляют, рвутся снаряды... Это было что-то такое... Я и теперь плакать хочу... Запах пудры, эта перламутровая крышечка... Маленький ребенок... Девочка... Что-то такое домашнее, что-то из настоящей женской жизни...»

*Анна Николаевна Хролович,
гвардии лейтенант, фельдшер*

«Женщина на флоте... Это было что-то запретное, даже неестественное. Считалось, что она приносит несчастье на корабле. Сама я родом из-под Фастова, в нашем селе

до смерти маму дразнили бабы: кого ты родила — девку или парня? А я писала самому Ворошилову, чтобы меня приняли в Ленинградское артиллерийско-техническое училище. И только по его личному распоряжению меня туда приняли. Единственную девчонку.

Окончила училище, все равно хотели оставить на суше. Тогда я перестала признаваться, что я женщина. Спасала украинская фамилия “Руденко”. Но один раз все-таки выдала себя. Драила палубу, вдруг слышу шум, обернулась: матрос прогоняет кошку, неизвестно, как она попала на корабль, где, наверное, еще от первых мореплавателей осталось суеверие, что кошки и женщины приносят в море несчастье. Кошке не хотелось покидать корабль, и она выделывала такие финты, что ей бы позавидовал футболист мирового класса. На корабле — смех. Но в тот момент, когда кошка чуть не свалилась в воду, я испугалась и закричала. И, видно, это был такой девичий дискант, что мужской смех разом прекратился. Установилась тишина.

Слышу голос командира:

— Вахтенный, на корабль проходила женщина?

— Никак нет, товарищ командир.

Тут опять паника — на корабле женщина.

...Я была первая женщина, кадровый офицер Военно-Морского флота. В войну вооружала корабли, морскую пехоту. Тогда и появилось в английской прессе, что какое-то непонятное создание — не то мужчина, не то женщина — воюет у русских во флоте. И, мол, эту “леди с кортиком” никто замуж не возьмет. Меня замуж не возьмет?! Нет, ошибаешься, господин хороший, возьмет, самый красивый офицер...

Я была счастливой женой и осталась счастливой матерью и бабушкой. Не моя вина, что муж погиб на войне. А флот я любила и люблю всю жизнь...»

*Таисия Петровна Руденко-Шевелева, капитан,
командир роты Московского флотского экипажа,
ныне подполковник в отставке*

«Я работала на заводе... На цепном заводе в нашей деревне Михальчиково Кстовского района Горьковской области. Как только стали призывать мужчин и отправлять их на фронт, меня поставили на станок выполнять мужскую работу. Оттуда перевели в горячий цех молотобойцем, где ковали корабельные цепи.

Просилась на фронт, но заводское начальство под разными предлогами задерживало меня на заводе. Тогда я написала в райком комсомола и в марте сорок второго получила призывную повестку. Нас уходило несколько девушек, провожать вышла вся деревня. Тридцать километров до Горького шли пешком, а там нас распределили по разным частям. Меня направили в семьсот восемьдесят четвертый зенитный, артиллерийский полк среднего калибра.

Скоро назначили первым номером-наводчиком. Но мне и этого мало, я хотела стать заряжающим. Правда, эта работа считалась чисто мужской: надо было поднимать шестнадцатикилограммовые снаряды и вести интенсивный огонь с темпом пять секунд в залпе. Только не зря я работала молотобойцем. Через год мне присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром второго орудия, в котором были две девушки и четверо мужчин. От сильного огня стволы орудий накалялись докрасна и становилось опасно стрелять, приходилось, вопреки всем правилам, охлаждать их смоченными водой одеялами. Орудия не выдерживали, а люди выдерживали. Я — выносливая, сильная девушка, но знаю, что на войне была способна на большее, чем в мирной жизни. Даже физически. Откуда-то поднимались неизвестные силы...

Услышав по радио о Победе, я подняла расчет по тревоге и подала свою последнюю команду:

— Азимут — пятнадцать ноль-ноль. Угол возвышения — десять ноль. Взрыватель сто двадцать, темп десять!

Сама подошла к замку и начала салютовать четырьмя снарядами в честь нашей Победы после четырех лет войны.

На выстрелы выбежали все, кто был на позиции батареи, а также комбат Слатвинский. За самовольство он при всех приказал посадить меня под арест, но потом отменил свое решение. И мы все вместе салютовали теперь уже из личного оружия, обнимались и целовались. Пили водку, пели песни. А потом плакали всю ночь и весь день...»

*Клавдия Васильевна Коновалова,
младший сержант, командир зенитного орудия*

«У меня на плечах ручной пулемет... Я никогда не признаюсь, что он тяжелый. Кто меня тогда вторым номером оставит? Неполноценный боец, надо заменить. Отошлют на кухню. А это стыдно. Не дай бог всю войну пробывать на кухне. Я бы плакала...

— Женщин посылали на задания наравне с мужчинами?

— Нас старались беречь. Надо было проситься на боевое задание или заслужить. Проявить себя. Нужна была смелость, отчаянность в характере для такого дела. А на это все-таки не каждая девчонка была способна. Работала у нас на кухне Валя. Она такая мягкая, застенчивая, ее с винтовкой и не представишь. В крайнем случае она бы, конечно, стреляла, но на задания она не рвалась. Я? Я рвалась. Я мечтала!

А в школе была тихая девочка... Незаметная...»

*Галина Ярославовна Дубовик,
партизанка двенадцатой кавалерийской
партизанской бригады имени Сталина*

«Приказ: прибыть на место через двадцать четыре часа... Направление — в полевой передвижной госпиталь семьсот тринадцать...»

Помню, что явилась в госпиталь в черном маркизетовом платье и босоножках, а сверху на мне была плащ-накидка мужа. Сразу выдали военное обмундирование, но я его отказалась получать: все было на три-четыре номера больше моего размера. Начальнику госпиталя доложили, что я не подчиняюсь военной дисциплине. Он никаких мер предпринимать не стал, мол, подождем, через несколько дней переоденется сама.

Через несколько дней мы переезжали в другое место, и нас очень бомбили. Прятались мы в картофельном поле, а перед этим был дождь. Можете себе представить, во что превратилось мое маркизетовое платье и какими стали босоножки? На следующий день я уже оделась солдатом. В полном обмундировании.

Так начался мой военный путь... До самой Германии...

В сорок втором году в первых числах января мы вошли в село Афоневка Курской области. Стояли сильные морозы. Два школьных здания были битком набиты ранеными: лежали на носилках, на полу, на соломе. Не хватало машин и бензина, чтобы вывезти всех в тыл. Начальник госпиталя принял решение организовать конный обоз из Афоневки и соседних сел. Наутро обоз пришел. Управляли лошадьми исключительно женщины. На санях лежали домотканые одеяла, кожухи, подушки, у некоторых — даже перины. До сих пор не могу вспомнить без слез, как это было... Эти сцены... Каждая женщина выбрала себе своего раненого, стала готовить в путь и тихонько причитать: “Сыночек родименький!”, “Ну, мой миленький”, “Ну, мой хорошенький!”. Каждая захватила с собой немного домашней еды, вплоть до теплой картошки. Они укутывали раненых в свои домашние вещи, осторожно укладывали в сани. До сих пор стоит у меня в ушах эта молитва, это тихое бабье причитание: “Ну, мой миленький”, “Ну, мой хорошенький...”. Жаль, даже мучит совесть, что тогда мы не спросили фамилий у этих женщин.

Еще я запомнила, как мы двигались по освобожденной Белоруссии и в деревнях совсем не встречали мужчин. Встречали нас одни женщины. Одни женщины остались...»

*Елена Ивановна Варюхина,
медсестра*

О безмолвии ужаса и красоте вымысла

«Разве я найду такие слова? О том, как я стреляла, я могу рассказать. А о том, как плакала, нет. Это останется невысказанным. Знаю одно: на войне человек становится страшным и непостижимым. Как его понять?

Вы — писательница. Придумайте что-нибудь сами. Что-нибудь красивое. Без вшей и грязи, без блевотины... Без запаха водки и крови... Не такое страшное, как жизнь...»

*Анастасия Ивановна Медведкина, рядовая,
пулеметчица*

«Не знаю... Нет, я понимаю, о чем вы спрашиваете, но мне не хватает моего языка... Мой язык... Как описать? Надо... Чтобы... Душил спазм, как он душит меня: ночью лежу в тишине и вдруг вспомню. Задыхаюсь. В ознобе. Вот так...»

Где-то есть эти слова... Нужен поэт... Как Данте...»
*Анна Петровна Калягина,
сержант, санинструктор*

«Бывает, услышу музыку... Или песню... Женский голос... И там найду то, что я тогда чувствовала. Что-то похожее...»

А смотрю кино о войне — неправда, книгу читаю — неправда. Ну, не то... Не то получается. Сама начинаю говорить — тоже не то. Не так страшно и не так красиво. Знаете, какое красивое бывает на войне утро? Перед

боем... Ты смотришь и знаешь: оно может быть у тебя последним. Земля такая красивая... И воздух... И солнышко...»

*Ольга Никитична Забелина,
военный хирург*

«В гетто мы жили за колючей проволокой... Я даже помню, что это случилось во вторник, почему-то я потом обратила внимание на то, что это был вторник. Вторник... Число и месяц не помню. Но это был вторник. Случайно подошла к окну. На скамейке напротив нашего дома сидели мальчик и девочка и целовались. Кругом погромы, расстрелы. А они целуются! Я была потрясена этой мирной картиной...

С другого конца улицы, наша улица была короткая, показался немецкий патруль. Они тоже все увидели, у них отличный обзор. Я ничего не успела сообразить. Конечно, не успела... Крик. Грохот. Выстрелы... Я... Никаких мыслей... Первое чувство — страх. Я только увидела, что мальчик и девочка — р-раз! встали — и вот уже падают. Они упали вместе.

А потом... День прошел, второй... Третий... А я всё об этом думаю. Это же надо понять: они целовались не дома, а на улице. Почему? Они хотели так умереть... Знали, что все равно погибнут в гетто, и хотели умереть по-другому. Конечно, это любовь. А что — другое? Что может быть другое... Только любовь.

Рассказала вам... Ну это же, правда, получилось — красиво. А в жизни? В жизни я испытала ужас... Да... Что еще? Я сейчас подумаю... Они боролись... Они хотели красиво умереть. Это, я уверена, был их выбор...»

*Любовь Эдуардовна Кресова,
подпольщица*

«Я? Я не хочу говорить... Хотя нет... Короче... Про это нельзя говорить...»

Ирина Моисеевна Лепицкая, рядовая, стрелок

«По городу бродила сумасшедшая женщина... Никогда она уже не умывалась, не расчесывалась. У нее убили пятерых детей. Всех. И убили по-разному. Одному в голову стреляли, другому в ушко...

Она подходила к человеку на улице... Любому... И говорила: “Я расскажу тебе, как убили моих детей. С которого начать? С Васеньки... Ему в ушко стреляли! А Толику в головку... Ну, с кого?”

От нее все бежали. Она была безумная, поэтому она могла рассказывать...»

*Антонина Альбертовна Выжutowич,
партизанская медсестра*

«Одно лишь помню: крикнули — победа! Весь день стоял крик... Победа! Победа! Братцы! Я сначала не поверила, так как привыкли уже к войне — вроде это и есть жизнь. Победа! Мы победили... Мы были счастливы! Счастливы!»

*Анна Михайловна Перепелка,
сержант, медсестра*

**«БАРЫШНИ! А ВЫ ЗНАЕТЕ:
КОМАНДИР САПЕРНОГО ВЗВОДА
ЖИВЕТ ТОЛЬКО ДВА МЕСЯЦА...»**

Я все время говорю об одном... Так или иначе туда возвращаюсь...

Чаще всего я говорю о смерти. Об их отношениях со смертью — она же постоянно кружила рядом. Так близко и уже привычно, как и жизнь. Я пытаюсь понять, как можно было уцелеть среди этого бесконечного опыта умирания? Смотреть изо дня в день. Думать. Невольно примеряться.

Можно ли об этом рассказать? Что поддается словам и нашим чувствам? А что — неизъяснимо? Вопросов у меня появляется все больше, а ответов все меньше.

Иногда я возвращаюсь домой после встреч — с мыслью, что страдание — это одиночество. Глухая изоляция. В другой раз мне кажется, что страдание — особый вид знания. Есть что-то в человеческой жизни, что другим путем невозможно передать и сохранить, особенно у нас. Так устроен наш мир, так устроены мы.

С одной из героинь этой главы мы встретились в аудитории Белорусского государственного университета. Студенты шумно и радостно складывали свои тетрадки после лекции. «Какие мы были тогда? — ответила она вопросом на мой первый вопрос. — Вот такие, как они, мои студенты. Только одежда другая и украшения у де-

вушек попроще. Железные колечки, стеклянные бусы. Прорезиненные тапочки. Не было еще этих джинсов, магнитофонов».

Я смотрела вслед торопившимся студентам, а рассказ уже начинался...

«До войны мы с подругой окончили университет, во время войны — саперную школу. Ехали на фронт уже офицерами... Младшими лейтенантами... Встретили нас так: “Молодцы, девочки! Хорошо, что приехали, девочки. Но никуда мы вас не пошлем. Будете у нас в штабе”. Это нас так встретили в штабе инженерных войск. Тогда мы разворачиваемся и идем искать командующего фронтом Малиновского. Когда мы ходили, по поселку разнеслось, что какие-то две девушки ищут командующего. Подходит к нам офицер и говорит:

— Покажите свои документы.

Посмотрел.

— Почему вы ищете командующего, вам же нужно в штаб инженерных войск?

Мы ему отвечаем:

— Нас прислали командирами саперных взводов, а хотят оставить в штабе. А мы будем добиваться, чтобы только — командирами саперных взводов и только — на передовую.

Тогда этот офицер опять ведет нас в штаб инженерных войск. И долго они там все говорили и говорили, набилась полная хата людей, и каждый советует, а кто и смеется. А мы упорствуем, на своем стоим, что, мол, у нас есть направление, мы должны быть только командирами саперных взводов. Тогда этот офицер, который нас привел, разозлился:

— Барышни! А вы знаете, сколько живет командир саперного взвода? Командир саперного взвода живет только два месяца...

— Знаем, поэтому и хотим на передовую.

Делать им нечего, выписывают нам направление:

— Ну, хорошо, мы вас пошлем в пятую ударную армию. Что такое ударная армия, вы, вероятно, знаете, само название свидетельствует. Это — постоянно передовая.

Каких только они страхов нам не наговорили. А мы рады:

— Согласны!

Приехали в штаб пятой ударной, там сидит такой интеллигентный капитан, он нас очень красиво принял, но как услышал, что мы намерены быть только командирами саперных взводов, схватился за голову:

— Нет, нет! Что вы? Найдем вам работу здесь, в штабе. Вы что, шутите, там же одни мужчины, и вдруг командир будет женщина — это безумие. Что вы, что вы!

Два дня они нас там прорабатывали. Прямо сказать... Уговаривали. Мы не отступили: только командирами саперных взводов. От своего — ни шагу. Но и это еще не все. Наконец... Наконец получили назначение. Привели меня к моему взводу... Солдаты смотрят: кто с насмешкой, кто со злом даже, а другой так передернет плечами — сразу все понятно. Когда командир батальона представил, что вот, мол, вам новый командир взвода, все сразу взвыли: “У-у-у-у...”. Один даже сплюнул: “Тьфу!”.

А через год, когда мне вручали орден Красной Звезды, эти же ребята, кто остался в живых, меня на руках в мою землянку несли. Они мной гордились.

Если спросите, какого цвета война, я вам скажу — цвета земли. Для сапера... Черного, желтого, глиняного цвета земли...

Где-то мы идем... Ночуем в лесу. Разложили костер, и горит этот костер, и все сидят тихо-тихо, а кто уже и уснул. Я засыпаю, глядя на огонь, я сплю с открытыми глазами: какие-то мотыльки, какие-то мошки летят на огонь, летят всю ночь, ни звука, ни шороха, они безмолвно исчезают в этом большом костре. Другие сле-

дом летят... Прямо сказать... Вот так и мы. Шли и шли. Катили потоком.

Через два месяца меня не убило, через два месяца меня ранило. Первый раз ранило легко. И я перестала думать о смерти...»

*Станислава Петровна Волкова,
младший лейтенант, командир саперного взвода*

«В детстве... Я начну со своего детства... А на войне я больше всего боялась вспоминать детство. Именно детство. Самое нежное на войне нельзя вспоминать... Нежное нельзя... Тут — табу.

Так вот... В детстве отец стриг меня под корень машинкой-нулевкой. Об этом я вспомнила, когда нас постригли, и из девушек мы вдруг превратились в молоденьких солдатиков. Некоторые девчонки испугались... А мне было легко привыкнуть. Моя стихия. Не зря отец вздыхал: “Не девка, а мальчишка растет”. А во всем была виновата одна моя страсть, из-за которой не один раз попадало от родителей. Зимой я прыгала с крутого яра в занесенную снегом Обь. После уроков брала у отца старые ватные брюки, надевала их и завязывала на валенках. Ватную фуфайку заправляла в брюки и крепко затягивалась ремнем. На голове шапка-ушанка, завязанная под подбородком. В таком виде, переваливаясь, как медведь, с ноги на ногу, иду к речке. Разбегаюсь изо всей силы и прыгаю с обрыва вниз...

Ах! Какое ощущение испытываешь, пока летишь в пропасть и скрываешься с головой под снегом. Дух захватывает! Пробовали со мной другие девчонки, но у них не получалось гладко: то ногу подвернет, то нос разобьет о жесткий снег, то еще что-нибудь случится. Я же была ловчее мальчишек.

О детстве вспомнила... Потому что не хочется сразу про кровь... Но я понимаю — это важно, это, конечно, важно. Я люблю книжки читать. Я понимаю...

Прибыли мы в Москву в сентябре сорок второго... Целую неделю нас возили по железнодорожному кольцу. Останавливались на станциях: Кунцево, Перово, Очаково, и везде с эшелона выгружались девушки. Приходили, как говорят, “покупатели”, командиры из разных частей и родов войск, агитировали нас в снайпера, санинструкторы, радисты... Меня все это не прельщало. Наконец со всего эшелона нас осталось тринадцать человек. Всех поместили в одну теплушку. В тупике стояло всего два вагона: наш и штабной. Двое суток к нам никто не появлялся. Мы смеялись и пели песню: “Позабыт, позаброшен”. К концу второго дня под вечер мы увидели, что к нашим вагонам вместе с начальником эшелона направляются три офицера.

“Покупатели”! Они были высокие, стройные, затянутые портупелями. Шинели с иголки, сапоги начищены до блеска, со шпорами. Вот это да! Таких мы еще не видали. Они вошли в штабной вагон, а мы прижались к стенке послушать, что там будут говорить. Начальник показывал наши списки и давал краткую характеристику: кто такая и откуда родом, образование. Наконец мы услышали: “Все подойдут”.

Тогда начальник вышел из вагона и приказал нам построиться. Спросили: “Желаете учиться искусству воевать?”. Ну как же мы можем не желать, конечно, желаем. Очень даже! Мечтаем! Даже никто из нас не спросил: где учиться и на кого? Приказ: “Старший лейтенант Митропольский, везите девушек в училище”. Каждая надела на плечи свой “сидор”, стали по две, и повел нас офицер по улицам Москвы. Любимая Москва... Столица... Даже в это трудное время красивая... Родная... Офицер шел быстро, крупными шагами, мы не успевали за ним. Только на встрече в Москве в день тридцатилетия Победы Сергей Федорович Митропольский признался нам, бывшим курсанткам Московского Военно-инженерного училища, как ему было стыдно вести нас по Москве. Он старался по-

дальше отойти от нас, чтобы на него не обращали внимания. На этот девичий табун... Мы этого не знали и почти бегом догоняли его. Хороши же мы, наверное, были!

Так вот... С первых же дней занятий схватила два наряда вне очереди: то аудитория холодная меня не устраивала, то еще что-то. Знаете, школьные привычки. Ну и получала по заслугам — один наряд вне очереди, второй... Вскоре еще и еще. При разводе на улице курсанты заприметили меня и начали смеяться: штатный дневальный. Им, конечно, смешно, а я на занятия не хожу, ночью не сплю. Днем целый день стою возле дверей у тумбочки, а ночью натираю в казарме пол мастикой. Как это тогда делалось? Сейчас объясню... В деталях... Это не то, что сейчас, теперь имеются различные щетки, полотеры и тому подобное. А тогда... После отбоя снимаешь сапоги, чтобы не запачкать мастикой, обматываешь ноги кусками старой шинели, делаешь как бы лапти, замотанные шпагатом. Разбрасываешь мастику по полу, растираешь щеткой, да не капроновой, а волосяной, от которой прилипают клочья, и тогда уже начинаешь шуровать ногами. Тереть нужно до зеркального блеска. Вот тут за ночь натанцуешься! Ноги гудят и немеют, спину не разогнуть, пот заливает глаза. Утром даже нет силы прокричать роте: “Подъе-о-ом!”. А днем тоже присесть не удастся, так как дневальный все время должен стоять у тумбочки. Однажды со мной произошел казус... Смешно... Стою у тумбочки, только справилась с уборкой в казарме. До того захотелось спать, что чувствую — сейчас упаду. Облокотилась на тумбочку и задремала. И вдруг слышу, как кто-то открывает дверь в помещение, вскочила — передо мной стоит дежурный по батальону. Я вскинула руку и доложила: “Товарищ старший лейтенант, рота находится на отдыхе”. А он смотрит на меня во все глаза и не может скрыть смеха. И тут я догадалась, что так как я левша, то второпях приложила к шапке левую руку. Попыта-

лась быстро сменить ее на правую, но было уже поздно. Опять проштрафилась.

До меня долго не доходило, что это не игра какая-то и не школа, а военное училище. Подготовка к войне. Приказ командира — закон для подчиненного.

На последнем экзамене запомнила последний вопрос:

— Сколько раз в жизни ошибается сапер?

— Сапер ошибается один раз в жизни.

— Вот так, девонька...

А следом обычное:

— Вы свободны, курсант Байрак.

И вот — война. Настоящая война...

Привели меня к моему взводу. Команда: “Взвод, смирно!”, а взвод и не думает вставать. Кто лежит, кто сидит и курит, а кто потягивается с хрустом в костях: “Э-эх!”. В общем, делали вид, что меня не замечают. Им было обидно, что они, выдавшие виды мужчины-разведчики, должны подчиняться какой-то двадцатилетней девчонке. Я это хорошо понимала и вынуждена была подать команду: “Отставить!”.

Тут начался обстрел... Спрыгнула в канаву, а шинель новенькая, так я легла не вниз на грязь, а сбоку на нарастаявший снежок. Вот смолоду и так бывает — шинель дороже жизни. Девчонка — дура! Ну, и мои солдаты смеются.

Так вот... Что такое инженерная разведка, которую мы ввели? Ночью бойцы рыли парную ячейку на нейтральной полосе. Перед рассветом я с одним из командиров отделений ползла к этому окопчику, и бойцы нас маскировали. И так мы лежали целый день, боясь лишней раз шелохнуться. Через час-два уже мерзнут руки и ноги, хотя на тебе надеты валенки и полушубок. Через четыре часа — готовая сосулька. Идет снег... Превращаешься в снежную бабу... Это зимой... Летом же приходилось лежать на жаре или под дождем. Целый день внимательно за всем следим и составляем карту

наблюдения передовой: в каких местах появились изменения земной поверхности. Если обнаружили бугорки и комочки земли, загрязнение снега, примятую траву или стертую росу на траве, то это то, что надо... Наша цель... Ясно: там немецкие саперы проложили минные поля. Если же они поставили проволочное ограждение, то необходимо выяснить длину и ширину ограждения. Какие использованы мины — противопехотные, противотанковые или мины-сюрпризы? Засекали огневые точки противника...

Перед наступлением наших войск работали ночью. Сантиметр за сантиметром прощупывали местность. Делали коридоры на минных полях... Все время по земле гребли... На пузе... Я же, как челнок, сновала от одного отделения к другому. “Моих” мин всегда больше.

У меня разных случаев... Да их на кино хватит... На многосерийный фильм.

Пригласили офицеры завтракать. Я согласилась, саперам не всегда доставалась горячая еда, в основном жили на подножном корму. Когда все разместились за кухонным столом, я обратила внимание на русскую печь, закрытую заслонкой. Подошла и стала рассматривать заслонку. Офицеры подшучивают: мол, женщине мины даже в горшках мерещатся. Я отвечаю на шуточки и тут замечаю, что в самом низу, с левой стороны заслонки, имеется маленькая дырочка. Внимательнее приглядываюсь и вижу тоненький проводок, который ведет в печку. Быстро поворачиваюсь к сидевшим: “Дом заминирован, прошу покинуть помещение”. Офицеры притихли и с недоверием уставились на меня, никому не охота вставать из-за стола. Мясо пахнет, жареная картошка... Я еще раз повторила: “Немедленно очистить помещение!”. С саперами приступили к работе. Сначала убрали заслонку. “Перекусили” ножницами проволоку... Ну и там... Там... В печке лежало несколько связанных шпагатом эмалированных

литровых кружек. Мечта солдата! Лучше, чем котелок. А в глубине печи, завернутые в черную бумагу, два больших свертка. Килограммов двадцать взрывчатки. Вот вам — и горшки.

Шли мы по Украине, это была уже Станиславская, ныне Ивано-Франковская область. Взвод получил задание: срочно разминировать сахарный завод. Дорога каждая минута: неизвестно, каким способом заминирован завод, если подключен часовой механизм, то взрыва можно ждать с минуты на минуту. Ускоренным маршем вышли на задание. Погода была теплая, шли налегке. Когда стали проходить позиции артиллеристов-дальнобойщиков, вдруг один выскочил из траншеи и закричал: “Воздух! Рама!”. Я подняла голову и ищу в небе “раму”. Никакого самолета не обнаруживаю. Кругом тихо, ни звука. Где же та “рама”? Тут один из моих саперов попросил разрешения выйти из строя. Смотрю, он направляется к тому артиллеристу и отвечает ему оплеуху. Не успела я что-нибудь сообразить, как артиллерист закричал: “Хлопцы, наших бьют!”. Из траншеи повыскакивали другие артиллеристы и окружили нашего сапера. Мой взвод, не долго думая, побросал щупы, миноискатели, вещмешки и бросился к нему на выручку. Завязалась драка. Я не могла понять, что случилось? Почему взвод ввязался в драку? Каждая минута на счету, а тут такая заваруха. Даю команду: “Взвод, стать в строй!”. Никто не обращает на меня внимания. Тогда я выхватила пистолет и выстрелила в воздух. Из блиндажа выскочили офицеры. Пока всех утихомирили, прошло значительное время. Подошел к моему взводу капитан и спросил: “Кто здесь старший?”. Я доложила. У него округлились глаза, он даже растерялся. Затем спросил: “Что тут произошло?”. Я не могла ответить, так как на самом деле не знала причины. Тогда вышел мой помкомвзвода и рассказал, как все было. Так я узнала, что такое “рама”, какое это

обидное было слово для женщины. Что-то типа шлюхи. Фронтное ругательство...

А знаете... У нас честный разговор... Я ни о любви, ни о детстве старалась на войне не думать. И о смерти тоже. М-м-м... У нас честный разговор... Так вот... Я уже говорила: у меня было много запретного, чтобы выжить. Особенно все ласковое и нежное я себе запретила. Даже думать об этом. Вспоминать. Помню, что впервые в освобожденном Львове дали нам несколько свободных вечеров. Впервые за всю войну... В городском кинотеатре батальон смотрел кинофильм. Первое время как-то непривычно было сидеть в мягких креслах, видеть красивую обстановку, уют и тишину. Перед началом сеанса играл оркестр, выступали артисты. В фойе устроили танцы. Танцевали полечку, краковяк, падэспань и заканчивали неизменной "Русской". Особенно действовала на меня музыка... Даже не верилось, что где-то стреляют и нам скоро опять на передовую. Где-то рядом смерть.

Но уже через день моему взводу было приказано прочесать пересеченную местность от местечка к железной дороге. Там подорвалось несколько машин. Мины... Вдоль шоссе пошли разведчики с миноискателями. Моросил холодный дождик. Все промокли до ниточки. Сапоги мои разбухли, стали тяжелыми, как будто подошвы из железа. Я подоткнула полы шинели за ремень, чтобы не путались под ногами. Впереди меня на поводке шла моя собачка Нелька. Найдет снаряд или мину, сядет возле нее и ждет, пока не разминируют. Мой верный дружок... И вот Нелька села... Ждет и поскуливает... А тут передают по цепи: "Лейтенант, к генералу". Оглянулась: на проселочной дороге стоял "виллис". Я перепрыгнула через кювет, на ходу одернула полы шинели, поправила ремень и пилотку. Все равно вид у меня был затрапезный.

Подбежав к машине, открыла дверку и стала докладывать:

— Товарищ генерал, по вашему приказанию...

Услышала:

— Отставить...

Вытянулась по стойке “смирно”. Генерал даже не повернулся ко мне, а через стекло машины смотрит на дорогу. Нервничает и часто посматривает на часы. Я стою. Он обращается к своему ординарцу:

— Где же тот командир саперов?

Я снова попыталась доложить:

— Товарищ генерал...

Он наконец повернулся ко мне и с досадой:

— На черта ты мне нужна!

Я все поняла и чуть не расхохоталась. Тогда его ординарец первый догадался:

— Товарищ генерал, а может, она и есть командир саперов?

Генерал уставился на меня:

— Ты кто?

— Командир саперного взвода, товарищ генерал.

— Ты — командир взвода? — возмутился он.

— Так точно, товарищ генерал!

— Это твои саперы работают?

— Так точно, товарищ генерал!

— Заладила: генерал, генерал...

Вылез из машины, прошел несколько шагов вперед, затем вернулся ко мне. Постоял, смерил глазами. И к своему ординарцу:

— Видал?

А у меня спросил:

— Сколько же тебе лет, лейтенант?

— Двадцать, товарищ генерал.

— Откуда родом?

— Сибирячка.

Он еще долго расспрашивал меня, предложил перейти в их танковую часть. Возмущался, что я была в таком затрапезном виде: он бы не допустил этого. Им саперы

позарез нужны. Потом отвел меня в сторонку и показал на лесок:

— Вон там стоят мои коробочки. Я хочу пропустить их по этой железной дороге. Рельсы и шпалы сняты, но дорога может быть заминирована. Удружи танкистам, проверь дорогу. Здесь удобнее и ближе двигаться к передовой. Знаешь, что такое внезапный удар?

— Знаю, товарищ генерал.

— Ну, будь здорова, лейтенант. Обязательно доживи до победы, она уже скоро. Понимаешь!

Железная дорога действительно оказалась заминированной. Мы проверили.

Всем хотелось дожить до победы...

В октябре сорок четвертого наш батальон в составе двести десятого отдельного отряда разминирования вместе с войсками Четвертого Украинского фронта вступил на территорию Чехословакии. Везде нас встречали с радостью. Бросали цветы, фрукты, пачки сигарет... Расстилали на мостовых ковры... То, что девушка командует взводом мужчин да еще сама сапер-минер, стало сенсацией. Я была пострижена под мальчишку, ходила в брюках и кителе, повадки появились мужские, короче, была похожа на подростка. Иногда въезжала в село на коне верхом, тут уже совсем трудно было определить, что за всадник, но женщины чутьем угадывали и присматривались ко мне. Женская интуиция... Было смешно... Здорово! Я приходила на квартиру, где должна была остановиться, и тут хозяева узнавали, что их постоялец офицер, но не мужчина. От удивления многие стояли с открытыми ртами... Немое кино! Но мне это... М-м-м... Мне это даже нравилось. Нравилось удивлять таким образом. То же было в Польше. Помню, в одной деревушке старушка погладила меня по голове. Я догадалась: “Цо пани роги на мне шука?”. Она смутилась и сказала, мол, нет, просто хотела пожалеть меня, “таку млоду паненку”.

А мины — на каждом шагу. Мин было много. Однажды зашли в дом, кто-то первый увидел хромовые сапоги, стоящие возле шкафа. Уже протянул руку, чтобы взять их. Я крикнула: “Не смей трогать!”. Когда подошла и стала рассматривать, то оказалось, что они заминированы. Встречались заминированные кресла, комоды, серванты, куклы, люстры... Крестьяне просили разминировать гряды с помидорами, картофелем, капустой. Чтобы попробовать вареников, взводу пришлось в одной деревне разминировать поле с пшеницей и даже цеп, чтобы обмолотить снопы...

Так вот... Прошла Чехословакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Германию... А впечатлений в памяти осталось мало, в основном вспоминается только зрительное фотографирование рельефа местности. Валуны... Высокая трава... То ли действительно она была высокая, то ли нам так казалось, потому что по ней невероятно трудно было пробираться и работать щупами и миноискателями. Трава старая... Лопухи выше кустов... Вспоминается еще множество ручейков и оврагов. Лесная чащоба, сплошные проволочные заграждения с подгнившими кольями, заросшие минные поля. Запущенные цветочные клумбы. Там всегда прятались мины, немцы любили клумбы. Один раз на соседнем поле копали лопатой картошку, а мы рядом выкапывали мины...

В Румынии в городе Деж я остановилась в доме молодой румынки, которая хорошо говорила по-русски. Оказалось, что ее бабушка русская. У женщины было трое детей. Муж погиб на фронте, причем в румынской добровольческой дивизии. Но она любила посмеяться, повеселиться. Однажды и меня пригласила пойти с ней на танцы. Предложила свои наряды. Соблазн был велик. Я надела брюки, гимнастерку, хромовые сапоги, а поверх всего — румынский национальный костюм: длинную, вышитую по полотну сорочку и шерстяную, в клетку узкую юбку, а в талии перехватила ее черным

кушаком. На голову накинула цветной платок с большими кистями. Если еще добавить, что, ползая по горам, за лето я загорела до черноты, только на висках торчали белые вихры, да облупился нос, то уже меня не отличить от настоящей румынки. Румынской девушки.

Клуба у них не было, собиралась молодежь в чьем-то доме. Когда мы пришли, уже играла музыка, танцевали. Я увидела почти всех офицеров своего батальона. Сначала боялась, что меня узнают и разоблачат, поэтому отсиживалась далеко в сторонке, не привлекая к себе внимания, даже чуть прикрываясь платком. Хотя бы посмотреть на все... Ну, посмотрю издали... Но после того, как меня пригласил несколько раз на танец один из наших офицеров и не узнал с накрашенными губами и подведенными бровями, мне стало смешно и весело. Я веселилась от души... Мне нравилось, когда говорили, что я красивая. Слышала комплименты... Танцевала и танцевала...

Кончилась война, а мы еще целый год разминировали поля, озера, речки. В войну все сбрасывали в воду, главное было пройти, успеть вовремя к цели. А теперь надо было думать о другом... О жизни... Для саперов война кончилась через несколько лет после войны, они воевали дольше всех. А что такое ждать взрыва после Победы? Ждать этого мига... Нет-нет! Смерть после Победы — самая страшная смерть. Дважды смерть.

Так вот... В подарок к Новому, сорок шестому году мне выдали десять метров красного сатина. Я посмеялась: “Ну зачем он мне? Разве после демобилизации пошью себе красное платье. Платье Победы”. Как в воду глядела... Скоро пришел приказ о моей демобилизации... Как водится, мне устроили в своем батальоне торжественные проводы. На вечере офицеры преподнесли в подарок большой, тонкой вязки синий платок. Этот платок я должна была выкупить песней о синем платочке. И я им весь вечер пела.

А в поезде у меня поднялась температура. Распухло лицо, рот не раскрыть. Росли зубы мудрости... Я возвращалась с войны...»

*Апполина Никоновна Лицкевич-Байрак,
младший лейтенант, командир
саперно-минерного взвода*

«ТОЛЬКО ПОГЛЯДЕТЬ ОДИН РАЗ...»



А сейчас будет рассказ о любви...

Любовь — единственное личное событие человека на войне. Все остальное общее — даже смерть.

Что явилось для меня неожиданностью? То, что о любви они говорили менее откровенно, чем о смерти. Все время что-то не досказывали, как будто защищались, всякий раз останавливаясь у некой черты. Зорко ее охраняли. Между ними существовал негласный договор — дальше нельзя. Занавес опускался. От чего защищались — понятно, от послевоенных обид и наветов. Уж им-то досталось! После войны у них была еще одна война, не менее страшная, чем та, с которой они вернулись. Если кто-нибудь решался быть искренним до конца, вырывалось отчаянное признание, то с обязательной просьбой в конце: «фамилию мою измените», или «в наше время об этом не принято было говорить вслух... неприлично...». Я слышала больше о романтическом и трагическом.

Конечно, это не вся жизнь и не вся правда. Но это их правда. Как честно признался один из писателей военного поколения: «Будь проклята война — наш звездный час!». Это — пароль, общий эпитаф к их жизни.

А все-таки: какая она, любовь, там? Возле смерти...

О чертовой бабе и майских розах

«Война отняла у меня мою любовь... Мою единственную любовь...

Бомбят город, прибежала ко мне сестра Нина, прощаемся. Уже думали — не увидимся. Она мне говорит: “Я пойду в сандружинницы, только где мне их найти”. И вот я помню: смотрю на нее, а это было лето, на ней легкое платьице, и я вижу у нее на левом плече, тут, около шеи, родимый значок. Это моя родная сестра, а я впервые его увидела. Смотрю и думаю: “Я тебя везде узнаю”.

И такое острое чувство... Такая любовь... Сердце рвется...

Из Минска все уходили. Дороги обстреливались, шли лесом. Где-то девочка кричит: “Мама, война”. Наша часть отступает. Идем по просторному широкому полю, колосится рожь, а у дороги низкая крестьянская изба. Уже Смоленщина... Около дороги стоит женщина, казалось, что эта женщина выше своего домика, была она одета во все льняное, вышитое национальным русским узором. Она скрестила руки на груди и низко кланялась, солдаты шли, а она им кланялась и говорила: “Пускай вас Господь домой воротит”. И вы знаете, каждому она кланялась и так приговаривала. У всех на глазах выступали слезы...

Я ее всю войну помнила... И уже другое, это было в Германии, когда мы немцев назад гнали. Какой-то поселок... Сидели во дворе две немки в своих чепчиках и пили кофе. Как будто не было никакой войны... И я подумала: “Боже мой, у нас развалины, у нас люди в земле живут, у нас едят траву, а вы сидите и пьете кофе”. Идут рядом наши машины, наши солдаты едут... Они пьют кофе...

А потом я ехала по нашей земле... И что я видела? Вместо деревни осталась одна печь. Сидит старик, а сзади стоят трое внуков, видно, потерял и сына и невестку. Старуха собирает головешки затопить печь. Повесила

кожух, значит, из леса пришли. И в этой печи ничего не варится.

И такое острое чувство... Такая любовь...

...Наш эшелон остановился. Не помню, что там было — то ли ремонт дороги, то ли меняли паровоз. Сидим мы с одной медсестрой, а рядом двое наших солдат варят кашу. И откуда-то подходят к нам два пленных немца, стали просить есть. А у нас был хлеб. Мы взяли булку хлеба, разделили и дали им. Те солдаты, которые варили кашу, слышу, рассуждают:

— Смотри, сколько врачи дали хлеба нашему врагу! — И дальше что-то в таком духе, мол, разве они знают настоящую войну, сидели в госпиталях, откуда им...

Через какое-то время другие пленные подошли уже к тем солдатам, которые варят кашу. И тот солдат, который нас недавно упрекал, говорит одному немцу:

— Что — жрать захотел?

А тот стоит... Ждет. Другой наш солдат передает буханку хлеба своему товарищу:

— Ладно, отрежь ему.

Тот отрезал по куску хлеба. Немцы взяли хлеб и стоят — видят, что каша варится.

— Ну ладно, — говорит один солдат, — дай им каши.

— Да она еще не готова.

Вы слышали?

И немцы, как будто тоже понимают язык, стоят. Ждут. Солдаты заправили кашу салом и дали им в консервные банки.

Вот вам душа русского солдата. Они осуждали нас, а сами дали хлеба, да еще каши, и только тогда, когда заправили салом. Вот что я помню...

И такое острое чувство... Такое сильное...

Война давно кончилась... Я собиралась на курорт... Как раз это был Карибский кризис. Опять в мире неспокойно стало. Все закачалось. Укладываю чемодан, платяня взяла, кофточки сложила. Ну, кажется, ничего не

забыла? Достая сумочку с документами и беру оттуда свой военный билет. Думаю: “Случится что, я там сразу пойду в военкомат”.

Уже я на море, отдыхаю и возьми Расскажи кому-то за столиком в столовой, что ехала сюда и взяла военный билет. Я так сказала, без всякой мысли или желания порисоваться. А один мужчина за нашим столиком как разволновался:

— Нет, только русская женщина, уезжая на курорт, может взять в собой военный билет и думать, что, если что такое, она сразу пойдет в военкомат.

Я помню его восторг. Его восхищение. Так на меня мой муж смотрел. Этим взглядом...

Простите за длинное вступление... Я не умею говорить по порядку. Мысль всегда у меня скачет, чувства рвутся...

Мы вместе с мужем ушли на фронт. Вдвоем.

Я многое забыла. Хотя вспоминаю каждый день...

Кончился бой... Не верилось тишине. Он гладил траву руками, трава мягкая... И смотрел на меня. Смотрел... Такими глазами...

Они ушли группой в разведку. Ждали их два дня... Я не спала два дня... Задремала. Просыпаюсь от того, что он сидит рядом и смотрит на меня. “Ложись спать”. — “Жалко спать”.

И такое острое чувство... Такая любовь... Сердце рвется...

Я многое забыла, почти все забыла. А думала, что не забуду. Ни за что не забуду.

Мы уже шли через Восточную Пруссию, уже все говорили о Победе. Он погиб... Погиб мгновенно... От осколка... Мгновенной смертью. Секундной. Мне передали, что их привезли, я прибежала... Я его обняла, я не дала его забрать. Хоронить. В войну хоронили быстро: днем погиб, если бой быстрый, то сразу собирают всех, свозят отовсюду и роют большую яму. Засыпают. Другой раз одним сухим песком. И если долго на этот песок

смотреть, то кажется, что он движется. Дрожит. Колышется этот песок. Потому что там... Там для меня еще живые люди, они недавно были живые... Я вижу их, я с ними разговариваю... Не верю... Мы все ходим и не верим еще, что они там... Где?

И я не дала его тут же хоронить. Хотела, чтобы еще была у нас одна ночь. Сидеть возле него. Смотреть... Гладить...

Утром... Я решила, что увезу его домой. В Беларусь. А это — несколько тысяч километров. Военные дороги... Неразбериха... Все подумали, что от горя я сошла с ума. “Ты должна успокоиться. Тебе надо поспать”. Нет! Нет! Я шла от одного генерала к другому, так дошла до командующего фронтом Рокоссовского. Сначала он отказал... Ну, ненормальная какая-то! Сколько уже в братских могилах похоронено, лежит в чужой земле...

Я еще раз добилась к нему на прием:

— Хотите, я встану перед вами на колени?

— Я вас понимаю... Но он уже мертвый...

— У меня нет от него детей. Дом наш сгорел. Даже фотографии пропали. Ничего нет. Если я его привезу на родину, останется хотя бы могила. И мне будет куда возвращаться после войны.

Молчит. Ходит по кабинету. Ходит.

— Вы когда-нибудь любили, товарищ маршал? Я не мужа хороню, я любовь хороню.

Молчит.

— Тогда я тоже хочу здесь умереть. Зачем мне без него жить?

Он долго молчал. Потом подошел и поцеловал мне руку.

Мне дали специальный самолет на одну ночь. Я вошла в самолет... Обняла гроб... И потеряла сознание...»

*Ефросинья Григорьевна Бреус,
капитан, врач*

«Разлучила нас война... Муж — на фронте. Я эвакуировалась сначала в Харьков, а затем в Татарию. Устроилась там работать. И вот однажды меня разыскивают, а моя девичья фамилия Лисовская. Зовут все: “Совская! Совская!”. И я тогда отзываюсь: “Это я!”. Мне говорят: “Идите в энкаведе, берите пропуск и следуйте в Москву”. Почему? Мне никто ничего не разъяснил, и я не знала. Военное время... Еду и думаю, может, муж раненый, может, меня к нему вызывают. А я уже четыре месяца от него ничего не получала, никаких известий. У меня такое намерение, что если я его найду без рук, без ног, калеку, заберу и сразу домой. Будем как-то жить.

Приезжаю в Москву, захожу по адресу. Там написано: “ЦК КПБ”, то есть, наше белорусское правительство, и там таких, как я, очень много. Мы интересуемся: “Что? Почему? Зачем нас собрали?”. Говорят: “Все узнаете”. Собрали нас всех в большом зале: там наш секретарь ЦК Белоруссии, товарищ Пономаренко, другие руководители. У меня спросили: “Хотите ли вы туда, откуда приехали?”. Ну, откуда я приехала — из Белоруссии. Конечно, хочу. И меня определяют в спецшколу. Начинают готовить, чтобы послать в тыл врага.

Сегодня окончили учебу, а уже на другой день посадили нас на машины и повезли к линии фронта. Потом мы пешком пошли. Я не знала, что такое фронт и какая она — нейтральная полоса. Команда: “Приготовиться! Готовность — номер один”. “Бах!” — выстрелили ракеты. Снег, вижу, белый-белый, а тут полоса людей, это мы друг за другом легли. Нас много. Ракета погасла, выстрелов нет. Новая команда: “Бегом!”, и мы побежали. И так прошли...

В партизанский отряд каким-то чудом мне пришло письмо от мужа. Это было столько радости, так неожиданно, два года я о нем ничего не знала. А тут — самолет сбросил еду, боеприпасы... И почту... И в этой почте, в этом мешке брезентовом мне — письмо. Тогда я обращаюсь письменно в ЦК. Я написала, что все буду делать,

только чтобы мы с мужем были вместе. И это письмо тихонечко от командира нашего отряда я передала летчику. Скоро узнаю новость: передали по связи — после выполнения задания нашу группу ждут в Москве. Всю нашу спецгруппу. Пошлют на новое место... Все должны лететь, а Федосенко так обязательно.

Ждем мы самолет, а это ночь, темно, как в бочке. И какой-то самолет кружит вверху, а потом как даст по нас бомбами. Это был “мессершмитт”, немцы нашу стоянку засекли, он пошел на новый разворот. А в это время наш самолет опускается — “У-2”, и как раз под елку, где я рядом стояла. Этот летчик чуть присел над землей и давай сразу подниматься, потому что он увидел: немец сейчас сделает разворот и опять пойдет стрелять. Я зацепилась за крыло и кричу: “Мне в Москву! У меня разрешение!”. Он даже матюкнулся: “Садись!”. Так мы и летели с ним вдвоем. Не было ни раненых... Никого.

В мае месяце в Москве я ходила в валенках. Пришла в театр в валенках. И было прекрасно. Пишу мужу: как нам встретиться? Я пока в резерве... Но мне обещают... Везде прошу: пошлите меня туда, где муж, дайте мне хотя бы два дня, мне только поглядеть на него один раз, а потом я вернусь и посылайте куда хотите. Все пожимают плечами. Но я все-таки узнаю по номеру почты, где мой муж воюет, и еду к нему. Приезжаю сначала в обком партии, показываю этот адрес мужа, документы, что я жена, и говорю, что хочу встретиться с ним. Мне отвечают, что это невозможно, он на самой передовой, отправляйтесь назад, а я вся такая побитая, такая голодная, и как это — назад? Пошла к военному коменданту. Он посмотрел на меня и приказал, чтобы мне дали немного одеться. Дали мне гимнастерку, ремень подпоясаться. И он начал меня отговаривать:

— Ну что вы, там очень опасно, где ваш муж...

Я сижу и плачу, тогда он сжалился, дал мне пропуск.

— Выйдете, — говорит, — на шоссе, там будет регулировщик, и он вам покажет, как ехать.

Нашла это шоссе, нашла этого регулировщика, посадил он меня на машину, и я еду. Приезжаю в часть, там все удивляются, все кругом военные. “А вы кто?” — спрашивают. Я не могу сказать — жена. Ну, как такое скажешь, кругом бомбы рвутся... Я отвечаю — сестра. Даже не знаю, почему я так сказала — сестра. “Подождите, — говорят мне, — еще шесть километров туда надо идти”. Как это я буду ждать, когда я так далеко добиралась? А как раз оттуда машина за обедом пришла, и там был старшина такой рыжеватый, конопатый. Он говорит:

— О, я Федосенко знаю. Но это в самой траншее.

Ну, упростила я его. Посадили меня, еду, нигде ничего не видно... Лес... Лесная дорога... Для меня это новость: передовая, но нигде никого. Изредка где-то постреливают. Приехали. Старшина спрашивает:

— А где Федосенко?

Ему отвечают:

— Они вчера ушли в разведку, их застал рассвет, и они там пережидают.

Но связь у них есть. И ему по связи сказали, что приехала сестра. Какая сестра? Говорят: “Рыжая”. А сестра у него черная. Ну, раз рыжая, он сразу догадался, какая сестра. Не знаю, как он там выполз, но Федосенко скоро появился, и мы там устроили встречу. Радости было...

Пробыла я у него один день, второй и решаю:

— Иди в штаб и докладывай. Я с тобой здесь останусь.

Он пошел к начальству, а я не дышу: ну, как скажут, чтобы в двадцать четыре часа ноги ее не было? Это же фронт, это понятно. И вдруг вижу — идет в землянку начальство: майор, полковник. Здороваются за руку все. Потом, конечно, сели мы в землянке, выпили, и каждый сказал свое слово, что жена нашла мужа в траншее, это же настоящая жена, документы есть.

Это же такая женщина! Дайте посмотреть на такую женщину! Они такие слова говорили, они все плакали. Я тот вечер всю жизнь вспоминаю... Что у меня еще осталось?

Зачислили санитаркой. Ходила с ним в разведку. Бьет миномет, вижу — упал. Думаю: убитый или раненый? Бегу туда, а миномет бьет, и командир кричит:

— Куда ты прешь, чертова баба!! Подползу — живой... Живой!

Около Днепра ночью при луне мне вручили орден Красного Знамени. А на другой день муж был ранен, тяжело. Мы вместе бежали, мы вместе шагали по такому болоту, вместе ползли. Пулеметы били и били, а мы ползли и ползли, и его ранило в бедро. Ранило разрывной пулей, и попробуй-ка наложить повязку, это же ягодица. Все разорвалось, и грязь, и земля — все туда. А мы выходили из окружения. Вывозить раненых некуда, медикаментов у меня тоже никаких. Одна надежда, что прорвемся. Когда прорвались, мужа я сопровождала до самого госпиталя. Пока я его довезла, было уже общее заражение крови. Это был Новый год... Наступал сорок четвертый год... Он умирает... Я понимала, что он умирает... А он был много раз награжден, я собрала все его ордена, положила возле него. Был как раз обход, а он спал. Врач подходит:

— Вам надо уйти отсюда. Он уже мертвый.

Я отвечаю:

— Тихо, он еще живой.

Муж как раз открыл глаза и говорит:

— Что-то потолок голубой стал.

Я смотрю:

— Нет, он не голубой. Потолок, Вася, белый. — А ему казалось, что голубой.

Сосед ему говорит:

— Ну, Федосенко, если ты останешься жить, то ты свою жену должен на руках носить.

— И буду носить, — соглашается он.

Я не знаю, он, наверное, чувствовал, что умирает, потому что взял меня за руки, наклонил к себе и поцеловал. Вот как последний раз целуют:

— Любочка, так жалко, у всех Новый год, а мы с тобой тут... Но ты не жалеяй, у нас еще все будет...

И когда осталось ему несколько часов жить... У него случилось это несчастье, что нужно было поменять ему постель... Я ему постелила чистую простыню, ногу перевязала, а на подушку его надо подтянуть, это же мужчина, тяжелый, я его тяну, наклонилась низко-низко, и вот чувствую, что это уже все, что еще минута-другая и его не станет... Это был вечер. Десять часов пятнадцать минут... До минуты запомнила... И мне захотелось самой умереть... Но я носила под сердцем нашего ребенка, и только это меня удержало, я пережила те дни. Похоронила я его первого января, а через тридцать восемь дней у меня родился сын, он с сорок четвертого года, сам уже имеет детей. Мужа звали Василий, сын у меня Василий Васильевич, и внук у меня Вася... Василек...»

*Любовь Фоминична Федосенко,
рядовая, санитарка*

«Видела... Каждый день... Но не могла примириться. Молодой, красивый мужчина умирает... Хотелось успеть, ну... поцеловать его. Что-то женское для него сделать, если ничем не можешь помочь как врач. Тогда хотя бы улыбнуться. Погладить. Взять за руку...

Через много лет после войны мне один мужчина признался, что помнит мою молодую улыбку. А для меня это был обыкновенный раненый, я его даже не запомнила. Он говорил, что эта улыбка вернула его к жизни, с того света, что называется... Женская улыбка...»

*Вера Владимировна Шевалдышева,
старший лейтенант, хирург*

«Прибыли на Первый Белорусский фронт... Двадцать семь девушек. Мужчины на нас смотрели с восхищени-

ем: «Ни прачки, ни телефонистки, а девушки-снайперы. Мы впервые видим таких девушек. Какие девушки!». Старшина в нашу честь стихи сочинил. Смысл такой, чтобы девушки были трогательными, как майские розы, чтобы война не покалечила их души.

Уезжая на фронт, каждая из нас дала клятву: никаких романов там не будет. Все будет, если мы уцелеем, после войны. А до войны мы не успели даже поцеловаться. Мы строже смотрели на эти вещи, чем нынешние молодые люди. Поцеловаться для нас было — полюбить на всю жизнь. На фронте любовь была как бы запрещенной, если узнавало командование, как правило, одного из влюбленных переводили в другую часть, попросту разлучали. Мы ее берегли-хранили. Мы не сдержали своих детских клятв... Мы любили...

Я думаю, что если бы я не влюбилась на войне, то я бы не выжила. Любовь спасала. Меня она спасла...»

Софья Кригель,

старший сержант, снайпер

«Про любовь спрашиваете? Я не боюсь сказать правду... Я была пэпэже, то, что расшифровывается — походно-полевая жена. Жена на войне. Вторая. Незаконная.

Первый командир батальона...

Я его не любила. Он хороший был человек, но я его не любила. А пошла к нему в землянку через несколько месяцев. Куда деваться? Одни мужчины вокруг, так лучше с одним жить, чем всех бояться. В бою не так страшно было, как после боя, особенно, когда отдых, на переформирование отойдем. Как стреляют, огонь, они зовут: «Сестричка! Сестренка!», а после боя каждый тебя стережет... Из землянки ночью не вылезешь... Говорили вам это другие девчонки или не признались? Постыдились, думаю... Промолчали. Гордые! А оно все было, потому что умирать не хотелось. Было обидно умирать, когда ты молодой... Ну, и для мужчин тяжело четыре года без женщин... В нашей армии борделей не было, и табле-

ток никаких не давали. Где-то, может, за этим следили. У нас нет. Четыре года... Командиры могли только что-то себе позволить, а простой солдат нет. Дисциплина. Но об этом молчат... Не принято... Нет... Я, например, в батальоне была одна женщина, жила в общей землянке. Вместе с мужчинами. Отделили мне место, но какое оно отдельное, вся землянка шесть метров. Я просыпалась ночью от того, что махала руками — то одному дам по щекам, по рукам, то другому. Меня ранило, попала в госпиталь и там махала руками. Нянечка ночью разбудит: “Ты — чего?”. Кому расскажешь?

Первого командира убило осколком мины.

Второй командир батальона...

Я его любила. Я шла с ним в бой, я хотела быть рядом. Я его любила, а у него была любимая жена, двое детей. Он показывал мне их фотографии. И я знала, что после войны, если останется жив, он вернется к ним. В Калугу. Ну и что? У нас были такие счастливые минуты! Мы пережили такое счастье! Вот вернулись... Страшный бой... А мы живые. У него ни с кем такое не повторится! Не получится! Я знала... Я знала, что счастливым он без меня не будет. Не сможет быть счастливым ни с кем так, как мы были с ним счастливы на войне. Не сможет... Никогда!

В конце войны я забеременела. Я так хотела... Но нашу дочку я вырастила сама, он мне не помог. Палец о палец не ударил. Ни одного подарка или письма... или открыточки. Кончилась война, и кончилась любовь. Как песня... Он уехал к законной жене, к детям. Оставил мне на память свою фотокарточку. А я не хотела, чтобы война кончалась... Страшно это сказать... Открыть свое сердце... Я — сумасшедшая. Я любила! Я знала, что вместе с войной кончится и любовь. Его любовь... Но все равно я ему благодарна за те чувства, которые он мне дал, и я с ним узнала. Вот я его любила всю жизнь, я пронесла свои чувства через годы. Мне уже незачем врать. Я уже старая. Да, через всю жизнь! И я не жалею.

Дочь меня упрекала: “Мама, за что ты его любишь?”. А я люблю... Недавно узнала — он умер. Я много плакала. И мы даже из-за этого поссорились с моей дочерью: “Что ты плачешь? Он для тебя давно умер”. А я его и сейчас люблю. Вспоминаю войну как лучшее время моей жизни, я там была счастливая...

Только, прошу вас, без фамилии. Ради моей дочери...»
Софья К-вич, санинструктор

«Во время войны...

Привезли меня в часть... На передовую. Командир встретил словами: “Снимите, пожалуйста, шапку”. Я удивилась... Сняла... В военкомате нас стригли под мальчиков, но пока мы были в военных лагерях, пока добирались до фронта, волосы мои немного отросли. Стали виться, они у меня вьющиеся. Барашек мелкий... Это сейчас не догадаешься... Уже старая стала... И вот он смотрит и смотрит на меня: “Я два года женщину не видел. Хочу посмотреть”.

После войны...

Я жила в коммунальной квартире. Соседки все были с мужьями, обижали меня. Издевались: “Ха-ха-а... Расскажи, как ты там б... с мужиками...”. В мою кастрюлю с картошкой уксуса нальют. Всыпят ложку соли... Ха-ха-а...

Демобилизовался из армии мой командир. Приехал ко мне, и мы поженились. Записались в загсе, и все. Без свадьбы. А через год он ушел к другой женщине, заведующей нашей фабричной столовой: “От нее духами пахнет, а от тебя тянет сапогами и портянками”.

Так и живу одна. Никого у меня нет на всем белом свете. Спасибо, что ты пришла...»

*Екатерина Никитична Санникова,
сержант, стрелок*

«А мой муж... Хорошо, что его нет, он на работе. Он строго мне приказал... Знает, что я люблю про нашу

любовь рассказывать... Как я свадебное платье себе за одну ночь из бинтов пошила. Сама. А бинты мы с девочками месяц собирали. Бинты трофейные... У меня было настоящее свадебное платье! Сохранилась фотография: я в этом платье и в сапогах, но сапог не видно, это я помню, что была в сапогах. А поясок я схимичила из старой пилотки... Отличный поясок. Но что это я... За свое... Муж приказал про любовь ни слова, ни-ни, а рассказывать про войну. Он у меня строгий. По карте учил... Два дня меня учил, где какой фронт стоял... Где наша часть... Я сейчас возьму, я за ним записала. Прочитаю...

Что ты смеешься? Ой, как хорошо ты смеешься. Я тоже смеялась... Ну какой из меня историк! Я лучше фотографию, где я в платье из бинтов, покажу.

Я так себе там нравлюсь... В белом платье...»
*Анастасия Леонидовна Жардецкая, ефрейтор,
санинструктор*

О странной тишине перед небом и утерянном колечке

«Ушла я из Казани на фронт девятнадцатилетней девочкой...

А через полгода писала маме, что мне дают двадцать пять — двадцать семь лет. Каждый день в страхе, в ужасе. Осколок летит, так кажется: с тебя снимают кожу. И люди умирают. Умирают каждый день, каждый час, такое чувство, что каждую минуту. Простыней не хватало накрыть. В нижнем белье складывали. Странная тишина стояла в палатах. Такой тишины я больше нигде не помню. Когда человек умирает, он всегда смотрит вверх, никогда не смотрит в сторону или на тебя, когда ты рядом. Только вверх... В потолок... Но так смотрит, как будто в небо...

И я говорила себе, что ни одного слова любви в этом аду я слышать не смогу. Не смогу поверить. Вот сколько лет война шла, я даже никаких песен не помню. Даже знаменитую “Землянку” не помню. Ни одной... Помню только: когда уходила из дома на фронт, у нас в саду цвели вишни. Иду и оглядываюсь... Потом, наверное, я встречала сады на дорогах, они же и в войну цвели. Но я не помню... В школе такая хохотушка была, а тут никогда не улыбнусь. Если я видела, что какая-то из девочек выщипала брови или покрасила губы, я была возмущена. Категорически отвергала: как это можно, как это она хочет в такое время кому-то нравиться?

Вокруг раненые, вокруг стон... У мертвых такие желто-зеленые лица. Ну, как ты можешь думать о радости? О своем счастье? Я не хотела сочетать любовь с этим. Вот с этим... Мне казалось, что здесь, в такой обстановке любовь погибнет мигом. Без торжества, без красоты какая может быть любовь? Кончится война, будет красивая жизнь. И любовь. А тут... Тут — нет. А вдруг я погибну, и тот, кто меня полюбит, будет страдать. И мне так жалко. Вот такое было чувство...

Мой теперешний муж, он за мной там ухаживал, мы встретились на фронте. А я не хотела его слушать: “Нет-нет, кончится война, только тогда мы сможем говорить об этом”. Не забуду, как однажды он вернулся из боя и попросил: “У тебя нет какой-нибудь кофточки? Надень, пожалуйста. Дай посмотреть, какая ты в кофточке”. А у меня ничего не было, кроме гимнастерки.

Я и подружке своей, она вышла замуж на фронте, говорила: “Цветов не дарил. Не ухаживал. И вдруг — замуж. Разве это любовь?”. Я ее чувств не поддерживала.

Война кончилась... Мы смотрели друг на друга и не верили, что война кончилась, и мы живые остались. Вот сейчас мы будем жить... Будем любить... А мы все

это уже забыли, не умели. Приехала я домой, пошла с мамой шить себе платье. Мое первое послевоенное платье.

Вот моя очередь, и меня спрашивают:

— Какой вам фасон?

— Я не знаю.

— Как это вы пришли в ателье и не знаете, какое хотите платье?

— Не знаю...

А я пять лет ни одного платья не видела. Я забыла даже, как шьется платье. Что надо какие-то там выточки, какие-то разрезы... Низкая талия, высокая талия... Это мне было непонятно. Купила туфли на каблук, прошла по комнате и сняла их. Поставила в угол и думаю: «Я никогда не научусь в них ходить...»

*Мария Селиверстовна Божок,
медсестра*

«Я хочу вспомнить... Я хочу сказать, что необыкновенно красивое чувство я вынесла из войны. Ну просто никакими словами не передать, с каким восторгом и восхищением относились к нам мужчины. Я с ними жила в одной землянке, спала на одних полатах, ходила на одни задания, и когда я замерзала так, что слышала, как селезенка замерзает, как язык во рту замерзает, что еще немного и потеряю сознание, просила: «Миша, расстегни шубу, погрей». Он погрееет: «Ну как, легче?» — «Легче».

Я такого больше не встречала в жизни. Но о чем-то личном нельзя было думать, когда Родина в опасности.

— Но была любовь?

— Да, была любовь. Я ее встречала ... Но вы меня извините, может, я и не права, и это не совсем естественно, но я в душе осуждала этих людей. Я считала, что не время заниматься любовью. Кругом — зло. Ненависть. Мне кажется, что так думали многие...

— А какой вы были до войны?

— Я петь любила. Смеяться любила. Хотела стать летчицей. Какие там мысли о любви! Она не была для меня чем-то главным в жизни. Главное — Родина. Теперь я думаю, что мы были наивные...»

*Елена Викторовна Кленовская,
партизанка*

«В госпитале... Они все были счастливы. Они были счастливы, потому что остались в живых. Лейтенант двадцатилетний переживал, у него одной ноги не было. Но тогда казалось среди всеобщего горя, что это счастье — он живой, у него, подумаешь, только одной ноги нет. Главное — живой. И любовь у него будет, и жена у него будет, и все будет. Это сейчас остаться без одной ноги — ужас, а тогда они все прыгали на одной ноге, курили, смеялись. Они герои и вообще! Что вы?!

— Вы там влюблялись?

— Конечно, мы же такие юные. Как только новые раненные поступали, мы обязательно в кого-нибудь влюбимся. Подружка моя влюбилась в одного старшего лейтенанта, он был весь израненный. Она мне показала — вот он. Но и я, конечно, решила тоже в него влюбиться. Когда его увозили, он попросил у меня карточку. А у меня была одна карточка, где-то на станции мы сфотографировались. Я взяла эту карточку, чтобы ему отдать, но потом думаю: а вдруг это не любовь, а я ему карточку подарю? И вот его уже уносят, я руку ему протянула, а в кулаке карточка, а разжать не решилась. Вот и вся любовь...

Потом Павлик был, тоже лейтенант. Ему было очень больно, так я ему шоколад под подушку положила. И вот когда мы встретились, это уже после войны, через двадцать лет, он стал благодарить мою подругу Лилю Дроздову за этот шоколад. Лиля говорит: “Какой шоколад?”. Тогда я призналась, что это я... И он меня поцеловал... Через двадцать лет поцеловал...»

*Светлана Николаевна Любич,
сандружинница*

«Однажды после концерта... В большом эвакогоспитале... Ко мне подошел главврач и просит: “Здесь у нас в отдельной палате лежит тяжелораненый танкист. Он почти ни на что не реагирует, может, ему поможет ваша песня”. Иду в палату. Сколько буду жить, не забуду этого человека, который чудом вылез из горящего танка и обгорел с головы до ног. Он лежал, неподвижно вытянувшись на кровати, с черным, без глаз, лицом. Горло перехватило судорогой, и я несколько минут не могла взять себя в руки. Потом начала тихонько петь... И вижу, что лицо раненого чуть шевельнулось. Он что-то прошептал. Я наклонилась и услышала: “Спойте еще...”. Я пела ему еще и еще, исполнила весь свой репертуар, пока главврач не сказал: “Кажется, он уснул...”»

*Лилия Александровская,
артистка*

«У нас — комбат и медсестра Люба Силина... Они любили друг друга! Это все видели... Он шел в бой, и она... Говорила, что не простит себе, если он погибнет не на ее глазах, и она не увидит его в последнюю минуту. “Пусть, — хотела, — нас вместе убьют. Одним снарядом накроет”. Умирать они собирались вместе или вместе жить. Наша любовь не делилась на сегодня и на завтра, а было только — сегодня. Каждый знал, что ты любишь сейчас, а через минуту или тебя, или этого человека может не быть. На войне все происходило быстрее: и жизнь, и смерть. За несколько лет мы прожили там целую жизнь. Я никогда никому не могла это объяснить. Там — другое время...

В одном бою комбата тяжело ранило, а Любу легко, чуть царапнуло в плечо. И его отправляют в тыл, а она остается. Она уже беременная, и он ей дал письмо: “Езжай к моим родителям. Что бы со мной ни случилось, ты моя жена. И у нас будет наш сын или наша дочь”.

Потом Люба мне написала: его родители не приняли ее, и ребенка не признали. А комбат погиб.

Много лет собиралась... Хотела съездить к ней в гости, но так и не получилось. Мы были закадычные подружки. Но далеко ехать — на Алтай. А недавно пришло письмо. что она умерла. Теперь ее сын меня зовет к ней на могилку...

Хочу поехать...»

Нина Леонидовна Михай,
старший сержант, медсестра

«День Победы...

Мы собрались на нашу традиционную встречу. И вот я выхожу из гостиницы, а девочки мне говорят:

— Где ты, Лиля, была? Мы так наплакались.

Оказывается, подошел к ним мужчина, казах, спрашивает:

— Вы откуда, девчата? Из какого госпиталя?

— А кого вы ищете?

— Я каждый год приезжаю сюда и ищу одну сестру. Она спасла мне жизнь. Я ее полюбил. Хочу найти.

Мои девочки смеются:

— Да что там уж сестричку искать, там уже бабушка.

— Нет...

— Уже жена ведь есть? Дети?

— Внуки есть, дети есть, жена есть. Душу потерял...

Души нет...

Девочки мне это говорят, и мы вместе вспомнили: а не мой ли это казах?

...Привезли мальчишку казаха. Ну, совсем мальчишечка. Мы его прооперировали. У него было семь или восемь разрывов кишечника, он считался безнадежным. И настолько он лежал безучастный, что я его сразу заприметила. Как минутка лишняя, забегу: “Ну, как дела?”. Внутривенное сама вколю, температуру измерю, и он выкарабкался. Пошел на поправку. А мы у себя раненых не держали долго, мы на первой линии. Окажем экстренную помощь, вырвем у смерти и от-

правляем их дальше. И вот его с очередной партией должны увезти.

Он лежит на носилках, мне передают, что он зовет меня.

— Сестричка, подойди ко мне.

— Что такое? Что ты хочешь? У тебя все хорошо. Тебя отправляют в тыл. Все будет в порядке. Считай, что ты уже живешь.

Он просит:

— Я очень тебя прошу, я один у родителей. Ты меня спасла. — И дает мне подарок — колечко, маленькое такое колечко.

А я колец не носила, почему-то не любила. И я отказываюсь:

— Я не могу. Не могу.

Он просит. Раненые помогают ему.

— Да возьми, он же от чистого сердца.

— Это же мой долг, понимаете?

Уговорили они меня. Правда, я это колечко потом потеряла. Оно было мне большое, и однажды заснула, а машину подбросило, и оно где-то упало. Жалела очень.

— Вы нашли этого мужчину?

— Мы так и не встретились. Не знаю, тот ли это? Но мы его целый день вместе с девочками искали.

...В сорок шестом приехала я домой. Меня спрашивают: “Ты будешь ходить в военном или в гражданском?”. Конечно, в военном. Даже не подумаю снимать. Пошла вечером в Дом офицеров на танцы. И вот вы сейчас услышите, как относились к военным девушкам.

Я надела туфли, платье, а шинель и сапоги в гардероб сдала.

Подходит ко мне один военный и приглашает танцевать.

— Вы, — говорит, — наверное, не здешняя. Очень интеллигентная девушка.

И весь вечер он со мной. Не отпускает. Закончились танцы, говорит мне:

— Дайте ваш номерок.

Пошел вперед. А в гардеробе ему дают сапоги, дают шинель.

— Это не мое...

Я подхожу:

— Нет, это мое.

— Но вы мне не сказали, что были на фронте.

— А вы меня спрашивали?

Он растерялся. Не мог на меня глаз поднять. А сам только с войны вернулся...

— Почему вас так удивило?

— Я не мог представить, что вы были в армии. Понимаете, фронтовая девушка...

— Вас удивило, что я, мол, одна? Без мужа и не беременная? Не ношу ватник, не дымлю папиросой “Казбек” и не ругаюсь матом?

Я не дала ему провожать меня.

И всегда гордилась, что я была на фронте. Родину защищала...»

*Лилия Михайловна Бутко,
хирургическая медсестра*

«Мой первый поцелуй...

Младший лейтенант Николай Белохвостик... Ой, смотрите, покраснела я вся, а уже бабушка. А тогда были молодые годы. Юные. Я думала... Была уверена... Что... Я никому не признавалась, даже подруге, что в него влюблена. По уши. Моя первая любовь... Может, и единственная? Кто знает... Я думала: никто в роте не догадывается. Мне никто раньше так не нравился! Если нравился, то не очень. А он... Я ходила и о нем постоянно думала, каждую минуту. Что... Это была настоящая любовь. Я почувствовала. Все знаки... Ай, смотрите, покраснела...

Мы его хоронили... Он лежал на плащ-палатке, его только-только убило. Немцы нас обстреливают. Надо хоронить быстро... Прямо сейчас... Нашли старые березы, выбрали ту, которая поодаль от старого дуба стояла. Самая большая. Возле нее... Я старалась запомнить, чтобы вернуться и найти потом это место. Тут деревня кончается, тут развилка... Но как запомнить? Как запомнить, если одна береза на наших глазах уже горит... Как? Стали прощаться... Мне говорят: "Ты — первая!". У меня сердце подскочило, я поняла... Что... Всем, оказывается, известно о моей любви. Все знают... Мысль ударила: может, и он знал? Вот... Он лежит... Сейчас его опустят в землю... Зароют. Накроют песком... Но я страшно обрадовалась этой мысли, что, может, он тоже знал. А вдруг и я ему нравилась? Как будто он живой и что-то мне сейчас ответит... Вспомнила, как на Новый год он подарил мне немецкую шоколадку. Я ее месяц не ела, в кармане носила.

Я всю жизнь это вспоминаю... Этот момент... Бомбы летят... Он... Лежит на плащ-палатке... Этот момент... А я радуюсь... Стою и про себя улыбаюсь. Ненормальная. Я радуюсь, что он, может быть, знал о моей любви...

Подошла и его поцеловала. Никогда до этого не целовала мужчину... Это был первый...»

*Любовь Михайловна Гроздь,
санинструктор*

Об одиночестве пули и человека

«Моя история отдельная... Молитвы меня утешают. Молюсь о своей девочке...

Помню мамину поговорку. Мама любила сказать: "Пуля — дура, судьба — злодейка". Была у нее такая поговорка на любую беду. Пуля одна, и человек один, пуля летит, куда хочет, а судьба крутит человеком, как хочет. Туда-сюда, туда-сюда. Человек — перышко, воробьиное

перышко. Никогда не узнаешь своего будущего. Нам не дано... Не позволено проникнуть в тайну. Мне цыганка гадала, когда мы с войны ехали. Подошла на станции, отозвала в сторонку... Великую любовь обещала... Были у меня немецкие часы, сняла их и отдала ей за эту великую любовь. Поверила.

А теперь не переплакать мне той любви...

Я на войну весело собиралась. По-комсомольски. Вместе со всеми. Ехали мы в товарных вагонах, на них надпись черным мазутом: "Сорок людей — восемь лошадей". А нас набилось человек сто.

Стала снайпером. А могла и связисткой быть, полезная профессия — и военная, и мирная. Женская. Но сказали, надо стрелять — стреляла. Хорошо стреляла. Два ордена Славы имею, четыре медали. За три года войны.

Крикнули нам — Победа! Объявили — Победа! Я помню свое первое чувство — радость. И сразу, в ту же минуту — страх! Паника! Паника! Как же жить дальше? Папа погиб под Сталинградом. Два старших брата пропали без вести в начале войны. Остались мама и я. Две женщины. Как нам жить? Все наши девчонки задумались... Соберемся вечером в землянке... Разговоры у нас о том, что жизнь теперь только начинается. И радость, и страх. Раньше боялись смерти, а теперь жизни... Одинаково было страшно. Правда! Говорим-говорим, а потом сидим и молчим.

Выйдем замуж или не выйдем? По любви или без любви? На ромашках гадали... Венки в речку бросали, свечи плавил... Я помню, в одной деревне показали нам, где живет колдунья. Все — к ней кинулись, даже несколько офицеров. А девчонки — все. Она на воде гадала. По руке. В другой раз у шарманщика мы бумажки тянули. Билетики. Мне счастливые билетики выпадали... А где оно, мое счастье?

Как нас встретила Родина? Без рыданий не могу... Сорок лет прошло, а до сих пор щеки горят. Мужчины

молчали, а женщины... Они кричали нам: “Знаем, чем вы там занимались! Завлекали молодыми п... наших мужиков. Фронтовые б... Сучки военные...”. Оскорбляли по-всякому... Словарь русский богатый...

Провожает меня парень с танцев, мне вдруг плохо-плохо, сердце затарахтит. Иду-иду и сяду в сугроб. “Что с тобой?” — “Да ничего. Натанцевалась”. А это — мои два ранения. Это — война... А надо учиться быть нежной. Быть слабой и хрупкой, а ноги в сапогах разносились — сороковой размер. Непривычно, чтобы кто-то меня обнял. Привыкла сама отвечать за себя. Ласковых слов ждала, но их не понимала. Они мне, как детские. На фронте среди мужчин — крепкий русский мат. К нему привыкла. Подруга меня учила, она в библиотеке работала: “Читай стихи. Есенина читай”.

Замуж я вышла скоро. Через год. За нашего инженера на заводе. Я мечтала о любви. Хотела дом и семью. Чтобы в доме маленькими детьми пахло. Первые пеленки нюхала-нюхала, не могла нанюхаться. Запахи счастья... Женского... На войне нет женских запахов, все они — мужские. Война по-мужски пахнет.

Двое детей у меня... Мальчик и девочка. Первый мальчик. Хороший, умный мальчик. Он институт окончил. Архитектор. А вот девочка... Моя девочка... Она стала ходить в пять лет, первое слово “мама” выговорила в семь. У нее до сих пор получается не “мама”, а “мумо”, не “папа”, а “пупо”. Она... Мне и сейчас кажется, что это неправда. Ошибка какая-то. Она в сумасшедшем доме... Сорок лет она там. Как ушла на пенсию, хожу к ней каждый день. Мой грех...

Уже много лет первого сентября я покупаю ей новый букварь. Мы читаем с ней букварь целыми днями. Иногда возвращаюсь от нее домой и мне кажется, что я разучилась читать и писать. Разговаривать. И ничего этого мне не надо. Зачем это?

Я наказана... За что? Может, за то, что убивала? И так подумаю... В старости много времени... Думаю

и думаю. Утром стою на коленях, смотрю в окно. И прошу Бога... Обо всех прошу... На мужа обиды не держу, давно его простила. Родила я дочку... Он посмотрел на нас... Побыл немного и ушел. Ушел с упреками: “Разве нормальная женщина пойдет на войну? Научится стрелять? Поэтому ты и ребенка нормального родить не способна”. Я за него молюсь...

А может, он прав? И так подумаю... Мой грех...

Я любила Родину больше всего на свете. Я любила... Кому я могу это сейчас рассказать? Моей девочке... Ей одной... Я вспоминаю войну, а она думает, что я ей сказки рассказываю. Детские сказки. Страшные детские сказки...

Фамилию не пишите. Не надо...»

Клавдия С-ва, снайпер

«ПРО БУЛЬБУ ДРОБНЕНЬКУЮ...»



Была еще одна война...

На этой войне никто не отмечал на карте, где проходит нейтральная полоса, а где начинается линия фронта. Никто не мог там сосчитать всех солдат. Единиц вооружения. Стреляли из зенитных установок, пулеметов, охотничьих ружей. Из старых берданок. Не было тут передышек и генеральных наступлений, многие воевали в одиночку. Умиряли в одиночку. Сражалась не армия — дивизии, батальоны, роты, а народ — партизаны и подпольщики: мужчины, старики, женщины, дети. Толстой называл этот многоликий порыв «дубиной народной войны» и «скрытой теплотой патриотизма», а Гитлер (вслед за Наполеоном) жаловался своим генералам, что «Россия воюет не по правилам».

Умереть на этой войне было не самое страшное. Страшнее другое... Представим себе солдата на фронте, окруженного своей семьей — дети, жена, старые родители. Каждую минуту надо быть готовым их тоже принести в жертву. Отдать на заклятие. У мужества, как и у предательства, там часто не было свидетелей.

В наших деревнях в День Победы не радуются, а плачут. Много плачут. Тоскуют. «Было так страшно... Я всех родных похоронила, я похоронила на войне душу» (В. Г. Андросик, подпольщица).

Начинают рассказывать тихо, а в конце почти все кричат.

«Я — свидетель...

Расскажу о командире нашего партизанского отряда... Не надо называть фамилию, потому что еще живы его родные. Им будет больно читать...

Связные передали в отряд: семью командира забрали в гестапо — жену, двух маленьких дочек и старую мать. Всюду развешаны объявления, на базаре раздают листовки: если командир не сдастся, семью повесят. Срок, чтобы подумать — два дня. Полицаи ездили по деревням и проводили среди людей агитацию: красные комиссары не жалеют даже собственных детей. Они — чудовища. Для них нет ничего святого. Сбрасывали листовки с самолета над лесом... Командир хотел сдать, хотел застрелиться. Его не оставляли одного все это время. Следили за ним. Он мог застрелиться...

Связались с Москвой. Доложили обстановку. Получили инструкцию... В тот же день собрали в отряде партийное собрание. На нем было принято решение: не поддаваться на немецкую провокацию. Как коммунист, он подчинился партийной дисциплине...

Через два дня послали в город разведчиков. Они принесли страшную весть: всю семью повесили. В первом же бою командир погиб... Как-то непонятно погиб. Случайно. Я думаю, он хотел умереть...

У меня слезы вместо слов... Как мне себя убедить, что надо говорить? Как поверить... Люди хотят спокойно и хорошо жить, а не слушать меня и страдать...»
(В. Кортаева, партизанка).

И я себя убеждаю, что надо идти дальше...

О корзинке с миной и плюшевой игрушкой

«Я выполнила задание... И уже не могла оставаться в поселке, ушла в отряд. Мать через несколько дней забрали в гестапо. Брат успел убежать, а мать забрали. Ее там мучили, допрашивали, где дочь. Два года она была там. Два года фашисты ее вместе с другими женщинами водили впереди себя, когда шли на свои операции... Они боялись партизанских мин и всегда гнали впереди себя местное население — будут мины, эти люди подорвутся, а немецкие солдаты останутся целыми. Живой щит... Два года они так водили и мою мать...

Не раз было: сидим в засаде и вдруг видим, как идут женщины, а сзади за ними — немцы. Подойдут ближе, и видишь, что там твоя мать. И самое страшное — это ожидать, когда командир даст команду стрелять. Все со страхом ожидают этой команды, потому что один шепчет: “Вон моя мать”, другой — “А вон моя сестричка”, а кто-то ребенка своего увидел... Мама моя всегда ходила в белом платочке. Она была высокая, ее всегда первой различали. Я сама не успею заметить, мне передадут: “Твоя мама идет...”. Дадут команду стрелять — стреляешь. И сама не знаешь, куда стреляешь, в голове одно: не упустить из виду беленький платочек — живая ли она, не упала? Беленький платочек... Все разбегутся, попадают, и не знаешь, убита мама или нет. Два дня или больше хожу сама не своя, пока связные не придут из поселка, не скажут, что жива. Опять и я жить могу. И так до следующего раза. Мне кажется, что сейчас я бы этого не вынесла... Но я их ненавидела... Мне помогала ненависть... У меня до сих пор стоит в ушах крик ребенка, которого бросают в колодец. Слышали ли вы когда-нибудь этот крик? Ребенок летит и кричит, кричит, как откуда-то из-под земли, с того света. Это не детский крик и не человеческий... А увидеть разрезанного пилой молодого парня... Наш партизан... И после этого, когда идешь на задание, сердце одного просит:

убивать их, убивать как можно больше, уничтожать самым жестоким способом. Когда я видела пленных фашистов, мне хотелось вцепиться в любого. Душить. Душить руками, грызть зубами. Я бы их не убивала, это слишком легкая смерть им. Я бы их не оружием, не винтовкой...

Перед самым своим отступлением, это уже в сорок третьем году, фашисты расстреляли мою мать... А у меня мама была такая, она сама нас благословила:

— Идите, дети, вам надо жить. Чем просто умирать, лучше не надо просто умирать.

Мама не говорила больших слов, она находила простые женские слова. Она хотела, чтобы мы жили и учились, особенно учились.

Женщины, которые были вместе с ней в камере, рассказывали, что каждый раз, когда ее уводили, она просила:

— Ох, бабоньки, я плачу об одном: помогите, если умру, моим детям!

После войны одна из тех женщин взяла меня к себе, в свою семью, хотя у нее было двое маленьких детей. Хату нашу фашисты сожгли, младший брат погиб в партизанах, маму расстреляли, отец на фронте. Вернулся с фронта раненый, больной. Пожил недолго, вскоре умер. Так из всей семьи я одна осталась. Женщина эта и сама была бедная, и двое своих детей у нее, я решила уйти, куда-нибудь уехать. А она плакала и не пускала.

Когда я узнала, что мать мою расстреляли, я потеряла рассудок. Не находила себе места, мне не было покоя. Мне надо... Я должна была ее найти... А их расстреляли и могилу заровняли тяжелыми машинами... В большом противотанковом рву... Мне приблизительно показали: где, в каком месте она стояла, и я побежала, копала там, разворачивала руками трупы. Я узнала мать по колечку на руке... Как увидела это колечко, закричала и ничего больше не помню. Ничего не пом-

ню... Какие-то женщины вытащили ее, омыли из консервной банки и похоронили. Я ту баночку до сих пор храню.

Ночами иногда лежу и думаю: мать погибла из-за меня. Нет, не из-за меня... Если бы я, боясь за своих близких, не пошла бороться, если бы так же поступил и третий, и четвертый — не было бы того, что есть сейчас. Но сказать себе... Забыть... Как шла моя мать... Звучала команда... И я стреляла в ту сторону, откуда она появлялась... Ее беленький платочек... Вы никогда не узнаете, как тяжело с этим жить. И чем дальше, тем тяжелее. Иногда ночью вдруг молодой смех или голос под окном, и ты содрогнешься, тебе вдруг покажется, что это детский плач, детский крик. А то вдруг просыпаешься и чувствуешь, что не можешь дышать. Душит запах горелого... Вы не знаете, как пахнет горящее человеческое тело, особенно летом. Чем-то тревожным и сладким. Я и сейчас, а у меня такая работа в райисполкоме, что если где-то пожар, то надо выехать на место, составить документ. Но если скажут, что загорелась где-то ферма, погибли животные, я никогда не выезжаю, я не способна... Мне это напоминает... Этот запах... Как люди горели... И вот ночью проснешься, бежишь за духами, и кажется, что и в духах есть этот запах. Везде...

Долго боялась замуж выходить. Боялась иметь детей. Вдруг война, я уйду на фронт. А как же дети? Теперь полюбила читать книги о жизни после смерти. Что там? С кем я там встречусь? Хочу и боюсь встретиться с мамой. Молодая не боялась, а вот постарела...»

*Антонина Алексеевна Кондрашова,
партизанка-разведчица Бытошской
партизанской бригады*

«Первое мое впечатление... Я увидела немца... Как будто тебя ударили, все тело болит, каждая клеточка — как это они здесь? Ненависть — она была сильнее, чем бо-

язнь за своих близких, любимых и страх собственной смерти. Конечно, мы думали о своих родных, но выбора у нас не было. Враг пришел со злом на нашу землю... С огнем и мечом...

Когда, например, стало известно, что меня должны арестовать, я ушла в лес. К партизанам. Ушла, оставив дома семидесятипятилетнюю мать, притом одну. Мы договорились, что она притворится слепой, глухой, и ее не тронут. Конечно, это я себя так утешала.

На следующий день, как я ушла, фашисты ворвались в дом. Мама притворилась, что она слепая, недослышит, как мы договорились. Они ее страшно били, выпытывали, где дочь. Мать долго болела...»

*Ядвига Михайловна Савицкая,
подпольщица*

«Я такой до конца останусь... Такой, какими мы были тогда. Да, наивной, да, романтичной. До седых волос... Но — это я!

Моя подруга Катя Симакова была партизанской связной. У нее две девочки. Обе небольшие, ну сколько им было — по шесть-семь лет. Она брала этих девочек за руки, шла по городу и запоминала, где и какая техника стоит. Крикнет на нее часовой, она откроет рот и притворится дурочкой. Так несколько лет... Мать жертвовала своими девочками...

Еще у нас была Зажарская, и у нее — дочь Валерия. Девочке семь лет. Нужно было взорвать столовую. Мы решили заложить мину в печь, но ее надо было пронести. И мать сказала, что мину принесет ее дочь. Положила в корзинку мину, а сверху пару детских костюмчиков, плюшевую игрушку, два десятка яиц и масло. И так эта девочка принесла в столовую мину. Говорят: материнский инстинкт сильнее всего. Нет, идея сильнее! И вера сильнее! Я думаю... Я даже в этом уверена, что если бы не было такой мамы, такой девочки, и они не пронесли бы эту мину, то мы бы и не победили. Да,

жизнь — это хорошо. Прекрасно! Но есть вещи дороже...»

*Александра Ивановна Храмова,
секретарь Антопольского подпольного
райкома партии*

«Были у нас в отряде братья Чимуки... Они нарвались в своей деревне на засаду, отстреливались в каком-то сарае, их подожгли. Пока не кончились патроны, они стреляли... Потом вышли обожженные... Их возили на телеге, показывали, чтобы кто-то признал, чьи они. Чтобы кто-то выдал...

Вся деревня стояла. Стояли их отец и мать, никто ни звука не произнес. Какое сердце надо было иметь матери, чтобы не крикнуть. Не отозваться. Но она знала, если заплачет, тогда всю деревню сожгут. Убьют не ее одну. Всех убьют. За одного убитого немецкого солдата сжигали деревню. Она знала... За все есть награды, но никакой не хватит, самой высокой Звезды Героя мало для этой матери... За ее молчание...»

Полина Касперович, партизанка

«В партизаны мы пришли вдвоем с мамой... Она обстирывала всех, варила. Надо — и на посту стояла. Однажды я ушла на задание, а матери передали, что меня повесили. Когда я через несколько дней вернулась, мама увидела меня, ее парализовало, на несколько часов у нее отнялась речь. И все это надо было пережить...

Мы подобрали на дороге женщину, она была без сознания. Она не могла идти, она ползла и думала, что уже мертвая. Чувствует: кровь по ней течет, но решила, что это она чувствует на том свете, а не на этом. И когда мы ее расшевелили, она пришла немного в сознание, мы услышали... Она рассказала, как их расстреливали, вели на расстрел ее и пятерых детей с ней. Пока вели их к сараю, детей убивали. Стреляли и при этом ве-

селились... Остался последний, грудной мальчик. Фашист показывает: подбрасывай, я буду стрелять. Мать бросила ребенка так, чтобы убить его самой... Своего ребенка... Чтобы немец не успел выстрелить... Она говорила, что не хочет жить, не может после всего жить на этом свете, а только на том... Не хочет...

Я не хотела убивать, я не родилась, чтобы убивать. Я хотела стать учительницей. Но я видела, как жгли деревню... Я не могла крикнуть, я не могла громко плакать: мы направлялись в разведку и как раз подошли к этой деревне. Я могла только грызть себе руки, у меня на руках остались шрамы с тех пор, я грызла до крови. До мяса. Помню, как кричали люди... Кричали коровы... Кричали куры... Мне казалось, что все кричат человеческими голосами. Все живое. Горит и кричит.

Это не я говорю, это горе мое говорит...»

*Валентина Михайловна Илькевич,
партизанская связная*

«Мы знали... Все знали, что мы должны победить...

Потом люди думали, что отца оставили, у него было задание от райкома партии. Никто его не оставлял, никакого задания. Мы сами решили бороться. Я не помню, чтобы в нашей семье была паника. Было большое горе — это да, но паники не было, все верили, что победа будет наша. В первый день, когда вошли немцы в нашу деревню, отец играл вечером на скрипке “Интернационал”. Ему хотелось что-то такое сделать. Какой-то протест...

Два месяца прошло или три... Или...

Это был еврейский мальчик... Немец привязал его к велосипеду, и тот бежал за ним, как собачка: “Шнель! Шнель!”. Едет и смеется. Молодой немец... Скоро ему надоело, он слез с велосипеда и показывает мальчику: становись на коленки... На четвереньки... И ползи, как собачка... Скачи... “Хундик! Хундик!” Бросил палку: принеси! Мальчик поднялся, прибежал и принес палку в руках. Немец разозлился... Стал его бить. Ругать.

Показывает: скачи на четвереньках и принеси в зубах. Мальчик в зубах принес...

Часа два немец играл с этим мальчиком. А затем опять привязал к велосипеду, и они направились назад. Мальчик бежал собачкой... В сторону гетто...

А вы спрашиваете: почему мы стали бороться? Научились стрелять...»

*Валентина Павловна Кожемякина,
партизанка*

«Как забыть... Раненые ели ложками соль... В строю называют фамилию, боец выходит и падает вместе с винтовкой от слабости. От голода.

Народ нам помогал. Если бы не помогал, то партизанское движение не могло бы существовать. Народ вместе с нами воевал. Иной раз со слезами, но все-таки отдают:

— Деточки, вместе будем горевать. Победу ждать.

Последнюю дробненькую бульбу высыпят, дадут хлеба. В лес нам мешки соберут. Один говорит: “Я столько-то дам”, тот — “Столько”. — “А ты, Иван?” — “А ты, Мария?” — “Как все, так и я, но у меня ж дети”.

Что мы без населения? Целая армия в лесу, но без них мы бы погибли, они же сеяли, пахали, детей и нас выхаживали, одевали всю войну. Ночью пахали, пока не стреляют. Я помню, как пришли в одну деревню, а там хоронят старого человека. Его ночью убили. Жито сеял. Так зажал зерна в руке, что разогнуть пальцы не смогли. С зернами положили...

У нас же оружие, мы могли защищаться. А они? За то, что хлеба дал партизану — расстрел, я переночевала и ушла, а если кто донесет, что я в этой хате ночевала — им всем расстрел. А там женщина одна, без мужа, а с ней трое маленьких детей. Она же не прогоняла нас, когда придем, и печку вытопит, и обстирает... Последнее отдаст: “Ешьте, хлопчики”. А бульба весной дробненькая-дробненькая, как горошины. Мы

едим, а дети на печи сидят, плачут. Горошины эти последние...»

*Александра Никифоровна Захарова,
партизанский комиссар*

двести двадцать пятого полка Гомельской области

«Первое поручение... Принесли мне листовки. Я зашила их в подушку. Мама стелила постель и нащупала. Распоролa подушку и увидела эти листовки. Стала плакать. “Ты себя погубишь и меня”. Но потом она мне помогала.

К нам часто приезжали партизанские связные. Распрягут лошадь, зайдут. Что вы думаете, соседи не видели? Видели и догадывались. Я говорила, что это от брата, из деревни. Но все хорошо знали, что у меня никакого брата в деревне нет. Я им благодарна, я всей нашей улице должна поклониться. Одного только слова было достаточно, чтобы мы погибли, вся семья. Стоило только пальцем ткнуть в нашу сторону. Но никто... Ни один человек... В войну я так полюбила людей, что никогда уже не смогу их разлюбить...

После освобождения... Я иду по улице и оглядываюсь: уже не могла не бояться, не могла спокойно пройти по улице. Иду и машины считаю, на вокзале поезда... Долго отучивалась...»

*Вера Григорьевна Седова,
подпольщица*

«Я уже плачу... Слезы заливают...

Зашли мы в хату, а там ничего нет, две голые обструганные скамейки и стол стоит. Даже кружки, кажется, не было — воды напиться. Все у людей забрали. И только икона в углу, и рушник на ней висит.

Сидят дед с бабкой. Один наш партизан снял сапоги, портянки такие рваные, он их закрутить уже не может. А дождь, а грязь, а сапоги рваные. И вот эта бабка подходит к иконе, снимает рушник и отдает ему: “Детка, а как же ты пойдешь?”

А больше ничего в этой хате нет...»

*Вера Сафроновна Давыдова,
партизанка*

«В первые дни... Подобрала я за деревней двух раненых... Один был ранен в голову, у другого солдата — осколок в ноге. Сама этот осколок вытащила, в рану влила керосин, не нашла ничего другого. А я уже знала... Про керосин, что он дезинфицирует...

Выходила я их, подняла на ноги. Сначала один ушел в лес, потом другой. Последний, когда уходил, сразу — мне в ноги. Хотел мне ноги целовать:

— Сестричка милая! Ты мне жизнь спасла.

Не было ни имени, ничего. Только — сестра и брат.

Бабы соберутся вечером у меня в хате:

— Говорят немцы, что Москву взяли.

— Никогда!

С этими же бабами мы поднимали после освобождения колхоз, меня поставили председателем. Было еще у нас четыре деда и пять хлопчиков по десять-тринадцать лет. Это мои пахари. Было двадцать лошадей, у них короста, их надо лечить. Вот и все наше хозяйство. Не было ни колес, ни хомутов. Лопатами бабы землю поднимали, на коровах и быках бороновали, бычкам хвосты пооткручивали, они лягут, и их не поднять. Хлопчики день боронуют, а вечером узелки развяжут, у всех еда одинаковая — праснаки. Вы и не знаете, что это такое. Семена щавеля, оборотничек... Не знаете? Такая трава есть. Клевер щипали. И все это толкли в ступе. И пекли эти праснаки. Такой хлеб... Горький — горький...

Осенью пришла разнарядка: пятьсот восемьдесят кубометров леса повалить. С кем? Взяла своего хлопчика двенадцати лет и девочку десяти лет. И другие бабы так. Сдали мы этот лес...»

*Вера Митрофановна Толкачева,
партизанская связная*

Рассказывают Иосиф Георгиевич Ясюкевич и его дочь Мария, в войну партизанские связные отряда имени Петракова бригады имени Рокоссовского:

Иосиф Георгиевич:

— Все отдал для победы... Самое родное. Сыны мои воевали на фронте. Двоих племянников расстреляли за связь с партизанами. Сестру мою, их мать, фашисты сожгли. В их же хате... Люди пересказывали, что пока дым не закрыл, стояла она ровненько, как свечка, и икону держала. После войны: солнце заходит, мне кажется, что-то горит...

Мария:

— Я была девочка, тринадцать лет. Я знала, что отец помогает партизанам. Понимала. Приходили какие-то люди ночью. Что-то оставляли, что-то забирали. Часто отец брал с собой меня, посадит на воз: “Сиди и не поднимайся с этого места”. Когда приедем куда надо, он достает оттуда оружие или листовки.

Потом стал меня посылать к станции. Научил, что надо запоминать. Я тихонько прокрадусь к кустам и до ночи там, считаю, сколько составов прошло. Запоминую, что везут, оно видно: оружие, танки или солдаты едут. Два-три раза в день немцы простреливали кусты.

— А не страшно было?

— Я маленькая, проберусь всегда так, что меня никто не заметит. А тот день... Я хорошо помню... Отец два раза пытался выехать с хутора, где мы жили. Под лесом его ждали партизаны. Два раза выезжал, и два раза его возвращали патрули. Стало темнеть. Зовет меня: “Марийка...”. А мать в голос: “Не пущу дитя!”. Тянет меня от отца...

Но я побежала через лес, как он велел. Я там все дорожки наизусть знала, правда, темноты боялась. Партизан нашла, они ждали, все передала, что отец сказал. А когда возвращалась назад, уже светать начало. Как обойти немецкие патрули? Кружила по лесу, кружила

и провалилась в озеро, пиджак отцовский, сапоги, все утонуло. Из полыньи выбралась... Бежала по снегу босиком... Заболела, и как слегла, так уже с кровати и не встала. Ноги отнялись. Врачей и лекарств тогда не было. Мама лечила отварами из трав. Глину прикладывала...

После войны повезли к врачам. Но уже было поздно. Осталась я лежать... Могу посидеть, но немного, лежу и смотрю в окно... Войну вспоминаю...

Иосиф Георгиевич:

— Я ее на руках ношу... Сорок лет. Как дитя малое... Два года назад умерла жена. Все, сказала мне, простила. Грехи молодые... Все... А Марийку не простила. По глазам понял... А я умирать боюсь, тогда Марийка одна останется. Кто ее на руках понесет? Кто перекрестит на ночь? Бога попросит...

О мамках и татках

Деревня Ратынцы Воложинского района Минской области. Час езды от столицы. Обычная белорусская деревня — деревянные дома, цветные палисадники, петухи и гуси на улицах. Дети в песке. Старые женщины на лавочках. Я приехала к одной из них, а собралась вся улица. Заговорили. Заголосили в один голос.

Каждая о своем, а вместе об одном. О том, как пахали, сеяли, хлеб партизанам пекли, как детей берегли, ходили к гадалкам и цыганкам, разгадывали сны и просили Бога заступиться. Ждали с войны мужей.

Записала первые три фамилии: Елена Адамовна Величко, Юстина Лукьяновна Григорович, Мария Федоровна Мазуро. А дальше уже было не разобрать из-за плача...

«Ах, дочушка моя! Золотая моя, не люблю я День Победы. Плачу! Ой, плачу! Как задумаюсь, все оно возвращается. Счастье за горами, а беда за плечами...

Спалили нас немцы, забрали все дочиста. Остались мы на одном сером камне. Пришли из лесу, ничего нет. Только коты пооставались. Что ели? Летом пойду ягод насобираю, грибов. У меня полная хата детей.

А кончилась война, в колхоз пошли. И жала, и косила, и молотила. Плуг на себе тягали вместо коней. Коней не было, и их убили. Собак постреляли. Мама моя так говорила: как помру, не знаю, что с душой будет, а руки — так отдохнут. Девочке моей десять лет было, она со мной жала. Бригадир приехал поглядеть, как такая малая и норму до вечера зробить. А мы жнем и жнем, солнце за лес катится, а нам чтоб оно выше поднялось. Нам дня мало. По две нормы давали. А платить нам ничего не платили, одни галочки на трудодни ставили. Ходишь лето в поле, а осенью мешка муки не получишь. На одной бульбочке детей поднимали...»

«Вот и кончилась война. И осталась я одна. Я корова, я и бык, я и баба, и мужик. Ай-ай-ай...»

«Война-беда... В моей хате одни дети. Ни лавки, ни сундука. Оголели совсем. Желуди ели, весной траву... Пошла моя девочка в школу, только тогда я ей первые ботиночки купила. Она в них спать ложилась, не хотела снимать. Во как жили! Жизнь кончается, а вспомнить нечего. Одна война...»

«Слух прошел, что в местечко пригнали наших пленных, кто признает там своего, может забрать. Поднялись, побежали наши бабы! Вечером кто своего, а кто чужого привел, и такое рассказывают, что поверить нет сил: гниют люди живьем, с голоду помирают, на деревьях все листья объели... Траву едят... Корешки из земли выкапывают... Побежала и я на другой день, своего не нашла, думаю, сына кому-нибудь спасу. Приглянулся мне один чернявенький, Сашко звали, как сейчас моего внука. Ему лет восемнадцать... Дала немцу сала, яиц,

божусь: “Брат”. Крещусь. Пришли мы домой, он одного яйца не съест, такой слабый. Месяца не побыли эти люди у нас, и нашелся гад. Жил, как все, женатый, двое детей... Пошел в комендатуру и заявил, что мы чужих взяли. Назавтра немцы приезжают на мотоциклах. Просим, на колени падаем, а они обманули, что отвезут их ближе к дому. Я Сашко костюм дедовый отдала... Я думала, он будет жить...

А их вывели за деревню... И положили с автоматов... Всех. До одного... Они же молодые-молодые, хорошие! И мы решили, у кого они были — девять человек, их поховать. Пятеро из ямы вытягивают, а четверо оглядываются, чтоб немцы не налетели. Руками нельзя, самая жара, а они четыре дня лежали... И лопатками посечь боимся... На настольник положишь и тянешь. И воду брали, и носы завязывали. Как самим не упасть... Могилку одну в лесу выкопали, положили в рядок... Простынями головы понакрывали... Ноги...

Год мы не утихали, плакали по ним. И каждая думала: а где мой муж или сын? Живы ли они? Потому что с войны дождешься, а из песка никогда... Ай-ай-ай...»

«Муж у меня был хороший, добрый. Мы с ним успели пожить только полтора годочка. Когда он уходил, я дите под грудями носила. Но он девочку не дождался, без него родила. Он летом ушел, а я ее осенью родила.

Еще я ее возле груди держала, без малого годок. Сижу на кровати, кормлю... Стук в окно: “Лена, бумажку принесли... На мужика твоего...”. (Это бабы почтальона не пустили, сами пришли сказать.) А я как стояла, как девочку держала, так молоко из меня и ударило, аж на землю. Девочка как закричит — она испугалась. Грудь мою больше не взяла. Это как раз в вербную субботу мне сказали. В апреле... Уже сонейко светило... В бумажке я прочитала, что погиб мой Иван в Польше. Под городом Гданьском его могилка. Погиб семнадцатого марта сорок пятого года... Такая маленькая тонкая

бумажка... Уже мы Победу ждали, вот-вот наши мужики придут. Сады зацветали...

Девочка моя после испуга долго болела, пока в школу не пошла. Дверьми сильно стукнут или крикнет кто — она уже больная. Плачет ночами. Я долго с ней мучилась, наверное, семь год не видела сонейка, оно мне не светило. У меня в глазах было черно.

Сказали — Победа! Стали мужики по домам возвращаться. Но вернулось меньше, чем мы отправили. Меньше половины. Брат мой Юзик пришел первым. Правда, покалеченный. И у него была такая девочка, как моя. Четыре годочка, потом пять... Моя девочка играть к ним ходила, а один раз бежит и плачет: “Не пойду к ним”. — “А чего ж ты плачешь?” — спрашиваю. “Олечку (а у них девочку Олечкой звали) татка на коленки берет, жалеет. А у меня татки нету. У меня только мамка”. Обнялись мы...

И так года два-три. Прибежит с улицы и ко мне: “Я дома погуляю? А то татка будет идти, а я с другими детьми на улице, он меня не узнает. Он же меня не видел”. Не могу выгнать ее из хаты на улицу к детям. Целыми днями дома сидела. Татку ждала. А татка наш не вернулся...»

«Мой, как уходил на войну, так сильно плакал, что детей маленьких оставляет. Жалился. А дети такие маленькие, что еще не понимали, что у них папка есть. И главное — хлопчики все. Самого меньшенького еще на руках носила. Он его как взял, как прижал к себе. Я бегу за ним, уже кричат: “В колонну все станови-и-ись!”. А он отпустить дитя не может, в колонну с ним становится... Военный на него кричит, а он дитятко слезами умывает. Все пеленочки были мокрые. Бежали мы с детьми за ним аж за деревню, километров пять еще бежали. С нами и другие бабы. Дети мои уже падают, и я этого маленького чуть несу. А Володя, это мой мужик, оборачивается, и я бегу и бегу. Последняя осталась... Детей где-то на дороге кинула. Только с маленьким его догоняю...

А через год пришла бумажка: погиб ваш муж Владимир Григорович в Германии, под самым Берлином. Я и могилки его не видела. Один сосед возвратился, совсем здоровый, второй возвратился без ножки. Такая жаль меня взяла: пусть бы и мой вернулся, пусть бы без ножек, но живой. Я бы на руках его носила...»

«У меня трое сыночков осталось... И снопы на себе тягала, и дрова из леса, бульбочку и сено. Все сама... Плут самотугом, на горбу своем, волокла и борону. А что ж?! У нас через хату-две — вдова или солдатка. Пооставались мы без мужиков. Без коней. Коней тоже на войну позабирали. Так я... Я еще в передовиках ходила. Две почетные грамоты мне дали, а один раз так и десять метров ситца. Во радость была! Моим хлопчикам, всем троим, рубашки пошила».

«После войны... Сыны тех, кто погиб, только поднялись. Вырастали. Тринадцать-четырнадцать годков хлопчикам, а они уже думали, что взрослые. Хотели жениться. Мужиков нет, а бабы все молодые...

И вот если б сказали: отдай коровку — и войны не будет. Отдала бы! Чтобы мои дети не узнали того, что мне было. Днюю и ночью, а беду свою слышу...»

«Гляну в окно, так как будто он сидит... Бывает, под вечер что-то покажется... Я уже старая, а его всегда молодым вижу. Таким, каким я его отправила. Если приснится, то тоже молодой. Там и я молодая...

Бабам всем похоронки прислали, а у меня бумажка — “пропал без вести”. Синим чернилом написано. Первые десять лет ждала каждый день. И теперь жду. Пока человек живет, на все можно надеяться...»

«А как бабе одной жить? Человек пришел, помог мне или не помог. Одна беда. Каждый слово бросит... Люди наговорились, собаки набрехали... Но поглядел бы мой Иван на своих пять внуков. Я другой раз стану воз-

ле его портрета, фотокарточки их покажу. Поговорю с ним...»

«Ай-ай-ай... Божухна наш... Милосердный...»

«Приснился мне сразу после войны сон: выхожу во двор, а мой по двору ходит... В военном... И так зовет меня, дозывается. Выскочила из-под одеяла, открыла окно... Тихо-тихо. Даже птиц не слышно. Спят. Ветер по листочкам ходит... Посвистывает...»

Утром взяла десяток яиц и пошла к цыганке. «Его уже нет, — кинула она карты. — Не жди зря. Это его душа возле дома ходит». А мы с ним по любви сошлись. По большой любви...»

«Меня одна гадалка научила: “Заснут все. Надень черный платок и сядь у большого зеркала. И вот он оттуда появится... Дотрагиваться не надо ни до него, ни до его одежды. Только говори с ним...” Я всю ночь просидела... Под самое утро он пришел... Ничего не говорил, молчал и слезы текли. Раза три так появлялся. Позову — придет. Плачет. И я перестала его вызывать. Жалею...»

«И я со своим встречи жду... День и ночь буду ему рассказывать. Мне ничего от него не надо, одно — пусть послушает. Он, наверное, тоже там состарился. Как и я».

«Моя ты землячка... Копаю бульбочку, бураки... Вот он где-то там, и я скоро к нему приду... Сестра мне говорит: “Ты не в землю, а на небо смотри. Вверх. Они — там”. Во моя хатка... Рядом... Оставайся у нас. Как переночуешь, так больше узнаешь. Кровь не вода, разливать жалко, а она льется. Я по телевизору вижу... Каждый день...»

Можешь и не писать про нас... А лучше запомни... Вот мы с тобой вместе поговорили. Поплакали. И ты, когда попрощаешься с нами, оглянись на нас и на наши

хаты. Не один раз оглянись, как чужая, а два. Как своя. И больше ничего не надо. Оглянись...»

О маленькой жизни и большой идее

«Я всегда верила... Я верила Сталину... Верила коммунистам. Я сама была коммунисткой. Верила в коммунизм... Жила ради этого, выжила ради этого. После доклада Хрущева на XX съезде, когда он рассказал об ошибках Сталина, я заболела, в кровать слегла. Я не могла поверить, что это правда. В войну я тоже кричала: «За Родину! За Сталина!». Меня никто не заставлял... Я верила... Это — моя жизнь...

Вот она...

В партизанах воевала два года... В последнем бою меня ранило в ноги, я потеряла сознание, а мороз был сильный, когда проснулась, почувствовала, что отморожены руки. Теперь живые, хорошие руки, а тогда черные... И ноги, конечно, тоже были отморожены. Если б не мороз, может быть, ноги удалось бы спасти, а они были в крови, и я долго лежала. Когда нашли меня, положили вместе с другими ранеными, свезли в одно место, много нас, а тут немцы снова окружают. Отряд уходит... Прорывается... Нас, как дрова, на сани побросали. Некогда смотреть, жалеть, всех отвозят глубже в лес. Прячут. Так отвозили и отвозили, а потом сообщили в Москву о моем ранении. Я ведь была депутатом Верховного Совета. Большой человек, мной гордились. А я из самого низа, простая крестьянка. Из крестьянской семьи. Я рано вступила в партию...

Ноги пропали... Ноги отрезали... Спасали меня там же, в лесу... Операция была в самых примитивных условиях. Положили на стол оперировать, и даже йода не было, простой пилой пилили ноги, обе ноги... Положили на стол, и нет йода. За шесть километров в другой отряд поехали за йодом, а я лежу на столе. Без наркоза.

Без... Вместо наркоза — бутылка самогонки. Ничего не было, кроме обычной пилы... Столярной...

Связались с Москвой, чтобы прислали самолет. Самолет трижды прилетал, покружится-покружится, а опуститься не может. Кругом обстреливали. На четвертый раз сел, но у меня обе ноги уже были ампутированы. Потом в Иванове, в Ташкенте четыре раза делали реампутацию, четыре раза опять начиналась гангрена. По кусочку каждый раз резали, и получилось — очень высоко. Первое время плакала... Рыдала... Представляла, как по земле буду ползать, ходить не смогу, а буду ползать. И сама не знаю, что мне помогло, удержало... Как я себя уговорила... Конечно, добрых людей встретила. Много хороших людей. У нас был хирург, он сам тоже без ног, он говорил обо мне, это другие врачи передали: “Я преклоняюсь перед ней. Я столько мужчин оперировал, но таких не видел. Не вскрикнет”. Я держалась... Я привыкла быть на людях сильной...

Потом приехала назад, в Дисну. Свой городок. Вернулась с костылями.

Это я теперь плохо хожу, потому что старая, а тогда бегала по городу и всюду пешком. На протезах бегала. И в колхозы ездила. Поставили меня на должность зампреда райисполкома. На большую работу. В кабинете не сидела. Все по деревням, по полям. Даже обижалась, если поблажку чувствовала. Грамотных колхозных председателей в то время было немного, и если какая-то ответственная кампания, посылали на место представителей из района. И вот по понедельникам вызывали нас в райком и давали задание, кому куда. Сажу утром, смотрю в окно — все идут и идут к райкому, а мне не звонят. И мне как-то больно, мне хотелось быть, как все.

И наконец звонок, звонит первый секретарь: “Фекла Федоровна, зайдите”. Какая я тогда счастливая, хотя мне очень и очень трудно было ездить по деревням, меня посылали и за двадцать, и за тридцать кило-

метров, где, бывало, подъедешь, а где и пешком. Иду где-нибудь в лесу, упаду, а встать не могу. Сумку положу, чтобы опереться, или за дерево зацеплюсь, встану и дальше иду. А пенсию получала, могла бы жить для себя, для одной себя. Но я хотела жить для других. Я — коммунистка...

Ничего у меня своего нет. Одни ордена, медали и почетные грамоты. Дом государство построило. Дом большой, потому что детей в нем нет, вот он и кажется таким большим... А потолки такими высокими... Живем в нем вдвоем с сестрой. Она — моя сестра, моя мама, моя нянька. Я теперь старая... Утром сама не поднимусь...

Живем вдвоем, живем прошлым. У нас — красивое прошлое. Тяжело жили, но красиво и честно, и мне за себя не обидно. За свою жизнь... Я жила честно...»

*Фекла Федоровна Струй,
партизанка*

«Нас время сделало такими, какими мы были. Показали себя. Больше такого времени не будет. Не повторится. А тогда — идея наша была молодая, и мы молодые. Ленин умер недавно. Сталин живой... С какой гордостью я носила пионерский галстук. Комсомольский значок...

И вот — война. И вот мы такие... Конечно, у нас в Житомире быстро появилось подполье. Я была там сразу, это даже не обсуждалось: идти или не идти, страшно или не страшно? Это даже не обсуждалось...

Через несколько месяцев нашу подпольную группу выследили. Группу предали. Меня схватило гестапо... Конечно, было страшно. Для меня это даже страшнее, чем умереть. Я боялась пыток. Пыток боялась... А вдруг не выдержу? Каждый из нас так думал... Наедине... Я, например, с детства плохо переносила любую боль. Но мы еще не знали себя, не знали, как мы сильны...

На последнем допросе, после которого в третий раз я была внесена в список на расстрел, у третьего по счету следователя, сказавшего, что он историк по образо-

ванию, было так... Этот фашист хотел понять, почему мы такие люди, почему для нас так важны наши идеи. "Жизнь выше идеи", — говорил он. Я, конечно, не соглашалась с этим, он кричал, бил. "Что? Что заставляет вас быть такими? Спокойно принимать смерть? Почему коммунисты считают, что коммунизм должен победить во всем мире?" — спрашивал. Он прекрасно говорил по-русски. И я решила ему все сказать, все равно знала, что убьют, так хоть недаром, и пусть знает, что мы сильны. Около четырех часов он спрашивал, а я отвечала, как знала, как успела до того изучить марксизм-ленинизм в школе и университете. О, что с ним делалось! Хватался за голову, бегал по комнате, останавливался как вкопанный и глядел-глядел на меня, но впервые не бил...

Я стояла перед ним... Половина волос у меня вырвана, а до этого были две толстые косы. Голодная... Сначала мечтала: кусочек бы хлеба маленький-маленький, потом — ну хоть бы корочку, затем — хоть бы найти крошечки... Я перед ним стою такая... Глаза горят... Он слушал долго меня. Слушал и не бил... Нет, еще не испугался, еще только сорок третий год. Но уже что-то почувствовал... какую-то опасность. Захотел узнать — какую? Я ему ответила. Но когда я ушла, внес меня в списки на расстрел...

В ночь перед расстрелом я вспоминала свою жизнь, свою короткую жизнь...

Мой самый счастливый день в жизни, когда отец с матерью, отъехав под бомбежками несколько десятков километров от дома, решили вернуться. Не уходить. Остаться дома. Я знала — мы будем бороться. Нам казалось, что так скоро придет победа. Обязательно! Первое, что мы делали, — это искали и спасали раненых. Они лежали на поле, в траве, в канавах, в хлев заползут к кому-нибудь. Я вышла накопать утром картошки, и одного нашла на нашем огороде. Он умирал... Молодой офицер, у него не было сил даже сказать мне свое

имя. Шептал какие-то слова... Не разобрать... Я помню свое отчаяние. Но мне кажется, что никогда я не была так счастлива, как в те дни... Я обрела родителей во второй раз. До этого я думала, что мой папа далек от политики, а он был беспартийный большевик. Моя мама — малограмотная крестьянка, она верила в Бога. Она молилась всю войну. Но как? Падала перед иконой на колени: “Спаси народ! Спаси Сталина! Спаси коммунистическую партию от этого ирода Гитлера”. Каждый день на допросе в гестапо я ожидала, что откроется дверь и войдут родные. Папа с мамой... Я знала, куда я попала, и я счастлива, что никого не предала. Больше, чем умереть, мы боялись предать. Когда меня арестовали, я поняла, что настало время мук. Я знала, что дух мой силен, а тело?

Не помню первый допрос... Я сознание не теряла... Один только раз сознание ушло, когда каким-то колесом выкручивали руки. Кажется, не кричала, хотя перед этим мне показали, как кричат другие. На следующих допросах уже теряла чувство боли, тело деревенело. Фанерное тело. Одна мысль: нет! На их глазах я не умру. Нет! И только когда все кончится, притащат в камеру, я начинала чувствовать боль, я становилась раной. Сплошной раной. Все тело... Но выдержать. Выдержать! Чтобы мама узнала, что я умираю человеком, никого не предала. Мама!

Били, подвешивали. Всегда абсолютно раздетую. Фотографировали. Руками можешь закрыть только груди... Я видела, как сходили с ума... Видела, как маленький Коленька, ему не было года, мы его учили слову “мама”, как он, когда его забирали у матери, понял сверхъестественным образом, что лишается ее навсегда, и закричал первый раз в своей жизни: “Мама!”. Это было не слово или не только слово... Я хочу вам рассказать... Все рассказать... О, каких людей я там встретила! Они умирали в подвалах гестапо, и об их мужестве знали только стены. И теперь, сорок лет спустя, я мыс-

ленно опускаюсь перед ними на колени. “Умереть — проще всего”, — говорили они. А вот жить... Как хотелось жить! Мы верили: победа придет, в одном только сомневались — доживем ли мы до этого великого дня?

У нас в камере было маленькое окошко, на нем решетка, надо было, чтобы кто-нибудь тебя подсадил, и тогда увидишь — и то даже не кусочек неба, а кусочек крыши. А мы все такие слабые, что посадить друг друга не могли. Но была у нас Аня, парашютистка. Ее схватили, когда их забрасывали в тыл с самолета, группа попала в засаду. И вот она, вся окровавленная, избитая, вдруг попросила: “Подтолкните меня, я выгляну на волю. Хочу туда!”.

Хочу — и все. Мы все вместе ее подняли, она вскрикнула: “Девочки, там цветочек...”. И тогда каждая стала проситься: “И меня...”, “И меня...”. И откуда-то у нас взялись силы помочь друг другу. А то был одуванчик, как его занесло на эту крышу, как он там удержался, ума не приложу. Каждая что-то загадала на этот цветок. Как я теперь думаю, каждая загадала: выйдет ли она живой из этого ада?

Я так любила весну... Любила, когда цветут вишни и возле сиреневых кустов пахнет сиреневыми духами... Вы не удивляйтесь моему стилю, я стихи писала. А сейчас я весну не люблю. Это война стала между нами, между мной и природой. Когда цвели вишни, я видела фашистов в родном Житомире...

Осталась я жива чудом... Спасли меня люди, которые хотели отблагодарить моего отца. Мой отец — врач, по тем временам это было великое дело. Меня вытолкнули из колонны, вытолкнули в темноте, когда нас вели на расстрел. А я ничего не помнила от боли, шла, как во сне... Шла, куда вели... Потом везли... Привезли домой, я вся была в ранах, сразу высыпала нервная экзема. Я даже голоса человеческого слышать не могла. Услышу — сразу мне больно. Мама и папа разговаривали шепотом. Я все время кричала, замолкала только в го-

рячей воде. Маму ни на секунду не отпускала от себя, она просилась: “Дочка, мне надо ж к печи. На огород...”. А я держалась за нее... Как только я отпускала ее руку, на меня все опять наваливалось. Все, что со мной было. Чтобы чем-то меня отвлечь, мне приносили цветы. Мои любимые колокольчики... Листья каштана... Запахи отвлекали... Платье, в котором я была в гестапо, мама держала у себя. И когда умирала, оно у нее под подушкой было. До ее последнего часа...

Первый раз я поднялась, когда увидела наших солдат. Вдруг я, которая лежала больше года, подхватываюсь и выбегаю на улицу: “Родные мои! Роднусенькие... Вы вернулись...”. Солдаты на руках внесли меня в нашу хату. В подъеме я на второй и на третий день побежала в военкомат: “Дайте мне работу!”. Папе сказали, он пришел за мной: “Детка, как ты пришла? Кто тебе помог?”. Меня хватило на несколько дней... И снова начались боли... Муки... Я кричала целыми днями. Люди шли мимо нашей хаты и просили: “Господи, или прими ее душу, или помоги, чтобы она не мучилась”.

Спасли меня целебные грязи Цхалтубо. Спасло желание жить. Жить, жить и — больше ничего. Я еще жила. Жила, как все... Жила... Четырнадцать лет работала в библиотеке. Это были радостные годы. Самые-самые. А теперь жизнь превратилась в сплошную борьбу с болезнями. Старость, что ни говорите, вещь скверная. Еще одиночество, я осталась совсем одна. Папы и мамы давно нет. Эти длинные ночи без сна... Сколько лет прошло, а мой самый страшный сон, я просыпаюсь в холодном поту. Я не помню фамилии Ани... Я не помню, то ли она с Брянщины, то ли со Смоленщины. Я помню, как она не хотела умирать! Заложит белые полные руки за голову и в окно через решетку кричит: “Я жить хочу!”.

Я не нашла ее родных... Я не знаю, кому об этом рассказать...»

*Софья Мироновна Верещак,
подпольщица*

«После войны мы узнали про Освенцим, Дахау... Как после этого рожать? А я уже беременная...

Тут меня посылают в деревню подписывать на заем. Государству нужны деньги, надо восстанавливать заводы, фабрики.

Приехала — деревни нет, все в земле... В землянках живут... Вышла женщина, какая там на ней одежда, страшно смотреть. Я залезла в землянку, сидят трое детей, они все голодные. Она им что-то толкла в ступке, какую-то траву.

Она спросила у меня:

— Ты пришла подписывать на заем?

Я говорю:

— Да.

Она:

— У меня денег нет, но есть курица. Пойду спрошу, если соседка, она вчера просила у меня, купит, я тебе отдам.

И сейчас рассказываю, у меня ком в горле. Какие были люди! Какие люди! У нее мужа убили на фронте, осталось трое детей, и ничего нет, только одна эта курица, и она ее продает, чтобы отдать мне деньги. Мы тогда собирали наличными. Она готова все отдать, чтобы только мир был, чтобы дети ее остались живы. Помню ее лицо. И всех детей ее...

Как они выросли? Я хотела бы знать... Хотела бы найти и встретиться...»

*Клара Васильевна Гончарова,
зенитчица*

«МАМА, ЧТО ТАКОЕ — ПАПА?»



Не вижу конца этой дороге. Зло мне кажется бесконечным. Я уже не могу отнести к нему только как к истории. Кто бы мне ответил: с кем я имею дело — со временем или с человеком? Времена меняются, а человек? Думаю о тупой повторяемости жизни.

Они рассказывали как солдаты. Как женщины. Многие из них были матерями...

О купании ребенка и о маме, похожей на папу

«Я бегу... Нас несколько человек бежит. Убегает... За нами гонятся. Стреляют. А там моя мама уже стоит под автоматами. Но она видит, как мы бежим... И я слышу ее голос, она кричит. Мне потом люди рассказывали, как она кричала. Она кричала: “Хорошо, что ты платье белое надела... Доченька... Тебя уже некому будет одеть...”. Она была уверена, что меня убьют, и у нее была радость, что я буду лежать вся в белом... А перед этим мы собирались в гости в соседнюю деревню. На Пасху... К нашим родственникам...

Была такая тишина... Перестали стрелять. Одна моя мама кричала... А может, стреляли? Я не слышала...

За войну вся наша семья погибла. Кончилась война, а мне ждать некого...»

*Любовь Игоревна Рудковская,
партизанка*

«Стали бомбить Минск...

Я кинулась бегом в детский сад за сыном, а дочь у меня была за городом. Ей как раз исполнилось два годика, она была в яслях, а ясли выехали за город. Я решила забрать сына и отвести домой, а потом бежать за ней. Хотелось скорее собрать всех вместе.

Подхожу к детсаду, а самолеты над городом, где-то бомбят. Слышу за забором голос сынишки, ему было неполных четыре годика:

— Вы не бойтесь, мама сказала, немцев разобьют.

Заглядываю в калитку, а их там много, и это он так успокаивает других. А увидел меня, начал дрожать, плакать, оказывается, он страшно боялся.

Привела его домой, попросила свекровь присмотреть, а сама пошла за девочкой. Бегом! На том месте, где должны быть ясли, никого не нашла. Деревенские женщины подсказали, что детей куда-то повели. Куда? Кто? Говорят, что, наверное, в город. Было с ними две воспитательницы, машины они не дождались и пошли пешком. До города десять километров... Но это же такие маленькие дети, от годика до двух. Милая моя, я искала их две недели... По разным деревням... Когда зашла в дом и мне сказали, что это именно эти ясли, эти дети, я не поверила. Они лежали, извините, в испражнениях, с температурой. Как мертвые... Заведующая яслями совсем молодая женщина, она стала седая. Они, оказывается, весь путь до города прошли пешком, терялись по дороге, умерло несколько детей.

Хожу между ними и не узнаю свою дочь. Заведующая меня успокаивает:

— Не отчаивайтесь, ищите. Она должна быть здесь. Я ее помню.

Я нашла свою Эллочку по одному ботиночку... Иначе бы я ее никогда не узнала...

Потом сгорел наш дом... Мы остались на улице, остались в чем были. Это уже немецкие части вошли в город. Нам некуда было деться, несколько дней я ходила с детьми по улице. Встречаю Тамару Сергеевну Синицу, до войны мы с ней были немного знакомы. Она выслушала меня и говорит:

— Идемте ко мне.

— Мои дети коклюшем болеют. Как я могу к вам идти?

У нее тоже были маленькие дети, они могли заразиться. А это же такое время... Лекарств нет, больницы уже не работают.

— Нет, идем.

Милая моя, такое разве забудешь? Они картофельной шелухой с нами делились. Из своей старой юбки я сшила сыну штанишки, чтобы что-нибудь ему подарить на день рождения.

Но мы мечтали о борьбе... Мучило бездействие... Какое счастье было, когда появилась возможность включиться в подпольную работу, а не сидеть, сложа руки. Ждать. Сына, он побольше, он старше, я на всякий случай отправила к свекрови. Она поставила мне условие: "Возьму внука, но чтобы ты больше в доме не появлялась. Из-за тебя и нас всех убьют". Три года я не видела сына, боялась к дому подойти. А дочь, когда за мной уже стали следить, немцы напали на след, я взяла с собой, вместе с ней ушла в партизаны. Я несла ее на руках пятьдесят километров. Пятьдесят километров... Мы шли две недели...

Больше года она была там со мной... Часто думаю: как мы это с ней пережили? Спросите меня — не скажу. Милая моя, такое выдержать невозможно. От слова "партизанская блокада" у меня и сегодня стучат зубы.

Май сорок третьего... Меня послали с пишущей машинкой в соседнюю партизанскую зону. Борисовскую.

У них была наша машинка, с нашим шрифтом, а потребовалась с немецким шрифтом, такая была только у нас. Это была машинка, которую я по заданию подпольного комитета вынесла из оккупированного Минска. Когда я пришла туда, к озеру Палик, через несколько дней началась блокада. Вот куда я попала...

А я пришла не одна, я пришла с дочкой. Когда уходила на операцию на день-два, я ее оставляла на чужих людей, а оставить ее на долгое время было негде. И, конечно, ребенка я взяла с собой. И мы попали с ней в блокаду... Немцы окружили партизанскую зону... С неба бомбят, с земли расстреливают... Если мужчины шли только с винтовкой, то я несла винтовку, пишущую машинку и Эллочку. Идем, я споткнулась, она через меня — и в болото. Пройдем — и опять летит... И так два месяца! Я клялась себе, что, если выживу, не подойду к болоту, я его больше видеть не могу.

— Я знаю, почему ты не ложишься, когда стреляют. Ты хочешь, чтобы нас вместе убили. — Это ребенок мне говорил, четыре годика. А я не имела сил лечь, если я лягу, то уже никогда не встану.

Партизаны другой раз пожалеют:

— Хватит. Давай мы дочку понесем.

А я никому не доверяла. Вдруг начнется обстрел, вдруг без меня ее убьют, и я не услышу? Вдруг потеряется...

Встретил меня комбриг Лопатин.

— Ну и женщина! — был он потрясен. — В такой обстановке ребенка несла и машинку не бросила. Это же не всякий мужчина смог бы.

Взял Эллочку на руки, обнимает, целует. Вывернул все свои карманы — высыпал ей хлебные крошки. Она запила болотной водой. И по его примеру другие партизаны вывернули свои карманы и высыпали ей крошки.

Когда мы вышли из блокады, я была совсем больная. Вся в фурункулах, кожа сползала с меня. А на руках ребенок... Ждали самолет с Большой земли, сказали, что,

если он прилетит, отправят самых тяжелых раненых и могут взять мою Эллочку. И вот я помню эту минуту, когда ее отправляла. Раненые тянутся к ней: “Эллочка, ко мне”. — “Давай ко мне. Тут хватит места...” Они все ее знали, она в госпитале пела им: “Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы”.

Летчик спрашивает:

— С кем ты здесь, девочка?

— С мамой. Она за кабинкой осталась...

— Позови маму, чтобы она летела с тобой.

— Нет, маме нельзя улетать. Она должна бить фашистов.

Вот такие они были, наши дети. А я смотрю на ее личико, и у меня спазмы — увижу ли я ее когда-нибудь?

Я вам еще расскажу, как мы с сыном встретились... Это уже после освобождения. Иду к дому, где свекровь жила, а ноги — вата. Женщины в отряде, которые были постарше, предупредили:

— Ты, если увидишь его, ни в коем случае не признавайся сразу, что ты его мать. Ты представляешь, что он без тебя пережил?

Бежит соседская девочка:

— Ой! Мама Лёни. А Лёня жив...

У меня ноги не идут дальше: сын жив. Она рассказала, что свекровь умерла от тифа, а Леню взяла соседка.

Захожу к ним во двор. В чем я? В немецкой гимнастерке, в заштопанных черных ватниках, в сапогах старых. Соседка меня сразу узнала, но молчит. А сын сидит, босый, оборванный.

— Как тебя зовут, мальчик? — спрашиваю.

— Лёня...

— А с кем ты живешь?

— Жил раньше с бабушкой. Когда она умерла, я ее похоронил. Я приходил к ней каждый день и просил, чтобы она забрала меня в могилку. Я боялся один спать...

— А где твои папа с мамой?

— Папа живой, он на фронте. А маму убили фашисты. Так бабушка говорила...

Со мной было двое партизан, они хоронили своих товарищей. И они слушают, как он мне отвечает, и плачут.

Тут я не выдержала:

— Почему же ты свою маму не узнаешь?

Он кинулся ко мне:

— Папа! — Я в мужской одежде, в шапке. А потом обнял с криком: — Мама!!!

Это был такой крик. Такая истерика... Он месяц меня никуда не отпускал, даже на работу. Я брала его с собой. Ему мало было видеть меня, что я рядом, он должен был за меня держаться. Вот мы сядем обедать, он одной рукой держится за меня, а другой ест. Звал только: “Мамочка”. И сейчас так зовет... Мамочка... Мамуленька...

Когда мы встретились с мужем, недели не хватило, чтобы все рассказать. Я ему и день, и ночь рассказывала...»

*Раиса Григорьевна Хосеневич,
партизанка*

«Война — это все время похороны... Хоронить партизан приходилось часто. То на засаду наткнется группа, то в бою погибнут. Я вам расскажу про одни похороны...

Был очень тяжелый бой. В том бою мы потеряли много людей, в том бою и я была ранена. И вот после боя похороны. Обычно над могилой говорили короткие речи. Сначала выступали командиры, потом друзья. А тут среди погибших был один местный парень, и на похороны пришла его мать. Стала она оплакивать: “А мой же ты сыночек! А мы ж тебе хатачку будавали! А ты ж обещал, что нам молодую приведешь! А ты же венчаешься с земелькой...”

Строй стоит, все молчат, ее не трогают. Потом она подняла голову и увидела, что убит не только ее сын,

а много молодых лежит, и она по тем, чужим сыновьям стала плакать: “А мои ж вы сыночки родные! А ваши же мамочки не видят вас, они не знают, что вас в земельку кладут! А земелька такая холодная. А на дворе зима лютая. Так поплачу я вместо них, всех вас пожалею. Мои вы родные... Родненькие...”.

Она только сказала: “всех вас пожалею” и “мои вы родные” — все мужчины в голос начали плакать. Никто сдержаться не мог, не имел сил. Строй рыдает. И тогда командир крикнул: “Салют!”. И салют все заглушил.

И вот меня поразило, я и теперь об этом думаю, величие сердца матери. В таком великом горе, когда хоронят ее сына, у нее хватило сердца, чтобы оплакать и других сыновей... Оплакать, как родных...»

*Лариса Леонтьевна Короткая,
партизанка*

«Вернулась я в свою деревню...

Играют возле нашего дома дети. Я смотрю и думаю: “Которое же мое?”. Все одинаковые. И стриженные, как раньше овец стригли — рядами. Свою дочь я не узнала, спросила, кто из них Люся. И смотрю, один из малышей в длинной рубашке подхватился и побежал к дому. Трудно было разобрать, кто девочка, а кто мальчик, так они были все одеты. Я снова спрашиваю:

— Так кто же из вас Люся?

Они показывают пальцем, что, мол, побежала. И я поняла, что это была моя дочь.

Через какую-то минуту ведет ее за руку бабушка, это уже моей матери мать. Она ведет ее мне навстречу:

— Идем, идем. Мы сейчас этой маме дадим за то, что она нас бросила.

Была я в мужской военной одежде, в пилотке и на лошади, а маму дочка, конечно, представляла, как бабушку, как других женщин. А тут приехал солдат. Долго она ко мне не шла на руки, пугалась. И тут обижайся

не обижайся, а я же ее не растила, она росла с бабушками.

В подарок я привезла с собой мыла. Это был по тем временам шикарный подарок, и когда начала ее мыть, она кусала его зубами. Хотела его попробовать и съесть. Так они жили. Мать свою я помнила молодой женщиной, а встретила меня старушка. Ей сказали, что дочка приехала, она выскочила из огорода на улицу. Увидела меня, руки распростерла и бежит. И я ее узнала, бегу к ней. Она не добежала до меня несколько шагов, упала без сил. Я рядом упала. Целую мать. Целую землю. И такая в сердце любовь, и такая ненависть.

Я помню, как лежит раненый немец и руками хватается за землю, ему больно, а наш солдат подошел к нему: “Не трогай, это моя земля! Твоя там, откуда ты пришел...”»

*Мария Васильевна Павловец,
партизанский врач*

«Я ушла на войну вслед за мужем...

Дочь свою я оставила у свекрови, но та скоро умерла. У мужа была сестра, и она взяла девочку. А после войны, когда я демобилизовалась, она не хотела мне отдавать моего ребенка. Говорила что-то вроде того, что у тебя не может быть дочери, раз ты бросила ее маленькую и пошла воевать. Как это мать может бросить своего ребенка, да еще такого беспомощного? Я вернулась с войны, моей дочери уже было семь лет, а я ее оставила в три года. Меня встретила взрослая девочка. Маленькая, она недоедала, недосыпала, рядом был госпиталь, она ходила туда, выступала, плясала, ей давали хлеба. Она мне потом рассказала... Ждала сначала папу и маму, а потом — одну маму. Папа погиб... Она понимала...

Я часто дочку вспоминала на фронте, я ее ни на минуту не забывала, она мне снилась. Очень тосковала. Плакала, что не я ей сказки на ночь читаю, она засыпает и встает без меня... Кто-то ей косички заплетает...

И я не обиделась на золотку. Понимала... Она очень любила брата, он был сильный, красивый, нельзя было поверить, что такого могут убить. А погиб сходу, в первые месяцы войны... Их самолеты разбомбили утром на земле. Первые месяцы и даже, наверное, весь первый год войны — хозяевами в небе были немецкие летчики. И он погиб... Ей не хотелось отдавать то, что от него осталось. Последнее. И она была из тех женщин, для которых семья, дети — самое главное в жизни. Бомбежка, обстрел, а у нее одна мысль: как это ребенка сегодня не купали? Я не могу ее осуждать...

Она говорила, что я жестокая... Без женской души... А мы ведь на войне очень страдали... Без семьи, без дома, без детей... У многих дети остались дома, не только у меня. Сидим под парашютом, ждем задания. Мужчины курят, играют в домино, а мы, пока ракеты нет для вылета, сидим, вышиваем платочки. Мы оставались женщинами. Знаете, вот мой штурман. Она хотела фотографию домой послать, так мы ей — у кого-то нашелся платок — повязали тот платок, чтобы погон не было видно, закрыли гимнастерку одеялом. И она как будто в платье... И вот так сфотографировалась. Это была у нее любимая фотография...

*С дочерью мы подружились... Дружим всю жизнь...»
Антонина Григорьевна Бондарева,
гвардии лейтенант, старший летчик*

О Красной Шапочке и о радости встретить на войне кошку

«Я долго к войне привыкала...

Пошли в наступление. И когда у раненого пошла артериальная кровь — раньше я такого не видела — бьет фонтаном — я бросилась за врачом. А сам раненый кричит: “Куда? Ты куда? Перевязывай ремнем!”. И только тогда я пришла в чувство...

О чем жалею? Одного мальчика... Семилетний хлопчик без мамки остался. Мамку убили. Мальчик сидел на дороге возле мертвой матери. Он не понимал, что ее уже нет, он ждал, когда она проснется, и просил есть...

Командир наш не отпустил этого мальчика, взял к себе: "У тебя нет мамы, сынок, но будет много пап". Так он с нами и рос. Как сын полка. С семи лет. Набивал патроны к диску автомата ППШ.

Вот вы уйдете, а мой муж будет ругаться. Он не любит таких разговоров. Войну не любит. Но он на войне не был, молодой, моложе меня. У нас детей нет. Я все вспоминаю того хлопчика. Мог бы быть мой сын...

Мне после войны всех было жалко. И человека... И петуха, и собаку... Я и сейчас не могу чужой боли переносить. Работала в больнице, больные меня любили, что ласковая. У нас сад большой. Ни одного яблока ни разу не продала, ни одной ягодки. Так раздам — раздам людям... С войны это у меня и осталось... Такое сердце...»

*Любовь Захаровна Новик,
медсестра*

«Тогда я не плакала...

Я боялась одного... Схватят товарищей — несколько дней невыносимого ожидания: выдержат пытки или нет? Если не выдержат, начнутся новые аресты. Через какое-то время становится известно, что их будут казнить. Дают задание: идти посмотреть, кого сегодня будут вешать. Идешь по улице, видишь: уже готовят веревку... Плакать нельзя, задержаться лишнюю секунду нельзя, потому что везде шпики. И сколько надо было, нехорошее тут слово — мужества, сколько надо сил душевных, чтобы молчать. Без слез пройти мимо.

Тогда я не плакала...

Я знала, на что иду, но поняла, почувствовала все, когда меня арестовали. Забрали в тюрьму. Били и сапогами, и плетками. Узнала, что такое фашистский

“маникюр”. Руки твои кладут на стол, и какая-то такая машинка втыкает тебе под ногти иголки... Одно-моментно под каждый ноготь... Адская боль! Сразу теряешь сознание. Даже не помню, знаю, что боль страшная, а не помню. Меня растягивали на бревнах. Может, это не точно, может, неправильно. Но я помню вот что: тут такое бревно и тут, а тебя между ними кладут... И какая-то машинка начинает работать... И ты слышишь, как у тебя хрустят-выворачиваются кости... Долго ли это? Тоже не помню... Меня пытали на электрическом стуле... Это когда я плюнула одному из палачей в лицо... Молодой, старый — ничего не помню. Они раздели меня догола, и этот подошел и взял меня за грудь... Я могла только плюнуть... Я больше ничего не могла. И я плюнула ему в лицо. Они посадили меня на электрический стул...

Я с тех пор очень плохо переношу электричество. Помню, что вот тебя начинает бросать... И теперь даже белье гладить не могу... На всю жизнь это у меня — начинаю гладить, и по всему телу чувствую ток. Ничего делать не могу, что связано с электричеством. Может, нужна была какая-то психотерапия после войны? Не знаю. Но уже прожила жизнь так...

Не знаю, чего это я сегодня расплакалась. Тогда я не плакала...

Приговорили меня к смертной казни через повешение. Поместили в камеру смертников. Там были еще две женщины. Знаете, мы не плакали, не впадали в панику: мы ведь знали, идя в подполье, что нас ждет, и поэтому держались спокойно. Говорили о поэзии, вспоминали любимые оперы... Много говорили об Анне Карениной... О любви... Мы даже не вспоминали о своих детях, мы о них боялись вспоминать. Даже улыбались, друг друга подбадривали. Так мы провели двое с половиной суток... Утром на третьи сутки меня вызвали. Мы попрощались, расцеловались без слез. Страх не было: по-видимому, я настолько привыкла к мысли о смерти,

что страх уже исчез. И слезы тоже. Какая-то пустота была. Уже ни о ком не думалось...

Долго мы ехали, я даже не помню сколько, ведь я прощалась с жизнью... Но машина остановилась, и мы, нас было человек двадцать, не могли слезть с машины, настолько были истерзаны. Нас, как мешки, сбросили на землю, и комендант приказал ползти к баракам. Подгонял плеткой... Стоит возле одного барака женщина и кормит грудью ребенка. И как-то знаете... И собаки здесь, и охрана, все остолбенели, стоят и не трогают. Комендант увидел эту картину... Подскочил. Выхватил из рук матери ребенка... И, знаете, там была колонка, колонка — воду качать, так он ребенка бьет об это железо. Мозги потекли... Молоко... И я вижу: мать падает, я понимаю, я ведь врач... Я понимаю, что у нее разорвалось сердце...

...Нас ведут на работу. Ведут по городу, по знакомым улицам. Только стали спускаться, в одном месте был большой подъем, и вдруг я услышала голос: "Мама, мамочка!". И вижу: стоит моя тетя Даша, а с тротуара бежит моя дочка. Они случайно шли по улице и увидели меня. Дочка как бежала, так сразу бросилась мне на шею. И вы вообразите, там собаки, они специально выучены бросаться на людей, но ни одна собака не двинулась с места. Подойдешь, она же разрывает, они для этого выдрессированы, а тут ни одна не тронулась с места. Дочка бросилась ко мне, я не плакала, только говорила: "Доченька! Наташенька, не плачь. Я скоро буду дома". И охрана стояла, и собаки. И никто ее не тронул...

И тогда я не плакала...

Моя дочь в пять лет читала молитвы, а не стихи. Тетя Даша учила, как надо молиться. Она молилась за папу и маму, чтобы мы остались живы.

В сорок четвертом, тринадцатого февраля, меня отправили на фашистскую каторгу... Попала в концлагерь Кроазет на берегу Ла-Манша.

Весной... В день Парижской Коммуны французы устроили нам побег. Я ушла в "маки".

Награждена французским орденом “Боевой крест”...

После Победы возвращаюсь домой... Я помню... Первая остановка на нашей земле... Мы все выскочили из вагонов, мы целовали землю, обнимали... Помню: я была в белом халате, упала на землю, целую ее, и за пазуху горстями кладу. Неужели, думаю, я еще когда-нибудь с ней расстанусь, с такой родной...

Приехала в Минск, а мужа дома нет. Дочь у тети Даши. Мужа арестовало энкаведе, он — в тюрьме. Я иду туда... И что я там слышу... Мне говорят: “Ваш муж — предатель”. А мы вместе с мужем работали в подполье. Вдвоем. Это мужественный, честный человек. Я понимаю, что на него донос... Клевета... “Нет, — говорю, — мой муж не может быть предателем. Я верю ему. Он — настоящий коммунист”. Его следователь... Он как заорет на меня: “Молчать, французская проститутка! Молчать!”. Жил в оккупации, попал в плен, увезли в Германию, сидел в фашистском концлагере — ко всем было подозрение. Один вопрос: как живой остался? Почему не погиб? Даже мертвые были под подозрением... И они тоже... И во внимание не брали, что мы боролись, всем жертвовали ради победы. Победили... Народ победил! А Сталин все равно народу не доверял. Вот так нас отблагодарила родина. За нашу любовь, за нашу кровь...

Я ходила... Писала во все инстанции. Мужа освободили через полгода. Ему сломали одно ребро, отбили почку... Фашисты, когда он попал к ним в тюрьму, разбили ему голову, сломали руку, он там посидел, а в сорок пятом в энкаведе его окончательно сделали инвалидом. Я выхаживала его годами, вытаскивала из болезней. Но я ничего не могла сказать против, он слушать не хотел... “Это была ошибка”, — и все. Главное, считал он, мы победили. Все — точка. И я ему верила.

Не плакала. Тогда я не плакала...»

*Людмила Михайловна Кашечкина,
подпольщица*

«Как объяснить ребенку? Как ему объяснить смерть...

Я иду с сыном по улице, а лежат убитые — и по одну сторону и по другую. Я ему по Красную Шапочку рассказываю, а кругом убитые. Это когда мы из беженцев возвращались. Приходим к матери, и с ним неладно: залазит под кровать и сидит там целыми днями. Пять лет ему было, на улицу его не выгнать...

Год я с ним мучилась. Никак не могла добиться: в чем же дело? А мы жили в подвале — когда кто идет по улице, то видны только сапоги. И вот он как-то вылез из-под кровати, увидел чьи-то сапоги в окне и как закричит... Потом я вспомнила, что фашист ударил его сапогом...

Ну, как-то это у него прошло. Играет во дворе с детьми, придет вечером домой и спрашивает:

— Мама, что такое — папа?

Я ему объясняю:

— Он беленький, красивый, он воюет в армии.

А когда Минск освобождали, то первыми в город ворвались танки. И вот мой сын прибегает в дом с плачем:

— Моего папы нет! Там все черные, нет белых...

Это был июль, танкисты все молодые, загорелые.

Муж пришел с войны инвалидом. Пришел не молодой, а старый, и у меня беда: сын привык думать, что отец — беленький, красивый, а пришел больной старый человек. И сын долго не признавал его за отца. Не знал, как называть. Мне пришлось их приучать друг к другу.

Муж приходит поздно с работы, я его встречаю:

— Что же ты так поздно? Дима волновался: “Где мой папка?”

Он ведь тоже за шесть лет войны (он был еще на японской) отвык от сына. От дома.

А когда что-нибудь куплю, сыну говорю:

— Это папка купил, он о тебе заботится...

Скоро они подружились...»

*Надежда Викентьевна Хатченко,
подпольщица*

«Моя биография...

С двадцать девятого года я работала на железной дороге. Помощником машиниста. В то время женщин-машинистов не было нигде в Советском Союзе. А я мечтала. Начальник паровозного депо руками разводил: «От, девчонка, обязательно ей нужна мужская профессия». А я добивалась. И в тридцать первом году стала первой... Я была первая женщина-машинист. Вы не поверите, когда я ехала на паровозе, на станциях собирались люди: «Девочка ведет паровоз».

У нас паровоз стоял как раз на продувке, то есть в ремонте. Мы с мужем ездили по очереди, потому что у нас уже был ребенок, и мы устроились так: если он поехал — я с ребенком, я поехала — он дома сидит. Как раз в тот день муж вернулся, а я должна была ехать. Утром проснулась, слышу: что-то ненормальное на улице, шумно. Включила приемник: «Война!».

Я к мужу:

— Леня, вставай! Война! Вставай, война!

Он побежал в депо, приходит весь в слезах:

— Война! Война! Ты знаешь, что такое — война?

Как быть? Куда девать ребенка?

Эвакуировали меня с сыном в Ульяновск, в тыл. Дали двухкомнатную квартиру, квартира была хорошая, у меня такой и сейчас нет. Сына определили в детский садик. Все хорошо. Любили все меня. Как же! Женщина-машинист, да еще первая... Вы не поверите, пожила я там немного, полгода не пожила. И больше не могу: как же, все защищают Родину, а я дома сижу!

Приехал муж:

— Что, Маруся, будешь в тылу сидеть?

— Нет, — говорю, — поедем.

В это время организовывалась колонна особого резерва для обслуживания фронта. Мы с мужем попросились туда. Муж был старшим машинистом, а я машинистом. Четыре года в теплушке ездили, и сын вместе с нами. Он у меня за всю войну даже кошку не видел.

Когда поймал под Киевом кошку, наш состав страшно бомбили, налетело пять самолетов, а он обнял ее: “Кисонька милая, как я рад, что я тебя увидел. Я не вижу никого, ну посиди со мной. Дай я тебя поцелую”. Ребенок... У ребенка все должно быть детское... Он засыпал со словами: “Мамочка, у нас есть кошка. У нас теперь настоящий дом”. Такое не сочинишь, не придумаешь... Ты не пропусти... Обязательно запиши про кошку...

Нас всегда бомбили, обстреливали из пулеметов. И стреляют-то по паровозу, им главное — убить машиниста, уничтожить паровоз. Самолеты опускались низко и били по теплушке и по паровозу, а в теплушке мой сын сидит. Я больше всего боялась за сына. Не описать... Когда бомбили, брала его из теплушки с собой на паровоз. Схвачу его, прижму к сердцу: “Пусть убьет одним осколком”. Но разве так убьет! Поэтому, видно, и живы остались. И это ты запиши...

Паровоз — моя жизнь, моя молодость, мое самое красивое в жизни. Я бы и сейчас хотела водить поезда, но меня не пускают — старая...

Как страшно иметь одного ребенка. Как глупо... Вот мы сейчас живем... Я живу с семьей сына. Он — врач, заведующий отделением. У нас небольшая квартира. Но я никуда не уезжаю в отпуск, никогда путевок не беру... Не описать... Я не хочу расставаться с сыном, с внуками. Мне на один день страшно с ними расстаться. И сын у меня никуда не ездит. Скоро двадцать пять лет, как он работает, и ни разу никуда не ездил по путевке. На работе все удивлены, что он ни разу не попросил путевки. “Мамочка, я лучше побуду с тобой”, — вот что он говорит. И невестка у меня такая. Не описать... Мы дачи не имеем только из-за того, что не можем расстаться даже на несколько дней. Я не могу жить без них ни минуты.

Кто был на войне, тот знает, что это такое — расстаться на день. На один всего день...»

*Мария Александровна Арестова,
машинист*

О молчании тех, кто уже может говорить

«Я и сейчас говорю шепотом... Про...Это... Шепотом. Через сорок с лишним лет...

Войну забыла... Потому что и после войны я жила в страхе. Я жила в аду.

Уже — Победа, уже — радость. Мы уже кирпичи собирали, железо, начали чистить город. Работали днем, работали ночью, я не помню, когда мы спали и что мы ели. Работали и работали.

Сентябрь... Сентябрь был теплый, я помню много солнца. Помню фрукты. Много фруктов. На базаре ведрами продавали антоновку. И этот день... Я развешивала белье на балконе... Запомнила все до мелочей, потому что с этого дня в моей жизни все изменилось. Все треснуло. Перевернулось. Развешиваю белье... Белое постельное белье — оно всегда у меня было белое. Мама научила, как песком вместо мыла стирать. За песком ходили к речке, я там место одно знала. И вот... Белье... Соседка снизу зовет, кричит не своим голосом: “Валя! Валя!”. Я скорее — вниз, первая мысль: а где сын? А тогда, знаете, мальчишки бегали среди развалин, играли в войну и находили настоящие гранаты, настоящие мины. Подрывались... Оставались без рук, без ног... Я помню, как мы не отпускали их от себя, а это — мальчишки, им интересно. Накричишь: сиди дома — а через пять минут его уже нет. Их тянуло к оружию... После войны особенно... Я — скорее вниз. Спускаюсь во двор, а во дворе мой муж... Мой Иван... Муженек мой любимый... Ванечка! Вернулся... Вернулся с фронта! Живой! Я его целую, я его трогаю. Глажу гимнастерку, руки его. Вернулся... У меня ноги подкашиваются... А он... Стоит как каменный, ну, картонный стоит. Не улыбнется, не обнимет меня. Замороженный какой-то. Я испугалась: наверное, думаю, контуженный. Может, глухой. Ну ничего, главное — вернулся. Выхожу его, вынянчу. Уже насмотрелась,

как другие женщины живут с такими мужьями, но им все равно все завидовали. Все это мигом в моей голове пронеслось, в одну секунду. Ноги у меня от счастья подкашиваются. Дрожат. Живой! Ах, миленькая моя, наша женская доля...

Соседи тут же собрались. Все рады, все обнимаются. А он — каменный. Молчит. Все заметили.

Я:

— Ваня... Ванечка...

— Пойдем в дом.

Хорошо, пойдем. На его плече повисла... Счастливая! Вся я в радости и в счастье. Гордая! Сел он дома на табуретку и молчит.

— Ваня... Ванечка...

— Понимаешь... — и не может говорить. Заплакал.

— Ваня...

У нас была одна ночь. Всего одна ночь.

На следующий день за ним пришли, постучали в дверь утром. Он курил и ждал, уже знал, что придут. Мне рассказывал мало... Не успел... Прошел он Румынию, Чехию, награды привез, а возвращался в страхе. Его уже допрашивали, уже было две госпроверки. Поставили клеймо — находился в плену. В первые недели войны... Под Смоленском попал в плен, а обязан был застрелиться. Он хотел, я знаю, он хотел... У них патроны быстро кончились, не то что воевать, застрелиться было нечем. Его ранило в ногу, он раненый попал в плен. На его глазах комиссар разбил себе голову камнем... Последний патрон дал осечку... На его глазах... Советский офицер в плен не сдается, у нас нет пленных, у нас есть предатели. Так говорил товарищ Сталин, он от родного сына отказался, который был в плену. Мой муж... Мой... Следователи ему кричали: "Почему живой? Почему живой остался?". Из плена он бежал... Бежал в лес к украинским партизанам, когда освободили Украину, попросился на фронт. В Чехии встретил день Победы. Представили к награде...

У нас была одна ночь... Если бы я знала... Я еще хотела родить, девочку хотела...

Утром его увели... Подняли с постели... Я села за стол на кухне и ждала, когда проснется наш сын. Сыну исполнилось одиннадцать лет. Я знала, что он проснется и спросит, первое, о чем он спросит: "Где наш папка?". Что я ему отвечу? Как объяснить соседям? Маме?

Муж вернулся через семь лет... Мы ждали его с сыном четыре года с войны, а после Победы еще семь лет с Колымы. Из лагеря. Одиннадцать лет ждали. Сын вырос...

Научилась молчать... Где ваш муж? Кто твой отец? В любой анкете вопрос: был ли кто-нибудь из родственников в плену? Меня в школу техничкой не взяли, когда я написала, полы не доверили мыть. Я стала врагом народа, женой врага народа. Предателя. Вся моя жизнь даром... Была до войны учительница, педучилище окончила, а после войны кирпичи на стройке таскала. Эх, моя жизнь... Простите, что несвязно, сбивчиво у меня получается. Я тороплюсь... Я, бывало, ночью... Сколько ночей я лежала одна и кому-то свою жизнь рассказывала и рассказывала. А днем молчала.

Сейчас можно обо всем говорить. Я хочу... Спросить: кто виноват, что в первые месяцы войны миллионы солдат и офицеров попали в плен? Я хочу узнать... Кто обезглавил армию перед войной, расстреляв и оклеветав — немецкий шпион, японский шпион — красных командиров? Я хочу... Кто верил в конницу Буденного в то время, когда Гитлер вооружался танками и самолетами? Кто нас уверял: "Наша граница на замке...". А в первые дни армия уже считала патроны...

Я хочу... Могу уже спросить... Где моя жизнь? Наша жизнь? Но я молчу, и мой муж молчит. Нам и сегодня страшно. Мы боимся... Так и умрем в страхе. Горько и стыдно...»

*Валентина Евдокимовна М-ва,
партизанская связная*

«И ОНА ПРИКЛАДЫВАЕТ РУКУ ТУДА,



ГДЕ СЕРДЦЕ...»



И наконец — Победа...

Если раньше жизнь была разделена для них на мир и войну, то теперь — на войну и Победу.

Снова — два разных мира, две разные жизни. После того, как научились ненавидеть, надо было снова научиться любить. Вспомнить забытые чувства. Забытые слова.

Человек войны должен был стать человеком не войны...

О последних днях войны, когда убивать противно

«Мы были счастливые...

Перешли границу — родина освобождена. Наша земля... Я не узнавала солдат, это были другие люди. Все улыбались. Надели чистые рубахи. Откуда-то цветы в руках, таких счастливых людей я не знала. Раньше не видела. Я думала, что когда мы войдем в Германию, то у меня жалости к ним не будет, ни к кому пощады не будет. Столько ненависти скопилось в груди! Обиды! Почему я должна пожалеть его ребенка? Почему я должна пожалеть его мать? Почему я должна не разрушить его дом? Он не жалел... Он убивал... Жег... А я? Я... я... я...

Почему? Почему-у? Хотелось увидеть их жен, их матерей, родивших таких сыновей. Как они будут смотреть нам в глаза? Я хотела посмотреть им в глаза...

Я думала: что же будет со мной? С нашими солдатами? Мы все помним... Как мы это выдержим? Какие нужны силы, чтобы это выдержать? Пришли в какой-то поселок, дети бегают — голодные, несчастные. Боятся нас... Прячутся... Я, которая клялась, что их всех ненавижу... Я собирала у своих солдат все, что у них есть, что оставалось от пайка, любой кусочек сахара, и отдавала немецким детям. Разумеется, я не забыла... Я все помнила... Но смотреть спокойно в голодные детские глаза я не могла. Ранним утром уже стояла очередь немецких детей около наших кухонь, давали первое и второе. У каждого ребенка через плечо перекинута сумка для хлеба, на поясе бидончик для супа и что-нибудь для второго — каши, гороха. Мы их кормили, лечили. Даже гладили... Я первый раз погладила... Испугалась... Я... Я! Глазу немецкого ребенка... У меня пересохло во рту от волнения. Но скоро привыкла. И они привыкли...»

*Софья Адамовна Кунцевич,
санинструктор*

«Дошла до Германии... От Москвы шла...

Я была старшим фельдшером в танковом полку. У нас “тридцатьчетверки”, они быстро горели. Очень страшно. Я до войны не слышала даже выстрела из винтовки. Где-то один раз далеко-далеко бомбили, когда мы ехали на фронт, так мне казалось: вся земля дрожит. Семнадцать лет было, только техникум окончила. И так получилось, что я приехала и сразу в бой.

Вылезла из танка... Пожар... Небо горит... Земля горит... Железо горит... Здесь мертвые, а там кричат: “Спасите... Помогите”... Такой на меня ужас напал! Я не знаю, как я не побежала. Как я не удрала с поля боя? Это же так страшно, что слов таких нет, только чув-

ства. Я раньше не выдерживала, а сейчас уже смотрю фильмы о войне, но все равно плачу.

Дошла до Германии...

Первое, что увидела на немецкой земле — самодельный плакат у самой дороги: “Вот она — проклятая Германия!”.

Мы вошли в поселок... Ставни у всех закрыты. Они все бросали и удирали на велосипедах. Геббельс их убедил, что русские придут, будут рубить, колоть, резать. Откроешь дверь в дом: никого нет или все лежат убитые, отравленные. Дети лежат. Они стрелялись, травились... Что мы чувствовали? Радость, что мы победили и им теперь больно, как и нам. Чувство отмщения. А детей было жалко...

Нашли одну старуху.

Я ей говорю:

— Мы победили.

Она заплакала:

— У меня два сына в России погибло.

— А кто виноват? Сколько у нас погибло!

Она отвечает:

— Гитлер...

— Гитлер сам не решал. Это же ваши дети, мужья...

Она тогда молчит.

Дошла до Германии...

Хотела маме рассказать... А моя мать умерла в войну от голода, у них ни хлеба, ни соли, ничего не было. А брат лежал в госпитале тяжело раненый. Одна сестра дома ждала меня. Она писала, что, когда вошли наши войска в Орел, она всех военных девушек за шинель хватала. Ей казалось, что я обязательно буду там. Я должна вернуться...»

*Нина Петровна Сакова,
лейтенант, фельдшер*

«Дороги Победы...

Вы представить себе не можете дорог Победы! Шли освобожденные узники — с тележками, с узлами, с национальными флагами. Русские, поляки, французы, чехи... Все перемешались, каждый шел в свою сторону. Все обнимали нас. Целовали.

Встретили русских девушек. Я заговорила с ними, и они рассказали... Одна из них была беременная. Самая красивая. Ее изнасиловал хозяин, у которого они работали. Заставил с ним жить. Она шла и плакала, била себя по животу: «Ну, фрица я домой не повезу! Не понесу!». Они ее уговаривали... Но она повесилась... Вместе со своим маленьким фрицем...

Вот тогда надо было слушать — слушать и записывать. Жаль, что никому в голову тогда не пришло нас выслушать, все повторяли слово «Победа», а остальное казалось неважным.

Мы с подругой ехали однажды на велосипедах. Идет немка, по-моему, трое детей у нее — двое в коляске, один рядом с ней, за юбку держится. Она такая измученная. И вот, вы понимаете, она поравнялась с нами — стала на колени и кланяется. Вот так... До земли... Мы не поймем, что она говорит. А она прикладывает руку туда, где сердце, и на детей показывает. В общем, мы поняли, она плачет, кланяется и благодарит нас за то, что ее дети остались живы...

Это же была жена чья-то. Ее муж, наверное, воевал на восточном фронте... В России...»

*Анастасия Васильевна Воропаева,
ефрейтор, прожектористка*

«У нас один офицер влюбился в немецкую девушку...

Дошло до начальства... Его разжаловали и отправили в тыл. Если бы изнасиловал... Это... Конечно, было... У нас мало пишут, но это — закон войны. Мужчины столько лет без женщин обходились, и конечно, ненависть. Войдем в городок или деревню — первые

три дня на грабеж и... Ну негласно, разумеется... Сами понимаете... А через три дня уже можно было и под трибунал попасть. Под горячую руку. А три дня пили и... А тут — любовь. Офицер сам признался в особом отделе — любовь. Конечно, это — предательство... Влюбиться в немку — в дочь или жену врага? Это... И... Ну, короче, забрали у него фотографии, ее адрес. Конечно...

Я помню... Конечно, я помню изнасилованную немку. Она лежала голая, граната засунута между ног... Сейчас стыдно, а тогда я стыд не чувствовала. Чувства, конечно, менялись. Одно мы чувствовали в первые дни, а второе — потом... Через несколько месяцев... К нам в батальон... К нашему командиру пришли пять немецких девушек. Они плакали... Гинеколог осмотрел: у них там — раны. Раны рваные. Все трусы в крови... Их всю ночь насиловали. Солдаты стояли в очереди...

Не записывайте... Выключите магнитофон... Правда! Все — правда! Построили наш батальон... Этим немецким девушкам сказали: идите и ищите, если когонибудь узнаете — расстреляем на месте. Не посмотрим на звание. Нам стыдно! Но они сидели и плакали. Они не хотели... Они не хотели больше крови. Так и сказали... Тогда им каждой дали по буханке хлеба. Конечно, все это война... Конечно...

Думаете, легко было простить? Видеть целые... белые... домики под черепичной крышей. С розами... Я сама хотела, чтобы им было больно... Конечно... Хотела видеть их слезы... Стать хорошей сразу нельзя. Правильной и доброй. Такой хорошей, как вы сейчас. Жалеть их. Для этого мне нужно было, чтобы десятки лет прошло...»

А. Раткина,

младший сержант, телефонистка

«Родная земля освобождена... Умирать стало совсем невыносимо, хоронить стало совсем невыносимо. Умира-

ли за чужую землю, хоронили в чужой земле. Нам объясняли, что врага надо добить. Враг еще опасен... Все понимали... А умирать так жалко... Уже никому не хочется...

Я запомнила много плакатов вдоль дорог, они были похожи на кресты: “Вот она — проклятая Германия!”. Этот плакат запомнили все...

И все ждали этого момента... Вот сейчас мы пойдем... Мы увидим... Откуда они? Какая у них земля, какие дома? Неужели это обыкновенные люди? И они жили обыкновенной жизнью? На фронте я не представляла себе, что смогу снова читать стихи Гейне. Своего любимого Гете. Я уже не могла бы слушать Вагнера... До войны, а я выросла в семье музыкантов, я любила немецкую музыку — Баха, Бетховена. Великого Баха! Все это я вычеркнула из своего мира. Потом мы видели, нам показали крематории... Лагерь Освенцим... Горы женской одежды, детских башмачков... Серая зола... Ее на поля вывозили, под капусту. Под салаты... Я не могла больше слушать немецкую музыку... Много времени утекло, пока я вернулась к Баху. Стала играть Моцарта.

Наконец мы на их земле... Первое, что нас удивило — хорошие дороги. Большие крестьянские дома... Горшки с цветами, нарядные занавески на окошках даже в сараях. В домах белые скатерти. Дорогая посуда. Фарфор. Я там в первый раз увидела стиральную машину... Мы не могли понять: зачем им было воевать, если они так хорошо жили? У нас люди в землянках ютятся, а у них белые скатерти. Кофе в маленьких чашечках... А я в музее их только видела. Эти чашечки... Я забыла рассказать об одном потрясении, всех нас потрясло... Мы пошли в наступление, и вот первые немецкие окопы, которые мы захватили... Вскакиваем туда, а там в термосах еще горячий кофе. Запах кофе... Галеты. Белые простыни. Чистые полотенца. Туалетная бумага... У нас этого всего не было. Какие простыни? Спали мы

на соломе, на ветках. Другой раз по два-три дня жили без горячего. И наши солдаты расстреливали эти термосы... Этот кофе...

А в немецких домах я видела расстрелянные кофейные сервизы. Горшки с цветами. Подушки... Детские коляски... Но все равно мы не способны были сделать им то, что они нам сделали. Заставить их страдать так, как мы страдали.

Нам трудно было понять, откуда их ненависть? Наша понятна. А их?

Разрешили посылать домой посылки. Мыло, сахар... Кто-то обувь посылал, у немцев прочная обувь, часы, кожаные вещи. Все искали часы. Я не могла, у меня было отвращение. Я ничего не хотела у них брать, хотя я знала, что мама с моими сестричками живут в чужом доме. Наш сожгли. Когда вернулась домой, рассказала маме, она обняла меня: «Я тоже ничего не могла бы у них взять. Они убили нашего папу».

Томик Гейне я взяла в руки через десятки лет после войны. И пластинки с немецкими композиторами, которые любила до войны...»

*Аглая Борисовна Нестерук,
сержант, связистка*

«Это уже в Берлине... У меня был такой случай: иду по улице, а навстречу мне выскакивает мальчишка с автоматом — фольксштурм, уже конец войны. Последние дни. У меня рука на автомате. Наготове. Он на меня посмотрел, заморгал и заплакал. И я не верю себе — и у меня слезы. Мне так его жалко стало, стоит пацан с этим автоматом дурацким. И я его пихаю к разрушенному зданию в подворотню: мол, прячься. А он испугался, что я его пристрелю сейчас — у меня шапка на голове, не видно, девчонка или парень. За руку меня хватает. Ревет! Я погладила его по голове. Он онемел. Война — все-таки... Да, я сама онемела! Я же их всю войну ненавидела! Справедливо-несправедливо, а все

равно противно убивать, особенно в последние дни войны...»

*Альбина Александровна Гантимурова,
старший сержант, разведчица.*

«Жалею... Я не выполнила одну просьбу...

Привезли в наш госпиталь одного немецкого раненого. Мне кажется, это был летчик. У него было перебито бедро, и началась гангрена. Какая-то взяла меня жалость. Лежит и молчит.

Я немного немецкий язык понимала. Спрашиваю его:

— Пить дать?

— Нет.

Раненые знали, что в палате немецкий раненый. Он отдельно лежал. Я иду, они возмущаются:

— Так вы врагу воду несете?

— Он умирает... Я должна ему помочь...

Нога вся у него синяя, ничего уже нельзя сделать. Заражение моментально сжирает человека, человек сгорает за сутки.

Даю я ему воду, а он на меня смотрит и вдруг говорит:

— Гитлер капут!

А это сорок второй год. Мы под Харьковом в окружении.

Я спрашиваю:

— Почему?

— Гитлер капут!

Тогда я ему в ответ:

— Это ты так думаешь и говоришь сейчас, потому что ты здесь лежишь. А там вы убиваете...

Он:

— Я не стрелял, я не убивал. Меня заставили. Но я не стрелял...

— Все так оправдываются, когда в плен попадают.

И вдруг он меня просит:

— Я очень... очень... прошу фрау... — и дает мне пакет фотографий. Показывает, что вот его мама, он, его братья, сестры... Красивая такая фотография. На обратной стороне он пишет адрес: — Вы будете там. Будете! — И это говорил немец в сорок втором году под Харьковом. — Так вы бросьте, пожалуйста, это в почтовый ящик.

Он написал адрес на одной фотографии, а там был полный конверт. И я эти фотографии долго с собой возила. Переживала, когда при сильной бомбежке я их потеряла. Конверт пропал, когда мы уже вошли в Германию...»

*Лилия Михайловна Бутко,
хирургическая медсестра*

«Помню бой...

В том бою мы захватили очень много немецких пленных. Были среди них раненые. Мы перевязывали их, они стонали, как наши ребята. А жара... Жарища! Нашли чайник, дали попить. Место открытое. Нас обстреливают. Приказ: срочно окопаться, сделать маскировку.

Мы стали копать окопы. Немцы смотрят. Им объяснили: мол, помогите копать, давайте работать. Они, когда поняли, что мы от них хотим, с ужасом на нас оглядывались, они так поняли, что, когда выкопают ямы, мы их поставим у этих ям и расстреляем. Они ожидали... Надо было видеть, с каким ужасом они копали... Их лица...

А когда увидели, что мы их перевязали, напоили водичкой и в окопы, которые они вырыли, сказали им прятаться, они не могли в себя прийти, они растерялись... Один немец заплакал... Это был немолодой человек, он плакал и ни от кого не прятал свои слезы...»

*Нина Васильевна Ильинская,
медсестра*

О сочинении с детскими ошибками и кинокомедиях

«Война кончалась...

Вызывает замполит:

— Вера Иосифовна, придется вам работать с немецкими ранеными.

А у меня к этому времени уже были убиты два брата.

— Не буду.

— Но, понимаете, надо.

— Я не способна: у меня погибли два брата, я видеть их не могу, я готова их резать, а не лечить. Поймите же меня...

— Это приказ.

— Раз приказ, тогда я подчиняюсь. Я — военный человек.

Я лечила этих раненых, делала все, что надо, но мне было трудно. Притрагиваться к ним, облегчать боль. Тогда я нашла у себя первые седые волосы. Именно тогда. Я им делала все: оперировала, кормила, обезболивала — все как положено. Одно только я не могла делать — это вечерний обход. Утром ты перевязываешь раненого, слушаешь пульс, одним словом, действуешь, как медик, а во время вечернего обхода надо поговорить с больными, спросить, как они себя чувствуют. Вот этого я не могла. Перевязать, прооперировать — могла, а говорить с ними — нет. Я так и замполита сразу предупредила:

— Вечернего обхода я делать им не буду...»

*Вера Иосифовна Хорева,
военный хирург*

«В Германии... В наших госпиталях уже появилось много немецких раненых...

Помню своего первого немецкого раненого. У него началась гангрена, ему ампутировали ногу... И он лежал в моей палате...

Вечером мне говорят:

— Катя, иди посмотри своего немца.

Я пошла. Может, кровотечение или что. Он проснулся, лежит. Температуры нет, ничего.

Он так смотрит-смотрит, потом вытаскивает маленький такой пистолетик:

— На...

Он говорит по-немецки, я уже не помню, но я поняла, насколько хватило запаса школьных уроков.

— На... — говорит, — я хотел вас убивать, но теперь ты убей меня.

Вроде того, что его спасли. Он нас убивал, а мы его спасли. А я не могу сказать ему правду, что он умирает...

Ухожу из палаты и неожиданно замечаю у себя слезы...»

*Екатерина Петровна Шалыгина,
медсестра*

«У меня могла быть встреча... Я боялась этой встречи...

Когда я училась в школе, а я училась в школе с немецким уклоном, к нам в гости приезжали немецкие школьники. В Москву. Мы ходили с ними в театр, вместе пели. Я в одного немецкого мальчика... Он так хорошо пел. Мы с ним подружались, я даже в него влюбилась... И вот всю войну думала: а что, если встречу его и узнаю? Неужели он тоже среди этих? Я такая эмоциональная, с детства ужасно впечатлительная. Ужасно!

Однажды иду по полю, только бой прошел... Своих убитых мы подобрали, остались немцы... Мне показалось, что он лежал... Ну, такой похожий молодой парень... На нашей земле... Я долго над ним стояла...»

*Мария Анатольевна Флеровская,
политработник*

«Хотите узнать правду? Я ее сама пугаюсь...

Один наш солдат... Как вам объяснить? У него все дома погибли. Он... Нервы... Может, пьяный? Чем ближе была победа, тем больше пили. В домах и подвалах всегда можно было найти вино. Шнапс. Пили и пили. Он взял автомат и бросился в немецкий дом... Разрядил обойму... Никто за ним не успел. Побежали... А в доме уже одни трупы... Дети лежат... Забрали у него автомат, связали. Он матом кроет: "Дайте я сам застрелюсь".

Его арестовали и судили — расстрел. Я его жалела, все его жалели. Он всю войну провоевал. До Берлина дошел...

А можно ли об этом писать? Раньше нельзя было...»

А. С-ва, зенитчица

«Война меня ждала...

Как исполнилось мне восемнадцать лет... Принесли повестку: явиться в райисполком, взять с собой на трое суток продуктов, пару белья, кружку, ложку. Это называлось: мобилизация на трудфронт.

Привезли нас в город Новотроицк Оренбургской области. Стали мы работать на заводе. А морозы стояли такие, что пальто в комнате замерзало, возьмешь, оно тяжелое, как полено. Четыре года без отпусков, без выходных работали.

Ждали и ждали, когда войне наступит конец. Последняя точка. В три часа ночи шум в общежитии, пришли директор завода и остальное начальство: "Победа!" А я встать с койки не в силах, меня посадят, а я назад падаю. Целый день поднять не могли. От радости, от сильного чувства меня парализовало. Только на следующее утро я встала... Вышла на улицу, мне хотелось каждого обнять и поцеловать...»

*Ксения Климентьевна Белко,
боец трудфронта*

«Какое красивое слово — победа...

Я расписалась на Рейхстаге... Написала углем, тем, что в руки попало: “Победила вас русская девушка из Саратова”. Все что-то оставляли на стене, какие-то слова. Признания и проклятия...

Победа! У меня подруги спрашивают: “Кем ты будешь?”. А мы в войну так наголодались... Невмоготу... Хотели наесться хоть бы один раз досыта. У меня мечта была — получу первую послевоенную зарплату и куплю ящик печенья. Кем я буду после войны? Конечно, поваром. И до сих пор работаю в общепите.

Второй вопрос: “Когда замуж?”. Как можно скорее... Я мечтала, как буду целоваться. Ужасно хотелось целоваться... Еще хотелось — петь. Петь! Ну вот...»

*Елена Павловна Шалова,
комсорг стрелкового батальона*

«Я научилась стрелять, бросать гранаты... Ставить мины. Оказывать первую медицинскую помощь...

Но за четыре года... За войну я забыла все правила грамматики. Всю школьную программу. Могла разобрать автомат с закрытыми глазами, но сочинение при поступлении в институт написала с детскими ошибками и почти без запятых. Спасли меня мои боевые награды — в институт приняли. Стала учиться. Читаю книги — и не понимаю, читаю стихи — и не понимаю. Я забыла эти слова...

По ночам преследовали кошмары: эсэсовцы, лай собак, последние крики... Умирая, человек часто что-то шепчет, это страшнее крика. Все ко мне возвращалось... Человека ведут на расстрел... В глазах у него страх... И видно, что он не верит, до последней минуты не верит. И любопытство тоже, и любопытство есть. Он стоит перед автоматом и в последнюю минуту закрывается руками. Лицо закрывает... По утрам моя голова распухала от крика....

Во время войны я не задумывалась, а тут стала думать. Прокручивать... Все это повторялось и повторялось... Я не спала... Врачи запретили мне учиться. Но девчонки — соседки по комнате в общежитии — сказали, чтобы забыла про врачей, и установили надо мной шефство. Каждый вечер они по очереди тащили меня в кино, на комедию. “Ты должна научиться смеяться. Много смеяться”. Хотела или нет — тащили. Комедий было мало, и каждую я смотрела по сто раз, раз сто — минимум. Первое время смеялась, как плакала...

Но кошмары отступили. Смогла учиться...»

*Тамара Устиновна Воробейкова,
подпольщица*

О Родине, Сталине и красном ситце

«Это была весна...

Гибли молодые ребята, они гибли весной... В марте, апреле... Запомнила, что весной, в пору, когда сады цвели и все ждали победу, хоронить людей было тяжелее всего. Даже если это вам уже говорили, еще раз запишите. Сильно помнится...

Два с половиной года я была на фронте. Тысячи перевязок сделали мои руки, тысячи ран промыли... Перевязывала и перевязывала... Однажды пошла переменить косынку, прислонилась к оконной раме и забылась. Очнулась и чувствую себя отдохнувшей. Встречает меня врач и начинает ругать. Я ничего не понимаю... Он ушел, но перед этим дал мне два наряда вне очереди, и моя напарница мне объяснила, в чем дело: я отсутствовала больше часа. Оказывается, я уснула.

Сейчас здоровья мало, нервы плохие. А когда спрашивают: “Какие у вас награды”, — стесняюсь признаться, что нет у меня наград, не успели меня наградить. И, может быть, потому не успели, что много нас было на войне и каждый делал, что мог... Что было в его силах...

Разве можно было наградить всех? Но есть у нас всех самая большая награда — 9 Мая. День Победы!

Я помню необычную смерть... Никто тогда не разобрался, не до того было... А я вспоминаю... У нас умер один капитан в первый день, когда мы ступили на немецкую землю. У него, мы знали, вся семья погибла в оккупации. Это был храбрый человек, он так ждал... Он боялся погибнуть раньше. Не дожить до того дня, когда он увидит их землю, их несчастье, их горе. Как они плачут, как они страдают... Увидит разбитые камни вместо их домов... Умер он просто так, не раненый, ничего. Дошел, посмотрел — и умер.

Я и теперь иногда вспомню: почему он умер?»

Тамара Ивановна Кураева,

медсестра

«Я попросилась на передовую с поезда... Сразу... Шла часть — я к ней. В то время у меня было такое понятие, что с передовой я хоть на день, но раньше домой приду, чем из тыла. Маму дома оставила. Наши девчата и сейчас вспоминают: “Она не хотела в санроте быть”. И правда, приду в санроту, помоюсь, белье какое-то возьму — и обратно в свой окоп. На передовые позиции. О себе не думала. Ползешь, бежишь... Вот только запах крови... К запаху крови я привыкнуть не могла...

После войны в родильном отделении устроилась акушеркой — но мало там задержалась. Мало... Коротко... У меня аллергия к запаху крови, просто не принимал ее организм. Столько я этой крови на войне видела, что больше уже не выдерживала. Больше организм ее не принимал. Ушла из “родилки”, ушла на “Скорую помощь”. У меня крапивница была, я задышалась.

А пошла из красной материи блузку, по рукам у меня через день расплозились какие-то пятна. Волдыри. Ни красного ситца, ни красных цветов — роз или гвоздик, мой организм не принимал. Ничего красного, ничего цвета крови... У меня и сейчас ничего красного в доме

нет. Не найдешь. Человеческая кровь очень яркая, ни в природе, ни у художников на картинах я не встречала такого яркого цвета. Сок граната немного похожий, и то не совсем. Спелого граната...»

Мария Яковлевна Ежова,

гвардии лейтенант, командир санвзвода

«Ох-ох-ох... Ха-ха-ха... Все охают и ахают, какая я цветная. Разукрашенная. Я и на войне была такая. Не военная. Разные бирюльки на мне... Хорошо, что командир у нас был, как сейчас сказали бы, демократ. Не из казармы, а из университета. Представьте себе, доцент. С хорошими манерами. В то время... Редкая птица... Редкая птица к нам залетела...»

Я люблю кольца, пусть недорогие, но чтобы много, на обеих руках. Люблю хорошие духи. Модные. Всякие побрякушки. Разные и много. В нашей семье всегда смеялись: «Что нашей сумасшедшей Ленке подарить на день рождения? Конечно, колечко». После войны первое колечко брат выпилил мне из консервной банк. А кулон точил-точил и выточил из бутылочного стекла, из зеленого кусочка. Еще один — из светло-коричневого.

Все на себя цепляю, как сорока, все блестящее. Никто не верит, что я была на войне. Сама уже не верю. И в эту самую минуту, когда с тобой сидим и разговариваем. не верю. А в шкатулке лежит орден Красной Звезды... Самый нарядный орден... Правда, красивый? Его мне специально дали. Ха-ха-ха... Если серьезно... Для истории, да? Эта штука у тебя пишет... Значит, для истории... Скажу так: если не быть женщиной, то на войне не выжить. Я никогда не завидовала мужчинам. Ни в детстве, ни в юности. Ни на войне. Я всегда рада была, что я женщина. Говорят, что оружие — автомат, пистолет — красивое, в нем много человеческой мысли, страсти, а для меня оно никогда не было красивым. Я видела, с каким восхищением мужчины смотрят на хороший пистолет, мне это было непонятно. Я — женщина.

Почему я осталась одна? Женихи у меня были. Хватало женихов... Но вот одна... Сама себя веселю. Все подруги у меня молодые. Я люблю молодость. Я старости боюсь больше, чем войны. Ты поздно пришла... Я сейчас о старости думаю, а не о войне...

А штука твоя пишет, да? Для истории, да?»

*Елена Борисовна Звягинцева,
рядовая, вооружейница*

«Я — дома... Дома все живы... Мама спасла всех: дедушку с бабушкой, сестричку и брата. И я вернулась...

Через год приехал наш папа. Папа вернулся с большими наградами, я привезла орден и две медали. Но у нас в семье было поставлено так: главная героиня — мама. Она всех спасла. Спасла семью, спасла дом. У нее была самая страшная война. Папа никогда не надевал ни ордена, ни орденские колодки, он считал, что козырять ему перед мамой стыдно. Неловко. У мамы же нет наград...

Никого так в жизни я не любила, как свою маму...»

*Рита Михайловна Окуневская,
рядовая, минер*

«Я вернулась другая... У меня долго были ненормальные отношения со смертью. Странные, я бы так сказала...

В Минске пустили первый трамвай, и я в этом трамвае ехала. И вдруг трамвай остановился, все кричат, женщины плачут: “Человека убило! Человека убило!”. А я одна сижу в вагоне, я понять не могу, почему все плачут. У меня не было такого чувства, что это страшно. Столько убитых на фронте видела... Я не реагировала. Я привыкла жить среди них. Убитые всегда рядом... Возле них курят, едят. Разговаривают. Они не где-то там, не в земле, как в мирной жизни, а всегда здесь. С нами.

А потом вернулось это чувство, опять стало страшно, если увижу мертвого человека. В гробу. Через несколько

лет ко мне это чувство вернулось. Я стала нормальная...
Похожая на других...»

*Бэлла Исааковна Эпштейн,
сержант, снайпер*

«Случай довоенный...

Я была в театре. Во время антракта, когда загорелся свет, я увидела... Все его увидели... Поднялся шквал аплодисментов. Гром! В правительственной ложе сидел Сталин. У меня был арестован отец, исчез в лагерях старший брат, несмотря на это, я почувствовала такой восторг, что у меня хлынули слезы из глаз. Я замирала от счастья! Весь зал... Весь зал встал! Стоял и аплодировал десять минут.

Такая я приехала на войну. Воевать. А на войне я слышала тихие разговоры... Ночью раненные курят в коридоре. Кто спит, а кто не спит. Говорили о Тухачевском, о Якире... Исчезли тысячи! Миллионы людей! Куда? Украинцы рассказывали... Как их в колхозы загоняли. Усмиряли... Как Сталин организовал голод, называли они его сами — голодомор. Обезумевшие матери ели своих детей... А земля там такая богатая, что посадишь прутик, верба вырастет. Пленные немцы ее в посылки насыпали и домой отправляли. Такая она жирная, эта земля. Метр чернозема. Плодородного слоя. Разговоры были тихие... Вполголоса... Никогда таких разговоров не было в группе, а всегда, если два человека. Третий лишний, третий донесет...

Анекдот расскажу... Расскажу, чтобы не заплакать. Значит, так... Ночь. Барак. Заключенные лежат и разговаривают. Спрашивают друг друга: “За что посадили?” Один говорит — за правду, второй — из-за отца... А третий отвечает: “За лень”. Как?! Все удивляются. Рассказывает: “Сидели вечером в одной компании и рассказывали анекдоты. Домой вернулись поздно. Жена спрашивает: “Сейчас пойдем донесем или утром?” — “Давай утром. Спать охота”. А утром за нами пришли...”

Смешно. А смеяться не хочется. Плакать надо. Плакать.

После войны... Все ждали родных с войны, а мы с мамой ждали их из лагеря. Из Сибири... Как же! Мы победили, мы доказали свою верность, свою любовь. Теперь нам поверят.

Брат вернулся в сорок седьмом, а папу мы не нашли... Недавно я ездила к своим фронтовым подругам на Украину. Живут они в большом селе под Одессой. Стоят посреди села два обелиска: полсела умерло от голода, а все мужики погибли в войну. А как в России сосчитать? Еще люди живы, идите и спрашивайте. Таких, как ты, моя девочка, на нашу историю надо сотни. Чтобы описать все наши страдания. Наши бессчетные слезы. Моя ты девочка...»

*Наталья Александровна Куприянова,
хирургическая медсестра*

«ВДРУГ СТРАШНО ЗАХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ...»



Телефон звонит и звонит. Записываю новые адреса, получаю новые письма. И невозможно остановиться, потому что каждый раз правда невыносима.

Тамара Степановна Умнягина,
гвардии младший сержант, санинструктор:

«Ах, моя ты бриллиантовая...

Всю ночь вспоминала, собирала в памяти...

Прибежала я в военкомат: юбочка у меня из рогожки, на ногах прорезиненные белые тапочки, они, как туфельки, с застежкой, это была мода из мод. Вот на мне эта юбочка, тапочки — попросилась на фронт, направили. Села на какую-то машину. Добралась до части, это стрелковая дивизия, она под Минском стояла, а мне говорят, что нужна ты тут, мол, стыдно мужчинам, если семнадцатилетние девчонки будут воевать. И в таком духе, что врага скоро разобьем, иди, девочка, к маме. Я, конечно, расстроилась, что не берут на войну. И что я делаю? Иду к начальнику штаба, а у него сидит тот полковник, который мне отказал, и я говорю: “Товарищ начальник еще выше, разрешите не послушаться товарища полковника. Я все равно домой не вернусь, буду с вами отступать. Куда я пойду — немцы уже близко”. Так меня все и звали потом: “Товарищ начальник еще выше”. Это был седьмой день войны. Стали мы отступать...

Скоро кровью умылись. Раненых было очень много, но они такие тихие, они так терпели, они так хотели жить. Все хотели дожить до победного дня. Ждали: вот-вот... Помню, у меня все пропитывалось кровью — до, до, до... Тапочки мои порвались, уже шла босиком. Что я видела? Под Могилевом бомбят станцию. И там состав с детьми. Их стали выбрасывать в окна вагонов, маленькие дети — три-четыре годика. Недалеко лес, вот они бегут в тот лес. Тут же пошли немецкие танки, и танки пошли по детям. Ничего от этих детей не осталось... От этой картины и сегодня можно сойти с ума. Но в войну люди выдерживали, с ума они сходили после войны. Болели после войны. А в войну язвы желудка зарубцовывались. В снегу спишь, шинелька слабая, а наутро даже насморка нет.

Потом попала наша часть в окружение. У меня столько раненых, и ни одна машина не хочет останавливаться. А немцы идут по пятам, вот-вот замкнут нас в кольцо. Тогда один раненый лейтенант дает мне свой пистолет: “Умеешь стрелять?” Откуда я умею? Я только вижу, как стреляют. Но я взяла пистолет и пошла с ним на дорогу останавливать машины. Там первый раз выругалась. Как мужик. Хорошим многоэтажным матом... Все машины мимо... Первый раз выстрелила в воздух... Знаю, что раненых на руках не сможем забрать. Не унесем. Они просят: “Ребята, добейте. Не оставляйте нас так”. Второй выстрел... Прошила кузов... “Дура! Ты научись сначала стрелять”. Затормозили. Помогли погрузить.

Но самое страшное было впереди, самое страшное — это Сталинград. Какое там поле боя? Это город — улицы, дома, подвалы. Попробуй вытащить оттуда раненого! У меня тело было — сплошной синяк. И брюки у меня все в крови. Полностью. Старшина нас ругал: “Девочки, больше нет брюк, и не просите”. А у нас брюки засохнут и стоят, от крахмала так не стоят, как от крови, порезаться можно. Пятнышка чистого нет, весной сдавать нечего. Горело все, на Волге, например, горела даже вода.

Даже зимой река не замерзала, а горела. Все горело... В Сталинграде не было ни одного грамма земли, не пропитанного человеческой кровью. Русской и немецкой. И бензином... Смазочным маслом... Там все поняли, что отступать дальше некуда, нельзя нам отступать: или погибнем все — страна, русский народ — или победим. Это всем стало ясно, наступил такой момент. Вслух не говорили, но каждый понимал. Генерал и солдат понимал...

Прибывает пополнение. Молодые такие, красивые ребята. Перед боем смотришь на них и уже знаешь, что их убьют. Я боялась новых людей. Боялась их запоминать, с ними разговаривать. Потому что вот они приехали, и вот их уже нет. Два-три дня... Смотришь, смотришь на них перед боем... Это же сорок второй год — самый тяжелый, самый трудный момент. Был случай, когда из трехсот человек нас осталось к концу дня десять. И когда нас столько осталось, когда стихло, мы стали целоваться, плакать, что мы вдруг живы. Родные все друг другу. Породнились.

На твоих глазах человек умирает... И ты знаешь, видишь, что ничем не можешь ему помочь, у него минуты остались. Целуешь его, гладишь его, ласковые слова ему говоришь. Прощаешься с ним. Ну, ничем ты ему больше не можешь помочь... Эти лица у меня вот и сейчас в памяти. Я вижу их — всех-всех ребят. Почему-то вот годы прошли, а хотя бы кого-то забыть, хотя бы одно лицо. Ведь никого не забыла, всех помню... Всех вижу... Нам хотелось самим им могилки сделать, своими руками, но это тоже не всегда получалось. Мы уходили, а они оставались. Бывало, забинтуешь всю голову, а он у тебя под бинтами умер. И его хоронят с забинтованной головой. Другой, если он на поле боя погиб, он хотя бы в небо смотрел. Или умирает и просит: “Закрой мне глаза, сестричка, только аккуратно”. Город разрушен, дома — это, конечно, страшно, но когда люди лежат, молодые мужчины... Ты не можешь отдышаться, ты бежишь... Спасаяешь... Кажется, что сил уже нет, больше, чем на

пять минут, их у тебя уже не хватит... Но ты бежишь... Март, первая вода под ногами... Валенки надевать нельзя, а я натянула и пошла. Целый день в них ползала, к вечеру они стали такие мокрые, что не могла их снять. Пришлось резать. И не заболела... Поверишь, моя бриллиантовая?

Когда в Сталинграде кончились бои, нам дали задание вывозить самых тяжелых раненых на пароходах, баржах в Казань, в Горький. Это уже весна, где-то март-апрель. Но столько еще находили раненых, они были в земле — в окопах, землянках, подвалах... Их было так много, я передать не могу. Это был ужас! Мы всегда думали, когда выносили раненых с поля боя, что их уже не осталось, всех отправили, в Сталинграде самом их нет, а когда все кончилось, то их оказалось столько, что не верилось... Не вообразить... На том пароходе, где я ехала, собрали тех, кто без рук, без ног, сотни заболевших туберкулезом. Мы должны были их лечить, уговаривать тихими словами, успокаивать улыбкой. Когда нас посылали, то обещали, что вот отдохнете, мол, от боев, это как бы даже в благодарность, в поощрение было. А оказалось, что это даже страшнее, чем сталинградский ад. Там с поля боя ты вытащила человека, оказала ему какую-то помощь, отдала — у тебя уверенность: теперь хорошо, его увезли. Идешь, ползешь за следующим. А тут они все время на твоих глазах... Там они хотят жить, они рвутся жить: "Скорее, сестричка! Скорее, милая!". А тут они отказываются есть, хотят умереть. Они выбрасывались с парохода. Мы их сторожили. Охраняли. Я возле одного капитана даже ночами сидела — у него не было обеих рук, он хотел с собой покончить. И один раз другую сестричку не предупредила, на несколько минут вышла, и он бросился за борт...

Привезли мы их в Усолье, это под Пермью. Там уже стояли новые чистенькие домики, все специально для них. Как пионерский лагерь... Мы их на носилках несем, а они землю зубами рвут. Кажется, ну взяла бы лю-

бого в мужья. На руках бы его носила. Возвращаемся на пароходе назад, пустые, отдохнуть можно, а мы не спим. Девчонки лежат-лежат, а потом как завоют. Мы сидели и каждый день писали им письма. Распределили, кто кому пишет. Три-четыре письма в день.

И вот такая мелочь. Я после этой поездки стала прятать в бою свои ноги и лицо. У меня были красивые ноги, я так боялась, что их изуродуют. И за лицо боялась. Вот такая деталь...

После войны я несколько лет не могла отделаться от запаха крови, он преследовал меня долго-долго. Стану стирать белье — слышу этот запах, стану варить обед — опять слышу. Подарил мне кто-то красную блузочку, а тогда же это такая редкость, материала не хватало, но я ее не носила, потому что она красная. Вот этот цвет я воспринимать уже была не способна. Не могла ходить в магазины за продуктами. В мясные отделы. Особенно летом... И видеть куриное мясо, понимаешь, оно очень похоже... Такое же белое, как человеческое... У меня муж ходил... Летом совсем не могла оставаться в городе, старалась хоть куда-то уехать. Как только лето, мне кажется, что сейчас начнется война. Когда солнце нагревало все: деревья, дома, асфальт — все это запах имело, все пахло для меня кровью. Что бы я ни ела, ни пила, не могла отделаться от этого запаха! Даже чистое белье постелю, а оно мне кровью пахнет...

...Майские дни сорок пятого... Помню, что мы много фотографировались. Были очень счастливы... Девятого мая — все кричат: "Победа! Победа!". Солдаты катались по траве — Победа! Били чечетку. Ай-да-я-я-я...

Стреляли... Что у кого есть, из того стреляли...

— Сейчас же прекратить стрелять! — приказывает командир.

— Все равно патроны останутся. Зачем они? — не понимали мы.

Что бы кто ни говорил, я слышала одно слово — Победа! И вдруг страшно захотелось жить! А как красиво

мы все начнем сейчас жить! Надеда все свои награды и попросила, чтобы меня сфотографировали. Почему-то хотелось среди цветов. Сфотографировалась в какой-то клумбе.

Седьмого июня у меня было счастье, была моя свадьба. Часть устроила нам большой праздник. Мужа я знала давно: он был капитан, командовал ротой. Мы с ним поклялись, если останемся жить, то поженимся после войны. Дали нам месяц отпуска...

Мы поехали в Кинешму, это Ивановская область, к его родителям. Я ехала героиней, я никогда не думала, что так можно встретить фронтовую девушку. Мы же столько прошли, столько спасли матерям детей, женам мужей. И вдруг... Я узнала оскорбление, я услышала обидные слова. До этого же кроме как: "сестричка родная", "сестричка дорогая", ничего другого не слышала. А я не какая-нибудь была, я была красивенькая. Мне дали новую форму.

Сели вечером пить чай, мать отвела сына на кухню и плачет: "На ком ты женился? На фронтовой... У тебя же две младшие сестры. Кто их теперь замуж возьмет?". И сейчас, когда об этом вспоминаю, плакать хочется. Представляете: привезла я пластиночку, очень любила ее. Там были такие слова: и тебе положено по праву в самых модных туфельках ходить... Это о фронтовой девушке. Я ее поставила, старшая сестра подошла и на моих глазах разбила, мол, у вас нет никаких прав. Они уничтожили все мои фронтовые фотографии... Ах, моя ты бриллиантовая, слов для этого нет. Не имею я слов...

Питались тогда по литерам, такие карточки. Мы с мужем сложили свои литеры и поехали их отоваривать. Пришли, это склад специальный, там уже очередь, мы стали и ждем. И вот подходит моя очередь, как вдруг мужчина, который стоял за прилавком, перескакивает через него — и ко мне, целовать меня, обнимать и кричит: "Ребята! Ребята! Я ее нашел. Я ее увидел. Так хотел

встретить, так хотел найти. Ребята, это она меня спасла!”. И муж мой рядом стоит. А это раненый, я его из огня вытащила. Из-под обстрела. Он меня запомнил, а я? Я разве всех запомню, их сколько было! Другой раз на вокзале инвалид встретил: “Сестра! — узнал. И плачет: — Думал, встречу, на колени стану...”. А ноги одной у него нет...

Хватило нам, фронтовым девчонкам. И после войны досталось, после войны у нас была еще одна война. Тоже страшная. Как-то мужчины оставили нас. Не прикрыли. На фронте по-другому было. Ползешь — летит осколок или пуля... Ребята берегут... “Ложись, сестричка!” — крикнет кто-нибудь и сам на тебя падает, собой закрывает. И пуля уже его... Он — мертвый или раненый. Меня три раза так спасали.

Из Кинешмы мы вернулись снова в часть. Приезжаем и узнаем, что наша часть не расформируется, мы будем разминировать поля. Колхозам надо дать землю. Для всех война кончилась, а для саперов еще продолжалась. А матери уже знают, что Победа... И травы стоят высокие-высокие, а кругом мины, бомбы. Но людям нужна земля, и мы торопились. И каждый день погибают твои товарищи. Каждый день после войны нужно было хоронить... Так много людей мы оставили там, в полях... Так много... Уже сдадим землю колхозу, пойдет трактор, где-то одна мина спряталась, были и противотанковые, и трактор взрывается, и тракторист взрывается. А тракторов-то не так много. И мужчин не так много осталось. И видеть эти вот слезы в деревне уже после войны... Бабы режут... Дети режут... Помню, был у нас солдат... Под Старой Руссой, забыла деревню, он был сам оттуда, пошел разминировать свой колхоз, свое поле и там погиб. Вот эта деревня его там хоронила. Он всю войну провоевал, четыре года, а после войны погиб на своей родине, на родном поле.

Я как только стану рассказывать, так переболею. Рассказываю, а у меня внутри студень, все дрожит. Сно-

ва все вижу, представляю: как лежат убитые — у них рты раскрыты, что-то кричали и не докричали, кишки вывернуты. Дров меньше видела, чем убитых... А как страшно! Как страшно в рукопашной, где человек на человека со штыком идет... Голым штыком. Начинаешь заикаться, несколько дней слово выговорить правильно не можешь. Теряешь речь. Разве это поймет тот, кто там не был? А как рассказать? С каким лицом? Ну, ты ответь мне — с каким лицом это надо вспоминать? Другие как-то могут... Способны... А я — нет. Плачу. А это надо, надо, чтобы осталось. Надо передать. Где-то в мире должен сохраниться наш крик. Наш вопль...

Я всегда жду наш праздник. День Победы... Жду и боюсь его. Несколько недель специально собираю белье, чтобы много было белья, и целый день стираю. Я должна быть чем-то занята, я должна весь день чем-то отвлекаться. А когда мы встречаемся, нам носовых платков не хватает — вот что такое наши фронтовые встречи. Море слез... Я не люблю военных игрушек, детских военных игрушек. Танки, автоматы... Кто это придумал? Мне переворачивает душу. Я никогда не покупала и не дарила детям военных игрушек. Ни своим, ни чужим. Однажды в дом кто-то принес военный самолетик и пластмассовый автомат. Тут же выбросила на помойку. Немедленно! Потому что человеческая жизнь — это такой дар... Великий дар! Сам человек не хозяин этому дару.

Знаете, какая в войну была у нас всех мысль? Мы мечтали: “Вот, ребята, дожить бы... Какие это будут счастливые люди после войны! Какая счастливая, какая красивая наступит жизнь. Люди, которые пережили столько, они будут друг друга жалеть. Любить. Это будут другие люди”. Мы не сомневались в этом. Ни на капельку.

Моя ты бриллиантовая... Люди по-прежнему ненавидят друг друга. Опять убивают. Это самое мне непонятное... И кто это? Мы... Мы это...

Под Сталинградом... Тащу я двух раненых. Одного протащу — оставляю, потом — другого. И так тяну их по очереди, потому что очень тяжелые раненые, их нельзя оставлять, у обоих, как это проще объяснить, высоко отбиты ноги, они истекают кровью. Тут минута дорога, каждая минута. И вдруг, когда я подальше от боя отползла, меньше стало дыма, вдруг я обнаруживаю, что тащу одного нашего танкиста и одного немца... Я была в ужасе: там наши гибнут, а я немца спасаю. Я была в панике... Там, в дыму, не разобралась... Вижу: человек умирает, человек кричит... А-а-а... Они оба обгоревшие, черные. Одинаковые. А тут я разглядела: чужой медальон, чужие часы, все чужое. Эта форма проклятая. И что теперь? Тяну нашего раненого и думаю: “Возвращаться за немцем или нет?”. Я понимала, что если я его оставлю, то он скоро умрет. От потери крови... И я поползла за ним. Я продолжала тащить их обоих...

Это же Сталинград... Самые страшные бои. Самые-самые. Моя ты бриллиантовая... Не может быть одно сердце для ненависти, а второе — для любви. У человека оно одно, и я всегда думала о том, как спасти мое сердце.

После войны долго боялась неба, даже поднять голову к небу. Боялась увидеть вспаханную землю. А по ней уже спокойно ходили грачи. Птицы быстро забыли войну...»

1978—2004

СОДЕРЖАНИЕ



ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ ВОЙНЫ (<i>из дневника книги</i>) . . .	7
1978—1985 гг.	7
Через семнадцать лет. 2002—2004 гг.	23
Из того, что выбросила цензура	25
Из разговора с цензором	27
Из того, что выбросила я сама	31
«НЕ ХОЧУ ВСПОМИНАТЬ...»	37
«ПОДРАСТИТЕ, ДЕВОЧКИ... ВЫ ЕЩЕ ЗЕЛЕННЫЕ...»	52
О клятвах и молитвах	53
О запахе страха и чемодане конфет	66
О быте и бытии	83
«ОДНА Я ВЕРНУЛАСЬ К МАМЕ...»	98

«В НАШЕМ ДОМЕ ДВЕ ВОЙНЫ ЖИВУТ...»	117
«ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА НЕ СТРЕЛЯЕТ...»	125
«НАС НАГРАЖДАЛИ МАЛЕНЬКИМИ МЕДАЛЯМИ...»	139
О куклах и винтовках	143
О запахе крови и удивлении перед смертью ...	147
О лошадях и птицах	151
«ЭТО БЫЛА НЕ Я...»	155
«Я ЭТИ ГЛАЗА И СЕЙЧАС ПОМНЮ...»	165
«МЫ НЕ СТРЕЛЯЛИ...»	182
О ботиночках и проклятой деревяшке	182
О специальном мыле «К» и гауптвахте	190
О расплавленных подшипниках и русском мате	198

«ТРЕБОВАЛСЯ СОЛДАТ... А ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ ЕЩЕ КРАСИВОЙ...»	206
О мужских сапогах и женских шляпках	207
О девичьем дисканте и матросских суевериях	217
О безмолвии ужаса и красоте вымысла	227
«БАРЫШНИ! А ВЫ ЗНАЕТЕ: КОМАНДИР САПЕРНОГО ВЗВОДА ЖИВЕТ ТОЛЬКО ДВА МЕСЯЦА...»	230
«ТОЛЬКО ПОГЛЯДЕТЬ ОДИН РАЗ...»	245
О чертовой бабе и майских розах	246
О странной тишине перед небом и утерянном колечке	258
Об одиночестве пули и человека	266
«ПРО БУЛЬБУ ДРОБНЕНЬКУЮ...»	270
О корзинке с миной и плюшевой игрушке	272
О мамках и татках	282
О маленькой жизни и большой идее	288

«МАМА, ЧТО ТАКОЕ — ПАПА?»	296
О купании ребенка и о маме, похожей на папу	296
О Красной Шапочке и о радости встретить на войне кошку	304
О молчании тех, кто уже может говорить	312
«И ОНА ПРИКЛАДЫВАЕТ РУКУ ТУДА, ГДЕ СЕРДЦЕ...»	315
О последних днях войны, когда убивать противно	315
О сочинении с детскими ошибками и кинокомедиях	324
О Родине, Сталине и красном ситце	328
«ВДРУГ СТРАШНО ЗАХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ...»	333

С В Е Т Л А Н А А Л Е К С И Е В И Ч

СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО»

«ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ»

«ЦИНКОВЫЕ МАЛЬЧИКИ»

«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ МОЛИТВА»

«ВРЕМЯ СЕКОНД ХЭНД»

Литературно-художественное издание

Светлана Алексиевич

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Редактор

Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Корректор

Алена Георгиева

Подписано в печать 07.07.2017.

Формат 84x108¹/₃₂.

Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 18,48.

Тираж 5 000 экз.

Заказ 651.

«Время»

117105 Москва, Варшавское шоссе, 3

Телефон (495) 951 5568

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990 Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru

Светлана Александровна Алексиевич – всемирно известный белорусский прозаик, пишущий на русском языке. Родилась в 1948 году в Станиславе (ныне – Ивано-Франковск, Украина). Отец белорус, мать украинка, оба – сельские учителя. Позже семья переехала в Белоруссию. Закончила факультет журналистики Белорусского госуниверситета. Работала в минской «Сельской газете», в журнале «Неман».

Несколько десятилетий писала документально-художественную хронику «Голоса Утопии» – пять книг, в которых «маленький человек» сам рассказывает о своей судьбе. По сути, создала собственный жанр – полифонический роман-исповедь, в котором из маленьких историй складывается большая история.

С начала 2000-х жила в Италии, Франции, Германии, Швеции. В 2012 году вернулась в Белоруссию.

Произведения Светланы Алексиевич переведены на 35 языков, послужили основой для сотен кинофильмов, спектаклей и радиопостановок во всем мире и удостоены многих международных премий.

В 2015 году удостоена Нобелевской премии по литературе.

